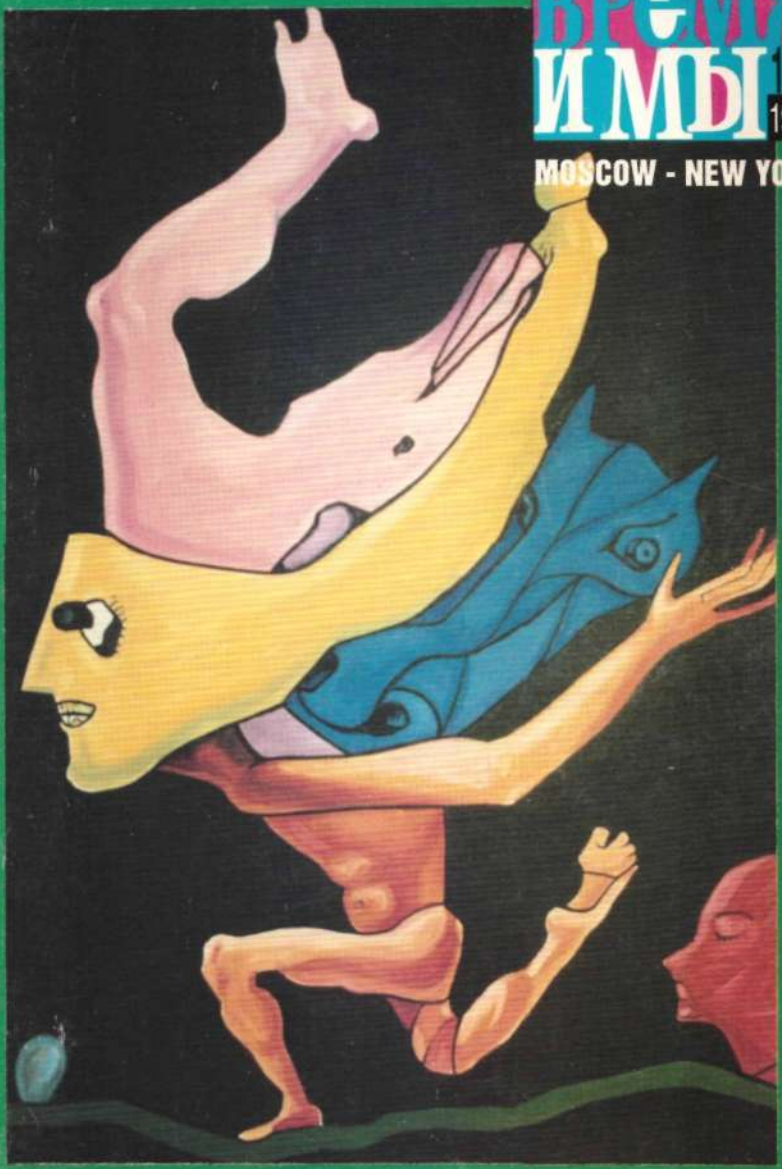
ВРЕМЯ И МЫ
127
1995
MOSCOW - NEW YORK



АРКАДИЙ ЛЬВОВ

ХИМЕРЫ

ВРЕМЯ И МЫ

РОССИЙСКО-
АМЕРИКАНСКИЙ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ЖУРНАЛ

Двадцать первый год издания

**Выходит один раз
в три месяца**

127
1995

МОСКВА — НЬЮ-ЙОРК
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ И МЫ» —1995

ИЗДАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я К О Л Л Е Г И Я

ЛЕВ АННИНСКИЙ — **ГРИГОРИЙ ПОЛЯК**
ВАГРИЧ БАХЧАНЯН — **ЛЕВ НАВРОЗОВ**
ЮРИЙ БРЕГЕЛЬ — **ВОЛЬФГАНГ ЗЕЕВ РУБИНЗОН**
ДЖОН ГЛЭД — **ИЛЬЯ СУСЛОВ**
ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ — **МОРИС ФРИДБЕРГ**
ЛЕОНИД ЖУХОВИЦКИИ — **ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ**
ЯСЕН ЗАСУРСКИЙ — **ЕФИМ ЭТКИНД** *(зам. гл. редактора)*

Главная редакция журнала "Время и мы"
409 Highwood Ave, Leonia,
New Jersey 07605, USA
Тел.: (201) 592-61-55,
Факс: (201) 592-69-58,

Московский центр журнала "Время и мы"
Заведующий центром Лев Аннинский
Адрес центра: 117415 Москва,
ул. Удальцова, 16/19.
Тел.: 131-62-45

Израильское отделение журнала "Время и мы"
Заведующая отделением Дора Штурман
Адрес отделения: Jerusalem, Talpiot
Mizrach, 422/6

Французское отделение журнала "Время и мы"
Заведующий отделением Ефим Эткинд
Адрес отделения: 31 Quartier Boieldieu,
92800 PUTEAUX, FRANCE

Представитель журнала в Берлине
Mariama Shmargon, Shlosstr 30/30
1000 Berlin 19

OCR и вычитка - Давид Титиевский, август 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА
Аркадий ЛЬВОВ
Химеры 5

ПОЭЗИЯ
Лия ВЛАДИМИРОВА
Седины осенний снег 152
Андрей ГРИЦМАН
Глухие времена 158

МОМЕНТ ИСТИНЫ
Владимир ШЛЯПЕНТОХ
Посткоммунистическая Россия: новый социальный организм на десятилетия 162
Лев НАВРОЗОВ
Какой капитализм хотят русские? 178
КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ
Гримаса истории: российский капитализм — это детище коммунизма 191

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО
Анатолий РУБИНОВ
Интимная жизнь Москвы 196

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ
Василий ЯНОВСКИЙ
О мертвых мы обязаны говорить только правду 230

ТРИБУНА ФЕЛЬЕТОНИСТА
Алекс БОРИСОВ
По законам Колонтаевской улицы 260

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"
В. ПЕТРОВСКИЙ
Абсурд и апокалипсис Леонида Пурыгина 269

К ДВАДЦАТИЛЕТИЮ ЖУРНАЛА "ВРЕМЯ И МЫ"
Виктор ПЕРЕЛЬМАН
Редакция — это я, а о журнале пусть судит читатель 278

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнениием редакции

© "Время и мы"
ISSN 0737-7061

ПРОЗА

"...Бог сказал Аврааму: ...во всем, что скажет тебе Сарра, слушайся голоса ее... "

Бытие, 21-20

"Ненависть, совершенно побеждаемая любовью, переходит в любовь, и эта любовь будет вследствие этого сильнее, чем если б ненависть ей вовсе не предшествовала ".
Спиноза

"Каждый акт жестокости является неизменно частью вселенной; ничто из того, что случится позже, не сможет превратить этот акт из плохого в хороший или не сможет даровать совершенство целому, частью которого оно является".
Бертран Рассел

Аркадий ЛЬВОВ

ХИМЕРЫ

Журнальный вариант романа

1

Мальчики сказали:

— Аля, пойдем на чердак.

Чердак был высоко, под самым небом. С чердака вела лестница на крышу. Здесь, на крыше, небо было совсем близко, его можно было достать пальцем. Аля не могла. Але было четыре года. Но взрослые — мама, или папа, или просто какой-нибудь дядя, или какая-нибудь тетя, или даже просто большой мальчик или девочка — могли.

— Пойдем на чердак, — сказали мальчики Але, и Аля пошла.

Лине мальчики тоже сказали, но Лина не пошла. Лина боялась. Лина сказала: "Я боюсь, мама будет бить меня". Аля сказала Лине, что мама не будет бить ее: мама не будет знать. И папа не будет знать. И вообще никто не будет знать.

Лина сказала: нет. И Аля пошла одна. С мальчиками. Мальчики были большие. Один, Эдик, ходил уже в чет-

вертый класс. Раньше, в третьем классе, он держал книжки и тетради в ранце. Ранец носил на спине. А этим летом ему купили портфель. И теперь он ходил в школу с портфелем. Как взрослые.

Эдик был главный. На чердаке он приказал Але стать у окна. За окном было небо. Совсем близко. Еще немного — и его можно достать пальцем. Аля протянула руку. На палец лег солнечный зайчик. Аля покружила пальцем, зайчик то сходил с пальца, то возвращался. У Али закружилась голова.

— Ой, — вскрикнула Аля, — я падаю. Держите меня. Я падаю.

Аля упала. Эдик сказал, у Али обморок. У его мамы тоже бывают обмороки. Обморок — это не опасно, от обморока не умирают.

Аля лежала с закрытыми глазами, Эдик потрогал ее веки и сказал, обморок — это, когда лежат без сознания: человек не видит, не слышит, не чувствует.

Аля лежала с закрытыми глазами. Аля видела, слышала и чувствовала. Не так хорошо, не так отчетливо, как человек, когда он смотрит открытыми глазами, а так, как будто глядишь в щелочку, очень узенькую, со всех сторон туман и только в одном месте чуть-чуть светлее и можно различить предметы.

Эдик взял Алю за ноги, за пятки, и осторожно, как будто боялся Алю разбудить, раздвинул. Саша — Саша учился в третьем классе, Сашина мама была доктор, и папа тоже был доктор, Саша был у себя в классе звеньевой и отличник — сказал Эдику, чтобы он отпустил Алины ноги, что человек, когда у него обморок, может слышать и может видеть.

Эдик сказал, нет, такого не бывает, еще чуть-чуть развел Алины ноги, Саша опять сказал, не надо. Эдик остановился. Аля думала, он послушался, хотела открыть глаза и сказать мальчикам, что Саша говорит правду, она все видит и слышит, но глаза почему-то не открывались, а во рту было такое чувство, как будто стянули резинками и нельзя разжать губы.

Эдик остановился, Аля видела его лицо, оно расплывалось, как будто Аля смотрела через мамины очки, Эдик наклонился, провел пальцами по Алиному животу, опять остановился, Саша плачущим голосом сказал, не надо, Эдик пальцами оттянул край Алиных трусов, где мысик,

Саша схватил его за руку, сказал Эдику, чтобы отпустил Алины трусы, Эдик, наоборот, потянул еще сильнее, и чьи-то пальцы — Аля не знала, чьи, Эдика или Саши — под трусами, где мысик, задели Алю, и от пальцев мурашки побежали по всему телу, от этих мурашек сделалось Але сначала холодно, потом жарко, как будто Аля вдруг заболела гриппом и поднялась температура, и от температуры пошел у Али озноб, и это чувство во рту, как будто зубы ледяные, а небо и горло обдает в это время жаром.

Эдик закричал на Сашу, чтобы Саша убрал немедленно руку — теперь Аля знала, что это были Сашины пальцы — а то Аля проснется от обморока, но Саша не убирал свою руку, наоборот, прижимал еще сильнее, тогда Эдик ударил его кулаком по лицу, Саша тоже ударил его, у Эдика потекла из носа кровь — Саша обрадовался: кровь! кровь! — Аля испугалась, от испуга у нее прошел обморок, она открыла глаза, Саша увидел первый, закричал "она все видит!" и хотел убежать, Эдик тоже хотел убежать, но Аля покачала головой, опять закрыла глаза и сказала мальчикам: "У меня обморок: когда обморок, человек не может видеть".

Алины ноги были в том положении, в каком оставил их Эдик, Аля повторила, что у нее обморок и она ничего не может видеть, Саша вдруг заплакал и стал повторять, как заводной:

— Ты врешь, врешь, врешь!

Аля сказала, нет, она не врет, и Эдик сказал, нет, Аля не врет, и потрогал Алю пальцами под трусами, где мысик, и опять у Али сделался озноб, как от простуды, вроде очень высокая температура, а по лбу прошел холодок, как будто мама положила холодный компресс.

Саша перестал плакать, стал в позу, как боксер, два кулака вперед, Эдик тоже встал в позу, как боксер, Аля привстала, опираясь ладонями об пол — пол был пыльный, теплый от солнечного зайчика — и сказала мальчикам:

— Мальчики, не надо драться. Драться нехорошо. Саша, я тебя люблю. Эдик, я тебя люблю. Не надо драться. Вы хорошие.

— Ты врешь, — опять заплакал Саша, — мы нехорошие! Нехорошие!

Эдик ничего не сказал, сначала ничего не сказал, а потом спросил у Али:

— Ты не врешь? Мы хорошие?

Аля повторила, да, хорошие. Саша перестал плакать, глаза у него сделались очень большие — очень, очень большие, Аля первый раз видела у мальчика такие большие и такие голубые глаза, раньше такие глаза Аля видела только у девочки в больнице, когда они лежали в одной палате, у Али была астма и у девочки была астма, но у Али шло к лучшему, а у девочки с каждым днем было все хуже и хуже, и нянечка сказала, что девочка может умереть — Аля посмотрела на Сашу очень внимательно и сказала:

— Саша, я люблю тебя больше всех. Ты самый хороший.

Эдик спросил:

— А я?

Аля сказала Эдику:

— Эдик, я тебя люблю больше всех. Ты самый хороший.

Саша закричал:

— Врешь, врешь, двое не могут быть самые хорошие!

— Нет, — покачала головой Аля, — вы оба самые хорошие, больше всех на свете я люблю тебя, — Аля показала пальцем на Сашу, — и тебя, — Аля показала пальцем на Эдика. — Когда я вырасту и стану мамой, у меня будут сыночки Саша и Эдик.

Эдик сказал Але:

— Аля, сними трусики.

Аля сказала мальчикам, пусть отвернутся, ей стыдно снимать трусики, когда на нее смотрят. Эдик отвернулся, а Саша не отвернулся, Саша смотрел на Алю своими большими глазами — еще больше, чем у той девочки, с которой Аля лежала в больнице — Аля повторила, пусть Саша тоже отвернется, а то ей стыдно, взялась обеими руками за резинку трусов, стала стягивать к лодыжкам, подняла одну ногу, подняла другую ногу, солнечный зайчик лег на трусики, Аля засмеялась "ой, зайчик!", хотела прихлопнуть его ладонью, но зайчик оказался сверху, на Алиной руке, и тут Саша бросился на Эдика.

2

Альбина и Макс сидели в ванне, Альбина взбила ладонью пену, наложила пену на лицо, темно-зеленые, глаза сделались почти черные, с чернотой базальта. Макс сказал Альбине: "Ты не здешняя, не земная", — Альбина

положила руки ему на плечи, приподнялась, села Максу на колени, он покачал головой: "Не получится". Макс набрал в ладони воды, сказал Альбине, надо смыть пену с лица, чересчур много археологии, белокаменная баба из сарматских степей, Альбина сказала: "Какая белокаменная баба, я самаритянка", — окунула лицо, подняла рывком голову, широко раскрыла рот, глаза были огромные, испуганные:

— Господи, чуть не задохнулась. Вечный страх, с детства: задохнусь! Это началось с больницы, с той девочки, которая умерла.

— Ты видела, как она умирала?

— Нет, сказала Альбина, — не видела. То есть не видела, как она умерла, но как умирала — видела каждый день. После приступов у нее всегда были такие глаза, — Альбина соединила в кольцо два пальца, большой и средний, — вот такие.

— Как у Саши, — сказал Макс, — тогда, на чердаке.

— Да, — мотнула головой Альбина, — как у Саши, тогда, на чердаке. Вот так, причины разные, и результаты разные, и вообще все разное — а глаза одинаковые.

Альбина закурила, пустила дым, через нос, колечками, сощурила глаза — две черные, две мохнатые змейки, в конус с обоих концов, с головы и с хвоста — и сказала, четко, как будто школьный диктант, разделяя слова:

— Люди злые. Почему люди злые?

Макс спросил:

— Что было с Сашей?

— Плохо было с Сашей, — Альбина усмехнулась. — Плохо. Саша потерял глаз. Не сразу — потом, позже. Когда Аля сняла трусы, Саша бросился на Эдика, закричал на него, что он свинья, он позвал на чердак, он с самого начала знал, для чего зовет. Грязная свинья! Саша опять разбил Эдику нос и, как в первый раз, обрадовался: кровь! кровь! Аля просила, Аля плакала: перестаньте драться, я люблю вас, мальчики, перестаньте драться. Эдик, когда Саша расквасил ему нос, схватил палку, стал размахивать ею, как шпагой. Не знаю, Эдик метил Саше в глаз или получилось случайно, что попал в глаз. Сашу водили к докторам, в институт Филатова. Сначала доктора говорили, что глаз надо сохранить. Потом у Саши начался менингит, Саша мог умереть, и доктора сказали: глаз надо удалить.

— Аля возненавидела Эдика?

Нет, сказала Альбина, у Али не было ненависти к Эдику. За что было ненавидеть Эдика? Мальчики подрались. Саша тоже мог схватить палку и выбить Эдику глаз. У Али была жалость к Саше, потому что он остался без глаза, и жалость к Эдику была. Тоже.

Макс пожал плечами:

— А к Эдику за что?

— За что? —удивилась Альбина. — Эдика все во дворе ненавидели. Соседи говорили, что он, в таком возрасте, уже готовый бандит. Дети не хотели играть с Эдиком. Он слонялся по двору один, заглядывал всем в лицо, улыбался вот такой улыбкой, — Альбина наклонила голову, ссутулила плечи, оттянула уголки рта пальцами, — все проходили мимо, как будто нет Эдика, нет мальчика, нет человека — так, пустое место.

Макс спросил:

— Аля продолжала любить Эдика?

— Да, — кивнула Альбина, — Аля продолжала любить Эдика.

Макс усмехнулся:

— Больше, чем Сашу? Или одинаково?

Альбина окунула сигарету в воду, растерла пальцами, бросила в раковину:

— Не больше, не меньше. Одинаково? Не знаю, наверное, не одинаково: по-разному. Теперь Аля знала: любовь бывает разная, потому что люди разные. И любить людей можно по-разному. Но любить. Любить.

Макс сказал Альбине, пусть повернется к нему спиной.

Альбина покачала головой:

— Прячешься! Любовь со мной хочешь делать у меня за спиной. Нет, хочу смотреть в глаза. Смотри в глаза.

Макс засмеялся, взял Альбину за плечи, повторил, пусть повернется к нему спиной — смотреть друг другу в глаза можно и в такой позиции.

Альбина вскрикнула:

— Ты делаешь мне больно! Осторожнее, ты делаешь мне больно.

3

Саша и Эдик, оба, заходили к Але. Саша кончал институт — на доктора, Эдик — на инженера. Оба говорили Але: получишь аттестат — поженимся.

До аттестата был еще целый год. Эдик убеждал Алю: все равно поженимся — чего ждать?

Сашины папа и мама говорили про своего сына: он потерял голову, он обезумел. Посмотрите на него и посмотрите на нее: день и ночь!

Аля объясняла Саше:

— Твои родители — интеллигенты! Ты мальчик из интеллигентской семьи — зачем ты ходишь ко мне? Оставь меня.

Саша спрашивал:

— Ты любишь меня?

Аля не отвечала.

— Ты любишь Эдика? — спрашивал Саша.

Аля не отвечала.

— Ты живешь с ним? — спрашивал Саша.

Аля смотрела Саше в глаза — левый глаз, фарфоровый, был почти как настоящий, — качала головой, нет, шепотом, едва приоткрыв губы, произносила "нет", Саша хватал ее за плечи, дергал во все стороны и кричал, как полоумный:

— Живешь! живешь!

Аля говорила Саше, твой папа гинеколог, пойдем к папе, пусть обследует, Саша соглашался, пойдем, пусть обследует. После этих слов Аля сама делалась, как полоумная, вскакивала и, направив руку к двери, кричала Саше:

— Вон, и не приходи больше, и не пиши, и не зови! Ненавижу!

Потом они целовались, Саша целовал Алю — лицо, шею, плечи, руки, ноги, опять лицо, шею, плечи — говорил про Алю, что она самая красивая, самая лучшая, самая чистая.

— Говори, — просила Аля, — еще говори.

Саша повторял: самая красивая, самая лучшая, самая чистая.

И спрашивал:

— Ты любишь меня?

И сам отвечал:

— Ты не любишь меня.

На другой день приходил Эдик. Спрашивал про Сашу:

— Приходил?

Аля кивала головой: приходил. Эдик как будто с цепи срывался, хватал Алю за руки, заводил за спину, на

поясницу, наваливался всем телом, кричал Але в лицо, что хочет ее и будет...

Эдик произносил отвратительное слово, Аля падала на диван, Эдик рывком отдергивал молнию на брюках, Аля крепко сжимала ноги, Эдик кричал, пусть раздвинет, Аля сжимала еще крепче, он кричал, что задушит ее, и в самом деле душил, вдруг начинал дергаться, толчками ударялось в Алины бедра горячее, липкое, Аля прижимала к себе Эдика. Плачущим голосом Эдик просил, раздвинь, ну раздвинь, в ногах у Али было странное чувство, как будто они отдельно, как будто они сами по себе, как будто она, Аля, им не хозяйка, и сейчас ноги сделают по-своему, как хочется им, как просит Эдик, Аля внезапно подтягивала ноги, коленями отжимала Эдика, руками упиралась ему в грудь и толкала, пока он не сваливался на пол.

Поднявшись, Эдик задергивал молнию, кричал Але, что взял ее, жил с ней, она пусть считает, как хочет, а он взял ее, е... ее и еще будет! А одноглазому — во! Эдик перекладывал в сгибе правую руку левой, водил из стороны в сторону кулаком и приговаривал: во!

— Уходи! — говорила Аля, — уходи и больше не приходи.

Эдик делал горькую гримасу:

— Разлюбила?

— Аля качала головой: нет, не разлюбила.

Эдик подавался весь вперед, гримаса сходила с лица, глаза делались тоскливые:

— Правда? Не разлюбила?

Аля закрывала лицо руками, пальцы впивались ногтями в переносицу, и бормотала:

— Уходи, ну уходи!

Эдик становился на колени:

— Прости, прости!

— Встань, — говорила Аля.

Эдик мотал головой, нет, не встану, называл себя подонком, Аля опять приказывала, пусть встанет, подходила к Эдику, брала его за руки, он прижимался губами к Алиным ладоням, Аля брала его голову, чуть запрокидывала, смотрела в глаза и просила:

— Ну встань, прошу тебя: встань.

В этот раз Эдик не встал. Стоя на коленях, прижался к Але, лбом к животу. От запаха полыни, какой шел от

Али, кружилась голова. От этого кружения, от запаха, совсем ошалел, внезапно вскочил, стал толкать Алю к дивану, пока не сообразил, зачем к дивану, почему к дивану, обхватил Алю, перегнул в пояснице, Аля сама, Эдик чувствовал, сама стала опускаться на пол. Теперь не толкать, теперь удержать надо было, чтобы Аля не ударилась затылком, не ушиблась. Эдик осторожно опустил Алю на пол, сказал, давай разденемся, он разденется, она тоже пусть разденется, стал раздеваться, пояс, брюки, рубашка, все по порядку, как будто укладывается в постель, на ночь, Аля лежала на полу, наблюдала, не сводя глаз, молча, Эдик разделся, сказал Але, ну чего, пусть тоже раздевается, вдруг засмеялся, сказал Але, нет, не надо, он сам разденет ее, захватил подол платья, стал заводить кверху, к груди, Аля наблюдала, как прежде, молча, не сводя глаз, Эдик сказал, ну чего она, будто без памяти, будто в обмороке, запустил руку под трусы, на мгновение задержался, вроде примеряясь, прицеливаясь, рывком содрал с Али трусы, до колен, и тут же дико, по-звериному, прохваченный от паха к голове, от паха к стопам, во все стороны, пронзительной болью, завопил.

4

Альбина сказала:

— Аля ударила его в пах. Ногой. Он кричал, как животное. Он упал на спину, подтянул колени к животу, стал кататься по полу и продолжал, животным своим криком, кричать. Аля испугалась, думала, человек, мужчина, так кричит перед смертью.

Макс покачал головой: нет, умирают молча. Кричат живые. Но удар был опасный, Аля могла просчитаться.

Нет, сощурила глаза Альбина, Аля не могла просчитаться: не было расчета. Был импульс.

— Слушай, — возмутился Макс, — какой импульс: он сдирал с Али трусы, как тогда, на чердаке. Аля говорила обоим — и ему, и тому, второму, — что любит. Но Аля запомнила — другой своей памятью, где все укладывается как реальность, а не метафизический бред — врага, вражью силу, которая жаждет и только это, свою жажду, знает.

Альбина прижала пальцы к ушам:

— Слышишь? Он кричит! У него повредилось там, в

мошонке. Когда приехала скорая помощь, первый вопрос у врача был к Але: насилие? Аля сказала, нет, не насилие; акт изуверства. И указала на себя: от нее изуверство.

— Это подлость, — сказал Макс. — Поклеп на себя — подлость.

— Докторша, — кивнула Альбина, — тоже говорила: самооговор — преступление. И моральный диагноз поставила: насилие и его плоды. Санитар — школяр, парубок — загоготал: не плоды, а бесплодие. Было от чего свихнуться: один, держась руками за пах, исходит в болях, в корчах, другой — заходится в смехе.

— В больнице, — Альбина закрыла глаза, — Эдику сделали операцию. Хирург сказал: повреждено яичко, возможны последствия. Аля предлагала Эдику, пусть подаст на нее в суд, за изуверство. Она подтвердит: акт изуверства.

— Это — подлость. Поклеп на себя, — повторил Макс, — та же подлость.

— Аля была готова к наказанию, — сказала Альбина, — Аля хотела наказания. Это, объясняла она себе, за Сашин глаз. Пусть посадят ее, пусть тюрьма — каждый получит свое. За Сашу.

Макс пожал плечами: галиматья, бред. Але было четыре года, над Алей надругались — и получили свое. В чем вина Али? Бред, повторял Макс, бред!

— Помнишь, — кивнула Альбина, — я говорила: у Али не было расчета. Явного расчета не было. Но было ожидание. Все годы было.

— Постой, — перебил Макс. — Ты говорила: Эдик не виноват. Мальчики подрались — могло случиться наоборот: глаз потерял бы Эдик, а не Саша.

— Могло, — кивнула Альбина, — но не случилось. Саша ходил с черной перевязью — вместо глаза черная матерчатая заплата. Как у инвалидов, которые потеряли глаз на фронте.

— Ты говорила, у Саши был фарфоровый протез. Очень удачный.

— Да, — кивнула Альбина. — Фарфоровый протез, очень удачный. Но сначала была матерчатая заплата, как у инвалидов, которые потеряли глаз на фронте, от немецкой пули. Во дворе Эдика называли бандитом, а потом стали кричать: фашист, гитлеровец!

Макс сказал, надо удивляться Эдику, его папе и маме, которые продолжали жить в одном доме с жертвой. Альбина согласилась: надо удивляться. Но надо было поменять квартиру, на это ушел год. Через год Эдик переехал.

— А через десять, — засмеялся Макс, — опять появился. И опять в паре со своей жертвой.

— Не в паре, — покачала головой Альбина, — оба стали заходить к Але. У каждого был свой день. Саша и Эдик никогда не встречались. У Али — никогда. Мама говорила Але: образумься, ты накличешь беду! Папа молчал, папа всегда молчал, когда был трезвый. А пьяный набрасывался на мать, на Алю, кричал, хуны, лярвы, с одной колодки, от хун — все несчастья. Аля, когда папа приходил пьяный, сначала убегала. Потом сказала себе: убегать — трусость. Аля перестала убегать и предупредила отца, пора учесть: она не ребенок.

Альбина задумалась: глаза были далекие, с фокусом внутрь. Зеленые, с желтизной осеннего жухлого листа, глаза сделались совсем черные. Макс сказал Альбине: черные дыры пространства, плотность вещества такая — лучу не оторваться. Пространство без света — бездна, мрак.

Аля, сказала Альбина, предупредила отца: пусть учтет, она уже не ребенок. Отец не учел. Отец продолжал свое: хуны с одной колодки, от хун — все несчастья!

Однажды отец пришел пьяный. Глаза были белые, пустые. С порога закричал: бляди, всех блядей выведу на чистую воду! Иди, закричал отец Але, иди, блядь, сюда! Аля держала левую руку за спиной. Отец не видел, не понимал: левша, Аля держит левую руку за спиной. Хуна, закричал отец, одноглазый ждет у ворот, и другой ждет! Отец подошел вплотную к Але, глаза сделались совсем белые — белые, пористые, как белый известняк — схватил Алю за волосы, одной рукой схватил, другую, пальцы в кулак, отвел для удара. Мама закричала дурным голосом: гевалт, спасите!

Отец не успел ударить Алю — Аля ударила первая. Скалка была дубовая, с металлической осью, с навинченными на ось, с обоих концов, металлическими ручками. Аля ударила сбоку, под ребро, отец ахнул, рука, державшая Алю за волосы, соскользнула, ударилась об Алино плечо. Толчок был слабый, вроде от неживого предмета. Аля удивилась, рука отца — и такая слабость.

Она ударила папу сзади, по спине, папа крякнул, рази-

нул рот и свалился на пол. Мама закричала, как безумная: убили, ой убили!

Первая мысль, когда папа крякнул и свалился на пол, была у Али: папа пьяный, не удержался на ногах. Аля, когда увидела папу на полу, хотела поддать еще ногой. Можно ударить, чувствовала Аля, ударить — и не бояться. И никогда, больше никогда не надо будет бояться.

— Убийца! — закричала мама. — Убила родного отца!

Мама наклонилась, подняла папину голову, вдруг отдернула руку и прохрипела: кровь! Мама протянула руку, ладонью кверху, в сторону Али, на ладони было красное пятно. Под ребрами, где средостение, у Али сделалось холодно, и сжалось, как будто изнутри захватили ледяными пальцами, сжали и продолжали сжимать.

К горлу у Али подступила тошнота, во рту набежало кислое, было ощущение, что сейчас вырвет. Внутри продолжало сжимать ледяными пальцами. Аля схватилась руками за живот.

— Убийца, — закричала мама, — не стой: иди на кухню, принеси полотенце и воду!

Аля объяснила маме: хорошо, что выступила кровь, иначе могло бы произойти внутреннее кровоизлияние, могла образоваться черепная гематома. У них в школе у одного мальчика была черепная гематома. Мальчик умер.

— Убийца, — застонала мама, — иди на кухню, принеси полотенце и воду!

Когда Аля вернулась, папа сидел с открытыми глазами, смотрел в одну точку.

Аля взяла отца за руку:

— Папа, ты видишь меня? Папа, посмотри на меня.

Отец поднял глаза, зрачки, только что сплошь черные, уменьшались, как будто под действием света, Аля потрясла папину руку:

— Папа, ты видишь меня?

Папа не отвечал, было впечатление, он что-то припоминает, Аля наклонилась, прижалась губами к папиной руке, другая оставалась свободной, мама закричала: "Не смей!"

Аля увидела папино лицо — спокойные, без злобы, глаза, взгляд удивленный, как будто человек смотрит со стороны и пытается понять, что происходит, и отдельно, с чужого лица, улыбка.

— Дочка, — поманил отец пальцем, — подойди к папе. Подойди, папа зовет тебя.

— Не смей, — затрясла руками мама, — не подходи!

Аля подошла, обняла папу, наклонилась, чтобы поцеловать, и спросила:

— Папа, ты хочешь меня ударить? Папа, я поцелую тебя. Можно?

Папа не ответил, можно или нельзя, папа плюнул Але в лицо и тихо сказал:

— Я не хочу ударить — пусть ударяют тебя другие. Я хочу плюнуть в тебя, — сказал папа и опять плюнул.

В этот раз папа не попал: Аля увернулась.

— Вон, — закричал папа, — вон из моего дома! Я потерял, я все потерял — я уже не могу потерять. Вон, хуна! Всех блядей — на чистую воду! — кричал папа.

На маму нашел столбняк, глаза выпучились, как будто внезапно поразила ее зобная болезнь, вздулись на шее вены, широко, вроде у греческой маски, раскрылся рот.

Мама умела строить гримасы. Аля знала: мама — мастер строить гримасы. Но в этот раз были не гримасы — в этот раз маме в самом деле было плохо.

Аля бросилась на папу сзади, повисла, обвила руками шею и стала колотить ногами по икрам. Папа продолжал цепляться за стол, Аля сжимала папе горло, наконец папа отпустил стол, схватил Алю за руки и пытался разжать. То ли от долгой возни папу забрала слабость, то ли Алины руки свело судорогой, но разжать Алины руки папа не мог.

— Змеюка, — хрипел папа, — отпусти! Вурдалак, отпусти!

— Отпусти! — Крик был глухой, издалека. — Ты задушишь его — отпусти!

Голос был мамин. Аля узнала: мамин голос. Мама схватила Алю за волосы:

— Отпусти, ведьма, ты его задушишь!

Освободясь, папа лег на стол — грудью, лицом вниз, разбросав руки в стороны — и так лежал, а мама с Алей стояли и смотрели.

Потом мама сказала папе:

— Встань, иди умойся.

Папа еще немного полежал, поднялся, посмотрел на жену, на дочь и тихо произнес:

— Дочь хотела задушить отца. Дочь хотела задушить

отца. Лизочка, Ривочка, — папа воздел руки, — вы видели своими глазами оттуда: дочь хотела задушить родного отца!

И вдруг — никто не мог ожидать, такой только что был он слабый, немощный — папа схватил стул, и этим стулом стал крушить все вокруг.

— Спасите! — закричала мама. — Милиция! Вызывай милицию!

— Бляди! — кричал папа. — Всех блядей — на чистую воду!

— Гевалт! — мама высунулась в окно. — Милиция!

5

Аля, продолжала Альбина, пришла с двумя милиционерами.

— С двумя? — удивился Макс.

С двумя, повторила Альбина. Аля рассказала в милиции про папу, как он придавил маму столом, как стал крушить мебель, посуду, всю обстановку — и дежурный лейтенант велел, чтобы с Алей пошли двое. Аля не захотела идти домой, объяснила милиционерам, как пройти, а сама осталась у ворот.

Милиционеры вышли из парадного, один впереди, другой сзади, между ними — папа, руки, как будто связали, заложены за спину. Соседи выложились через подоконники, дети — мальчики, девочки — сбились в подъезде. А папа... Эти глаза, если бы ты видел его глаза!

Как у мальчика, сказал Макс, как у ребенка, и Аля вдруг подумала: папа — мальчик, папа — дитя, папа — сын, у сына должны быть мама, у каждого мальчика должна быть мама.

— Перестань! — Альбина закрыла лицо руками. — Перестань! Палач! Дура, кому рассказываю — врагу рассказываю.

Макс встал сзади, прижал, ладонями под челюстью, голову Альбины к себе, к животу, наклонился, поцеловал под ухом, еще раз, с другой стороны, под ухом, Альбина съежилась, как будто прохватил внезапно озноб, и зашептала прерывисто, просительным голосом: не надо, сейчас не надо, прошу, милый, сейчас не надо...

... С Манхэттенского моста шло тяжелое, с истерической зудящей нотой, натужное гудение. Гудение прорывалось громыханием и лязгом, притупленным, приглушенным, без привычной пронзительности звуков, какая бывает, когда железо ударяется о железо. Громыхание и лязг шли от поезда подземки, который замедлял, до человечьего шага, ход, чтобы не доводить до опасного для пролетов моста, для его ферм, предела колебательную волну, от которой мосты рушатся в воду.

С Ист-Ривер донеслись пароходные гудки: один — капризный, с петухом в голосе, другой — настырный, с сиплой, с басовой нотой.

— Пароходы, — сказала Альбина, — гудят здесь по-другому. В Одессе пароход, когда гудел, звал за собой, в море. А здесь — не зовет, здесь подает дорожный сигнал, как автомобиль.

Макс сказал:

— Подвинься ко мне. Ближе.

— Первое время, — засмеялась Альбина, — я думала, пароходы здесь не гудят. Только полиция гудит, пожарные и скорая помощь.

— Не рассматривай меня так, — нахмурилась Альбина. — Я не люблю, когда ты меня рассматриваешь так. Мне кажется, у меня что-то не так. Мне всегда кажется, у меня что-то не так.

— У тебя все так. У тебя все так, — сказал Макс, прижимаясь лбом к Альбининой щеке. — Ты лучше всех, ты красивее всех, ты чище всех.

— Повтори, — прошептала Альбина, — повтори, что я лучше всех, красивее всех, чище всех.

Макс повторил, Альбина слушала, на губах проступала — розовая, по краю белесого, парного облака — улыбка. Макс провел пальцем по Альбининым губам, как будто хотел стереть, и покачал головой:

— Не стирается.

Альбина нахмурилась:

— Проверяешь? Ну?

Макс сказал: все — настоящее.

— Настоящее, — усмехнулась Альбина. — Но лучше проверить. И что: по-прежнему я лучше всех, красивее всех, чище всех? Ты не юли: да или нет?

Макс не отвечал, Альбина требовала — "Да или нет?" — и сама сказала:

— Давай, Емеля: твоя неделя.

Макс приподнялся, оперся на локоть, положил палец на Альбинины губы и сказал:

— Это лишнее. Поверь мне: это лишнее.

— Что лишнее? — взвинтилась Альбина. — Что ты врешь и требуешь, как будто перед тобой дурочка, чтоб покорно повторяла за тобой: да, лучшая, да, самая красивая, да, самая чистая!

Макс сказал, он ничего не требует.

— Нет, — перебила Альбина, — ты требуешь. Ты не словами требуешь, ты всем своим видом требуешь: "Ах, какой я хороший, ах, какой я благородный, какой добрый!" А у самого на уме: "Сука! Какая же она — сука!"

— Прекрати! — сказал Макс.

— Ты прав, — еще больше взвинтилась Альбина. — Поганая, грязная, сука! Папу посадили на пятнадцать суток: пятнадцать суток они дают без суда. По указу за хулиганство. Две недели, пока держали папу в каталажке, Аля с Эдиком, то с Сашкой — полная себе королева. Эдик всякий раз канючил: "Ну, давай, ну чего — все равно поженимся". А Сашка, тот заладил, и как дятел: "Ты была с ним? Была?" И сам отвечал: "Была!" И тут же опять: "Была? Не была?"

Макс спросил:

— А все таки: была?

— Не была! — закричала Альбина. — А тебе-то чего: была не была — какая разница! Сто лет прошло. Вечность. Галактики, туманности — в тартарары летят!

Альбина сощурила глаза:

— Лину помнишь? Алина подружка, которую Эдик и Саша звали с Алей на чердак, а она не пошла: мамы боялась. У Лины тоже дома был ад. Лина дружила с Гургеном, Григорянц фамилия, армянин из высшей мореходки. Лина рассказывала Але: "Я беременна. Гурген говорит: не надо аборта, переходи в вечернюю школу, как-нибудь доносишь до аттестата зрелости. Я говорю ему: а папа, а мама? Ничего, говорит Гурген, проглотят. Представляешь себе: проглотят! Кошмар." Аля сказала Лине: чего торчать в Одессе — махнем на Кавказ. Отцу подходил срок домой, два дня оставалось. Лина пришла в ужас: "Как махнем? Паранты с ума сойдут!" Аля сказала: не сойдут, старики — они крепкие, войну выдержали.

6

Билеты взяли до Керчи. Ехали четвертым классом — на палубе. Легли валетом на полу. Под утро холод так

забрал — зуб на зуб не попадал. Лина предложила: давай в обнимку, друг о друга обогреемся. Аля отказалась. Лина скривила губы: почему? Противно, что беременная девка рядом? Беременность ни при чем, сказала Аля, просто не могу. Лина обиделась: не можешь, так и валетом не будем — врозь ляжем.

Легли врозь. Лина держала характер, пробрало до костей, видать, как тело ходуном ходит — а лежит, ни звука.

Аля первая сказала: ладно, пусть будет по-твоему. Лина не сразу откликнулась, продолжала играть обиду. Ладно, повторила Аля, давай рядом, а то одной невтерпеж.

Легли рядом, Лина сразу в обнимку, дышит в лицо, трется коленками, кряхтит от удовольствия. Аля терпела-терпела — не выдержала: нельзя, что ли, спокойно, лежать, обязательно тереться?

От чужого дыхания, от возни, замутило Алю, затошнило, как будто приступ морской болезни.

— Укачало меня, — сказала Аля. — Я встану. Сейчас вернусь.

— Что с тобой, — закричала Лина, — ты падаешь!

Аля дрожала, Лина обняла ее, сказала, пусть ляжет, наверное, закружилась голова. Это бывает, когда долго смотришь с судна на воду и забываешь, что смотришь с судна.

Аля прижалась к Лине, лицом к груди, сверху, в темя, упирался Линии подбородок, у Али было ощущение, через темя, где Лина терлась своим подбородком, идут по всему телу токи, токи изгоняют озноб, возвращают телу его тепло.

— Лина, — сказала Альбина громко, — поцеловала первая. Она сказала: Аля, я поцелую тебя. Аля прижалась к Лине, Лина расстегнула кофточку, велела Але, пусть тоже расстегнет, сосками притерлась к соскам, захватила губами Алины губы, завела между ног Алину руку и стала елозить. Над головой качалось черное, в звездах, небо, Лина велела Але, пусть сбросит джинсы, пусть откроет живот, она ляжет сверху. Аля сказала, пусть Лина сама стянет с нее джинсы, повернулась на спину, приподнялась, опираясь на ступни, на лопатки, чтоб Лине было удобнее. А у Али было ощущение, это не Лина стаскивает с нее джинсы, Лина не кряхтит так, не делает таких движений, двумя руками враз, с отставленными, по-мужски, локтями. Лина навалилась на Алю, завела руку под

себя, Аля внезапно, в паху, как будто с силой ткнули палкой, торцом, почувствовала резкую боль, схватила Лину за руку, пусть уберет, закричала, пусть немедленно уберет, Лина ударила Алю по лицу, приказала Але, пусть замолчит, а то разорвет, разорвет у нее всю... Лина сказала гадкое, мерзкое слово, и продолжала говорить гадкие, мерзкие слова, и твердила, что Аля понесет, и будет с брюхом, и брюхо будет расти, и все будут тыкать в ее сторону пальцем: брюхатая, брюхатая, брюхатая!

Макс засмеялся: Альбина говорила с армянским акцентом, разводила руками и гримасничала, как будто изображала человека из Еревана.

— Перестань смеяться! — закричала Альбина. — Думаешь, Аля сошла с ума? Она не сошла с ума, она испугалась: Лина выкликала страшным, гортанным голосом, с армянским акцентом, захлебываясь и размахивая руками. После каждого движения она произносила непотребное слово и требовала, чтоб Аля повторяла за ней. Аля отказалась, тогда Лина опять ударила ее по лицу и закричала, как безумная: "Слушай, я разорву у тебя всю... Давай повторяй, давай говори!"

— И Аля стала повторять? — спросил Макс.

— И Аля стала повторять, — сказала Альбина. — И было гадко, мерзко. И было удовольствие.

— Удовольствие? — переспросил Макс. — Отчего же удовольствие?

— Не знаю, — Альбина пожала плечами. — Помнишь, у Лины был этот армянин, Гурген? Але показалось, это не Лина, это ее Гурген говорит все эти слова и требует, чтоб Аля повторяла за ним. Лине было больно. Лине надо было, чтоб Але так казалось. И Але стало в самом деле казаться.

Макс спросил: Аля знала Гургена? Альбина покачала головой: нет, она не знала Гургена. Макс спросил: и не видела? Альбина сказала: не видела. Макс нахмурился: бред!

— Бред! — повторил Макс. — Делирий!

— Лине, — сказала Альбина, — было больно. Надо было помочь Лине, чтоб уменьшить боль, чтоб не было так больно...

С горы Митридат видна была Тамань. Тамань — кавказский берег. Аля всплеснула руками: Кавказ! Лина пожала плечами: Кавказ и есть Кавказ.

Аля встала лицом к морю, протянула вперед обе руки:

Я через овиди степные
Тянулся в каменистый Крым —
Там, где кончается Россия
Над морем черным и глухим!

Лина спросила: твои? Нет, сказала Аля, Осип Мандельштам. Лина удивилась: а книгу где взяла? Аля объяснила: книга у Саши, в папиной библиотеке. Лина скривилась: папина библиотека!

— Почему ты злишься? На кого ты злишься? — спросила Аля.

— Ни на кого не злюсь, — сказала Лина. — Дурачков не люблю.

— Не любишь, — пожала плечами Аля. — не люби. А злиться зачем?

— Слушай, — сощурила глаза Лина, — ты брось институточку делать! Брось юродивую работать! Я тебе тогда ночью по морде дала. Ты почему терпела? Почему не разбила мне морду, почему за борт не выбросила! Я ждала: вот, сейчас Алька даст мне по морде, сейчас выбросит в море — и дело с концом. Ты же сильнее меня, ты же на турнике солнце крутишь!

— Лина, — Аля смотрела на Лину, глаза сделались совсем круглые. — Лина!

— Ты не делай круглые глаза! — закричала Лина. — Ты не делай круглые глаза: я знаю, ты меня пожалела, ты сделала, как я хочу, потому что мне надо уступать — эй, уступите место беременной женщине, уступите место будущей матери, уступите место брюхатой!

Лина расплакалась, Аля подошла, хотела обнять, Лина увернулась, закричала дурным голосом:

— Не подходи! Я ненавижу тебя: ты стукачка, ты сексотка, ты на родного отца донесла! Отца родного заложила! Подлая, подлая!

Аля всхлипнула, как будто вдруг не хватило воздуха, побледнела, зеленые глаза сделались желтые, желтизна была степная, камышовая, Лина всплеснула руками: "Ты не человек — ты вурдалак, ты степная, камышовая!".

— Да, — кивнула Аля, — я ведьма: я посадила родного отца — меня надо убить. Убить, как убили Павлика Морозова. Я — гадина. Меня надо убить.

— Давай, — радостно закричала Лина, — стучи кулаком в грудки!

— Я не только посадила отца, — сказала Аля. — Я подняла руку на отца. Я ударила отца. Ударила. Меня надо убить.

7

Археолог Сева объяснял Але: понтийский царь Митридат VI Евпатор — харизматическая личность. Два числа — двадцать два и восемьдесят тысяч — определяют его харизматичность. Двадцать два — число языков, которыми владел царь Митридат. Восемьдесят тысяч — число италиков и римлян, которые были умерщвлены в один день по его приказу, в Анатолии. То, что в быту именуется жестокостью, в истории называется необходимость, целесообразность, прогресс.

Сева присел на корточки, расковырял пальцем в земле лунку, вытащил желтую кость, положил на ладонь и сказал:

— Кость любимого осла царя Митридата. Желтое — цвет времени. Аля, — сказал Сева, — у вас желтые глаза: вы — древняя. Из какого племени происходите?

Аля пожала плечами: папа, мама — евреи.

— Иудейского, — крикнул Сева. — Вы — древняя. Вам любопытно будет узнать: одесский археолог Стемпковский, современник Пушкина, коллега поэта по канцелярии графа Воронцова, полтораста лет назад в здешних местах обнаружил иудейское кладбище. На Тамани, в Фанагории, — Сева повел рукой к востоку, — тоже обитали ваши соплеменники.

— Я знаю, — сказала Аля.

— Я знаю, — сказал Сева, — что вы знаете. Аля, что сохранила ваша мать из тех веков?

Аля подняла высоко брови:

— Вы знаете! Откуда?

Сева протянул руки вперед, повел в стороны, как будто раздвигает пространство, и громко произнес:

— Оттуда!

Археолог Гена собирал с Линой черепки; показывая Лине свои находки — она вскрикивала: ах, прелесть! — он объяснял: в осколке греческой амфоры чистота и правда линий, какие, однажды потеряв, человечество никогда не обретет вновь.

Вечером ели чебуреки, запивали вином и смотрели, как обволакивается дымкой Тамань, кавказский берег.

Гена вынул из пачки сигарету, развернул аптечную бумажку с зеленым порошком, шилом перочинного ножа затолкал несколько крупинок в сигарету, закурил, сделал глубокую затяжку, передал Севе, тот сделал две затяжки, протянул сигарету Але, Аля покачала головой, она не курит, и спросила: почему одну сигарету курят вдвоем, теперь такая мода? Сева сказал, да, мода, но надобно уточнить: этой моде четыре или пять тысяч лет. А может, добавил Гена, еще по нулю справа. Но все равно, это тьфу, мгновение, сравнительно с возрастом нашей матери Геи, русским именем Земля.

Лина протянула руку за сигаретой:

— Я хочу.

— Хоти, дитя, — сказал Гена, — и знай: черепки, которые найдены сегодня тобою, отыщут друг друга и соединятся, через тебя, в амфоры, завещанные на хранение нам античными гончарами.

Сева зажмурился, сложил, ладонь к ладони, руки, выпрямился, сидя на земле, как дервиш у ворот города, и пробормотал:

— Старик, посвяти отроковиц. Передай курево Але: не бысть ей сотой овцой. Не среди искомых — среди ищущих обретаться ей.

Аля закурила. Запах был странный: сыроватость погреба, который давно, а может, никогда, не проветривался. Принюхиваясь, Аля обнаружила: есть в этом запахе нечто от преющей, никогда не просыхающей травы, наваленной кое-как в кучу.

— Пахнет лежалой травой, — сказала Аля.

Сева сладко потянулся и кивнул головой:

— Угу. Девочки и мальчики курят травку. Девочки и мальчики лежат на травке. Трава мятая. Трава лежалая. Трава возлежалая.

Лина захихикала:

— Угу. Мятая. Лежалая. Возлежалая.

Развели костер. Аля сказала, она пойдет собирать хворост. Аля поднялась, ступила правой ногой, ступила левой ногой и объяснила себе: теперь надо опять правой, опять левой. Аля засмеялась и сказала: я глупая, я разучилась ходить.

Гена развернул спальный мешок, разложил на земле, взял Лину за руку и пробормотал:

— Ходить — врозь, стоять — врозь, спать — вместе.

Лина полезла в мешок, затянула под челюстью шнуровку и — то ли в страхе, то ли в розыгрыш — испуганно закричала:

— Ой, держите, плыву!

Гена схватил Лину за ноги:

— Плыви, дитя, к неведомым брегам!

Аля повторила, она пойдет собрать хворосту, положила Севе на плечи руки и сказала:

— Не отпускай меня: страшно.

Сева притянул Алю к себе:

— Не отпущу.

— Отпусти, — закричала Аля, — я ничего не понимаю, но я все понимаю: отпусти!

Сева не отпускал, Аля укусила Севину руку, Сева протянул вторую руку:

— Кусай, Цирцея!

Аля не укусила, Аля сделала шаг назад, в упор посмотрела на Севу, голова ее сместилась влево, как будто не из шеи, как будто из левого плеча росла, Аля выпрямила руки, Сева закричал:

— Цирцея, расколдуй!

Аля открыла глаза, вскрикнула:

— Ты!

— Я, — мотнул головой Сева.

— Уйдем отсюда, — Аля кивнула в сторону Лины и Гены. — Уйдем от них.

Сева раскрыл мешок, сказал Але, здесь ее дом на всю ночь, до утра. Утро вечера мудренее: проснется — все по-другому будет.

У Гены и Лины зажегся огонек. Сева сказал, у счастливых перекур, сделаем затяжку от их счастья, пошел к огоньку, в двух шагах остановился, потопал ногой и спросил: кто там, в теремке, можно?

В теремке испугались и хором ахнули: ах! Дали путнику в дорогу травки и сказали, пусть благословен будет миром, но мира ему не будет, ибо возгордился.

Аля спросила: о чем разговор был? Сева ответил, сама, чай, слышала. Аля сказала, не все слышала, отдельные слова слышала. Сева махнул рукой: много будешь знать — скоро состаришься.

— Трус, — закричала Аля, — жалкий трус!

Сева свернул трубочку, затянулся, передал Але:

— Вдохни, дева: как говорили древние, ин херба веритас — в травке истина.

— Думаешь, я дурочка! — вскинулась Аля.

— Ты не дурочка, — сказал Сева. — Вдохни.

Аля затянулась, перевела дыхание, затянулась еще раз, Сева объяснил, не следует сразу выпускать дым, надо подержать в горле, в гортани, пропустить в легкие, чтоб кровь насытить — иначе убогая самодеятельность: и смотреть тошно, и бранить зазорно.

Аля осмотрелась, подняла глаза вверх:

— Месяц плывет ко мне. Звезды мигают мне. Я сильная. Я все могу. Я лучше всех. Сева, я лучше всех?

Да, сказал Сева, лучше всех.

— Сева, — Аля запрокинула голову, глаза огромные, стылые, как у незрячего, — Сева, я отца предала.

Сева не откликался.

— Слышишь, — повторила Аля, — я отца родного посадила.

— Все сажали отцов, — сказал Сева. — Время такое: детям — отцов сажать.

Аля натянула мешок, Сева объяснил, тут проблема со шнуровкой, он сам завяжет.

Аля спросила:

— Сева, я вдруг я влюблюсь в тебя? Ты женишься на мне?

— Я не женюсь на тебе, — Сева покачал головой. — Я выйду за тебя замуж. Ты андроген, любовь моя, у тебя бедра мальчика, у тебя торс мальчика, у тебя сиплый голос отрока и повадки Гавроша. Любовь моя, возьмешь меня в жены?

Аля забормотала:

— А Саша? Предательство! Предала! Выдала врагам на поруганье. Саша — вне моего мира, вне меня. Ты — мой, со мной, во мне!

— Уймись, — Сева захватил Алину голову в ладони. — Уймись, милый!

Аля бормотала:

— Оставила! Бросила! Одного. Отсекла половину. Нарушение гармонии. Нежность, страсть, покой, крик испуга. Иди ко мне. Ляг со мной. Согрей дыханьем. Мой, мое! Иди, не медли!

Аля стала дергать шнуровку, движения были беспорядочны, как будто задыхается, вот-вот совсем задохнется,

Сева приказал — прекрати! — распустил шнуровку, сбросил куртку, туфли, брюки и полез в мешок. Аля дрожала и, прижимаясь, продолжала дрожать, Сева левой рукой обнял, правой стал быстро, вдоль позвоночника, растирать спину, Аля закричала: "Что ты со мной делаешь!" — Сева оттянул резинку трусов, захватил в ладонь Алины ягодицы, Аля вся подалась вперед — твоя! — Сева сначала никак не мог изловчиться, наконец, изловчился, хотел сказать Але, пусть раздвинет ноги, а то не пробиться, и в это мгновение, как полоумная, Аля завопила:

— Обманул! Обворовал! Предал!

Сева зажал Але рот ладонью, назвал нехорошим, нецензурным словом, приказал немедленно замолчать, Аля укусила Севу, он отдернул руку, Аля опять завопила: "Обманул! Обворовал! Предал!"

Сева возмутился:

— Ты же звала меня, ты сама звала!

Аля сказала, да, звала, но не для этого...

— Понимаешь, не для этого! Обманул, обманул!

Сева еще больше рассердился:

— Свидетели нужны, да?

— Подлец! — закричала Аля. — Обманул, предал! Подлец!

Сева потребовал, пусть уймется, стал выбираться из мешка, Аля схватила за подол рубашки, сказала, останься, но без этого... Сева ударил Алю по руке: "Отпусти!"

Аля заплакала, Сева сначала не обращал внимания, потом наклонился, стал гладить по голове:

— Ну не надо, не надо...

8

Сашины родители как топором отрубили: нет!

Саша объяснял: он любит Алю, она любит его, стало быть, взаимно. Аля переходит в вечернюю школу, они расписываются, Саша кончает институт — молодые едут по назначению.

Сашина мама уточнила:

— В Хацапетовку.

Саша кивнул:

— В Хацапетовку. Или Крыжополь.

— Осел, — воскликнула Сашина мама, доктор Зонтаг, — а твоя аспирантура!

Насчет аспирантуры, сказал Саша, господ евреев просят не беспокоиться.

— Осел, — повторила мама, — она тебе вообще не пара. Ты знаешь, из какой семьи она!

Саша привел историческую справку: у товарища Сталина отец был сапожник, притом горький пьяница, жену бил смертным боем, а сын, вот, успел, и еще как успел.

— Дебил, — совсем рассердилась мама, — тебе объясняют русским языком: для нее места здесь нет. Никто не будет терпеть.

— Будут, — уверенно произнес Саша. — Колесо вертится.

— Какое колесо? — нахмурилась мама.

— Колесо истории, —объяснил Саша. — Доктор Зонтаг, повторите: колесо истории вертится.

Сашина мама, доктор Зонтаг — в девичестве Иванова — отказалась повторить. Доктор Зонтаг предложила свою версию — покрутив пальцем у виска, она тем же пальцем указала на своего сына, на Сашу:

— Мишигас!

Итак, подвел итог сын, мать отлучила родимое дитя от груди — по причине естественного отвращения к врожденному кретинизму последнего. Саша вынул носовой платок, промокнул фарфоровый глаз. Доктору Зонтаг вдруг изменила выдержка, она всхлипнула, сын обнял ее, она прижалась к нему:

— Мальчик мой, это безумие. Одумайся. Я понимаю, ты любишь. Пусть так: Аля — хорошая девочка. Я не спорю. Живите с нами. Мы потеснимся. Но дело не в метраже.

Саша подтвердил: не в метраже. Дело — в квадратуре. В квадратуре круга.

— Саша, — доктор Зонтаг сплела пальцы, пальцы побелели, — ты будешь кусать локти. Мать говорит: ты будешь кусать локти.

Саша склонил голову: к тому идет — все будем кусать локти.

...Аля пришла к Эдику, чтобы поставить в известность: она переходит к Саше — это окончательно. Встречи, отношения — все в прошлом.

Эдик, как будто не к нему, не видит, не слышит, схватил Алю, завел руки за спину и наглым голосом заявил:

— Ты меня хочешь.

Аля высвободила руки, дала Эдику оплеуху, он нахально засмеялся и продолжал свое. Аля рассердилась не на шутку, предупредила, она не остановится ни перед чем.

Эдик сказал, один раз было, второго не будет, повалил Алю на пол и затеял возню. Был момент — у Али сладко, с тревогой, с ужасом защемило сердце — Аля сама подалась к Эдику, он, как безумный, впился в губы, она захватила нижнюю губу его зубами, обеими руками уцепилась за волосы, он завыл, от этого воя Аля еще больше разъярилась и уже с радостью, с наслаждением, с торжеством царапала, кусала и рвала за волосы.

Когда поднялись с полу, привели себя в порядок, Аля вдруг заплакала. Эдик, бледный, по скулам лиловые пятна, зло сказал:

— Ты пришла ко мне сама. Зачем?

Аля ответила: пришла к человеку — объяснить, что все кончено.

— Вот, — Эдик показал мокрое пятно на брюках, пятно на Алином платье, — и вот. Кончено.

Аля машинально глянула, коснулась пальцами, тут же, почувствовав липкое, рывком убрала руку, хотела закричать, такая взяла гадливость, но не успела: поперек горла стал ком, ни вдохнуть, ни выдохнуть — и тут же вырвало.

Эдик спросил: принести воды? Аля не ответила, сама пошла на кухню, над раковиной еще раз вырвало, не так обильно, как в первый раз, прополоскала горло, рот, вернулась в комнату, вытерла тряпкой пол, Эдик тупо, вроде напал столбняк, наблюдал. Аля, без слов, как будто одна в доме, нет никого, никакого Эдика, направилась к двери и хлопнула.

С Сашей встретились во дворе института, у анатомки. Саша выскочил в сером клеенчатом переднике, Аля машинально отпрянула, Саша цокнул языком, трупик попался во, пальчики оближешь, притянул Алю к себе и закричал в ухо:

— Чапаев выплыл: паранты сложили оружие!

Саша подставил щеку, Аля чмокнула, Саша сказал, не так, а так, чмокнул Алю сам, как будто из воздушки выстрелил, и вдруг весь напрягся:

— Ты откуда? Из дому?

Нет, покачала головой Аля, не из дому.

— Не из дому? — поразился Саша. — Откуда же?

Аля сказала:

— Ты знаешь, откуда.

Саша опустил голову:

— От него?

— Да, — сказала Аля, — от него.

— Сама пошла? — спросил Саша. — Он звал?

— Сама пошла, — кивнула Аля.

— Сама? — Саша поднял голову, фарфоровый глаз, недвижимый, в упор смотрел на Алю. — Зачем?

Аля пожала плечами:

— Хотела, чтоб по человечески, хотела объяснить, что все кончено.

— Зачем? — повторил Саша, фарфоровый глаз сделался совсем круглый, как у птицы, и смотрел сбоку, как у птицы. — Ты же знаешь его.

— Знаю, — кивнула Аля. — Но я хотела объяснить. Как человеку. Понимаешь, как человеку.

Аля заплакала.

— Он изнасиловал тебя? — Саша сделался белый, как полотно.

Аля не отвечала.

— Изнасиловал? — прошептал Саша.

Аля пожала плечами:

— Не знаю. Изнасиловал. Не знаю.

— Чего не знаешь? — у Саши перехватило дыхание. — Не знаешь, изнасиловал или сама... сама...

— Нет, — замотала головой Аля, — не сама... не сама... Он набросился. Я кусалась, царапала, рвала за волосы.

— Так было или не было? — закричал Саша.

Аля сказала, у него было, а у нее, нет, не было.

Саша схватился за голову:

— Ты безумная! Отвечай: было или не было?

Аля повторила: у него, у Эдика, было, вот, след на платье, а у нее не было.

— Значит, не было? — бледность Саши сошла, лицо сделалось нормального цвета. — Не было! Замолчи: не было!

— Он повалил меня на пол, — сказала Аля, — он лег на меня. Я кусалась, я царапала. Вырвала клок волос.

— Вырвала клок волос! — восторженно повторил Саша. — О, мой Тиль Уленшпигель: пепел Клааса стучит в твое сердце!

— Саша, — Аля подняла голову, смотрела прямо в глаза, — я нехорошая. Саша, брось меня.

— Ты хорошая, — закричал Саша, студенты проходили мимо, обернулись на крик, — ты самая хорошая, Аленок мой, олененок мой! Ты одна, ты единственная — другой такой нету!

— Саша, — сказала Аля, — я хочу рассказать...

Не надо, перебил Саша, зажал Але ладонью рот, он все знает, все понял: она — самая лучшая, самая чистая.

— Саша, — сказала Аля, — в Крыму, когда я была с Линой, один археолог, Сева, полез ко мне в спальный мешок.

Саша засмеялся, погрозил пальцем: берешь на дохлого рачка!

Аля покачала головой: никакого дохлого рачка, Сева на самом деле полез к ней в спальный мешок, она сама пригласила, потому что ночь была холодная, а спальный мешок он отдал ей и сказал, что всю ночь будет сидеть у ее ног, стеречь.

— Дальше, — Саша закрыл глаза.

Дальше, сказала Аля, Сева хотел взять ее. Он не понял, он думал, Аля позвала для этого.

Саша зажмурился, как будто солнце било прямо в глаза. А для чего же, для чего еще можно позвать в спальный мешок?

Аля объяснила, Сева тоже так думал, а она позвала, потому что была холодная ночь и Севе было холодно, а в мешке тепло и было свободное место.

Аля повторила:

— Понимаешь, человеку холодно, а в мешке тепло и есть свободное место.

Понимаю, кивнул Саша, и по лицу было видно, что в самом деле понимает.

Аля обрадовалась:

— Ты понял. И я думала так. И других мыслей не было. А Сева не понял. Сначала не понял, а потом понял.

— Когда — потом? — спросил Саша, голос совсем осип. — Когда — потом? А ты, когда звала этого хлыща в спальный мешок... ты же его первый раз в жизни видела...

Аля сказала про Севу, что он не хлыщ, наоборот, он очень умный и много знает, его можно слушать с утра до ночи, и очень добрый и честный.

— С утра до ночи! — захохотал Саша, как будто очень смешно. — Ты, лучше, скажи: с ночи до утра!

Хорошо, согласилась Аля, с ночи до утра. И было бы с ночи до утра, если бы не пришлось убежать.

— Боже мой, — схватился за голову Саша, — а бежать пришлось почему? Потому что вся ситуация, вся обстановка была такая: бежать, а иначе...

Да, подтвердила Аля, а иначе все могло кончиться плохо. Но почему обязательно плохо? Если бы люди правильно понимали слова, не как им хочется, а как надо, не должно кончиться плохо. Наоборот, должно кончаться хорошо.

Саша запрокинул голову, закрыл лицо руками.

— Брось меня, — сказала Аля. — Я плохая. В плохую ситуацию попадают плохие — хорошие не попадают. Ты прав. Брось меня.

Из подвала донесся отчаянный, с визгом, с воем, собачий лай. Аля вздрогнула, прильнула к Саше, в ужасе пробормотала: собак режут! Саша машинально отступил, сделал рукой знак, пусть Аля стоит так, на расстоянии. А насчет собак объяснил, беспокоиться не надо: режут под наркозом, боли никакой. Вон, Саша обвел рукой, в операционных режут людей, а тихо. И кто-то под ножом преставится — все равно будет тихо. Люди боятся крика, а тишина бывает страшнее всякого крика.

— Аля, — Саша взял себя в руки, говорил спокойно, тихо, так тихо, что надо было прислушиваться, чтобы услышать. — Аля, ты любишь меня?

— Ты знаешь, — сказала Аля, — я люблю тебя. Я люблю тебя больше всех. Больше всех на свете...

— Стоп! — Саша схватил Алю, прижал лицом к плечу, Аля стала мотать головой, хотела освободиться, но Саша держал крепко, не отпускал. — Молчи, ни слова! Никого на свете нет: только мы, только двое. Никого больше: только мы, двое.

Аля просила Сашу, пусть разожмет руки, она задохнется. Саша разжал, она громко, с шумом, вздохнула, сказала, как это хорошо — свободно, когда никто тебя не давит, дышать. Никто, повторила Аля, пусть даже оттого, что сильно любят.

Саша поймал на слове:

— Вот и не дави!

Аля рассердилась: не надо ловить ее на слове! Ловить на слове — тоже давить.

Саша удивился, хотел сказать Але, как быстро пере-

менилось у нее настроение, семь пятниц на неделе, но Аля, как будто угадала Сашины мысли, опередила: не семь пятниц на неделе, а рот не надо затыкать человеку.

— Слушай, — Аля говорила зло, с вызовом, — ты рот не затыкай мне!

Саша едва успел вставить слово: да кто же затыкает?

— Ты затыкаешь! — стояла на своем Аля. — Мы не двое на земле. Тебе хорошо: я с тобой. А Эдику плохо. Я пошла к нему, потому что ему плохо. Я не хотела, чтобы ему было плохо. Я хотела объяснить, что не буду с ним, что буду с тобой, потому что...

Аля запнулась, видно было, что подыскивает слово, чуть не сорвалось с языка, но вовремя спохватилась: нельзя этого слова.

— Ты не мучай себя, — сказал Саша. — Вот тебе это слово — "одноглазый"! Буду, Саша, с тобой, потому что ты, Саша, одноглазый и глаз потерял из-за меня.

Аля растерялась, хотела сказать, нет, не так, у нее и в мыслях этого не было, никогда не было, ни прежде, ни теперь. Фарфоровый глаз сделался у Саши совсем круглый, как петушиный, и смотрел сбоку, как петушиный, Аля вдруг, как раньше, когда требовала, чтобы не затыкали ей рот, сказала зло, с вызовом:

— Ну думала! А что, нельзя думать?

Саша не отвечал ни да, ни нет. Саша молчал, как будто оглох, онемел. Аля возмутилась:

— Ты, что, глухонемой: давай отвечай!

Из глаза, вставного, выкатилась слеза, Саша вынул из фартука бумажку, промокнул; другой глаз, зрячий, оставался сухой, безучастно смотрел на Алю, а у Али мелькала безумная мысль: и этот глаз неживой, Саша ослеп, Саша — слепой!

— Саша, — прошептала Аля, — ты меня видишь?

Саша пожал плечами.

— Словами, — затормошила Аля, — словами отвечай!

— Вижу, — сказал Саша, — как в тумане. Вот...

Саша провел рукой у Али по волосам, по глазам, по лицу, перечислил: каштановые волосы, зеленые глаза, матовое, с шафраном лицо.

— Саша, — закричала Аля, обхватила руками, сжала изо всех сил, — я люблю тебя! Одного тебя! Не бросай меня, не оставляй, не предавай! Люби меня, не предавай, не гони, я твоя, навсегда твоя! Мой повелитель, мой властелин, мой любимый, накажи меня, покарай, приказывай!

Аля дрожала вся, прижималась, терлась, как будто хочет вжаться, втереться в Сашино тело без остатка, и сама объясняла, что хочет до конца, без остатка, исчезнуть, хочет слиться с Сашей, чтоб не было никакой Али, а был один Саша, и в нем, в Саше, была она, Аля.

Саша пытался успокоить, обнимал, гладил, объяснял Але, у нее аффект, гиперреакция, надо взять себя в руки, а потом самого забрал озноб, стал дрожать, называл себя всякими бранными словами — подлец, негодяй, бабуин — говорил, что он виноват во всем, что отравляет бабуинскими своими реакциями Але жизнь.

Был момент, Саша стал падать на колени, Аля с трудом удержала, показывала рукой, вокруг люди, Саша бормотал, ему плевать на людей, он виноват, он заставил ее страдать, Аля отвечала, нет, это она заставила его страдать, но это последний раз, больше никогда не повторится, она будет делать все, как прикажет Саша, и будет думать, как Саша, и ничего другого ей не надо.

— Аленок мой, — бормотал Саша, — олененок мой, самый добрый, самый чистый, самый лучший в мире!

9

Аля получила серебряную медаль, подала документы в университет, на факультет романо-германской филологии. Для медалистов был один экзамен: по русской литературе, сочинение. Але поставили тройку. Три — непроходной балл.

Саша бегал по квартире, кричал, он так этого не оставит. Доктор Зонтаг, Сашина мама, сказала сыну, придется оставить.

Саша бросился в атаку на мать: у Али — медаль! Понимаешь, еврейке дали медаль!

Аля была в отчаянии, Аля говорила, она не хочет жить, она повесится.

Доктор Зонтаг успокаивала сына:

— Не волнуйся, не повесится. У птички крепкие крылья. Еврейская девочка. Такие делали революцию.

— Мама, — Саша размахивал руками, — ты — юдофобка! Как папа живет с тобой: ты — юдофобка!

Аля сказала Саше:

— Твоя мать ненавидит меня.

Саша развел руками:

— Откуда ты взяла?

— Саша, — повторила Аля, — твоя мать ненавидит меня. Давай уйдем. Я не хочу, чтоб меня ненавидели. Я хочу, чтоб меня любили.

— Тебя любят, — сказал Саша. — Папа тебя любит.

Аля ответила, Соломон Моисеич не хозяин здесь. Вера Андреевна — хозяин.

— Давай без дефиниций! — вдруг сорвался Саша. — Живешь — живи.

Аля сказала: она не хочет здесь жить, она вообще не хочет жить.

— Уйдем, — Аля подошла к Саше, обняла, — уйдем, милый.

Саша усмехнулся: легко сказать — уйдем! Куда уйдем? Идти некуда. Остался один год — интернатура. Дадут назначение — уедем.

— Саша, — сказала Аля, — давай уедем. Навсегда.

Саша не понял: навсегда? Из Одессы — навсегда? Аля покачала головой: не из Одессы, а вообще, навсегда.

— Ты что! — оторопел Саша.

— Уедем, — повторила Аля. — Все евреи едут.

Саша сказал: что значит все? Кто едет, кто не едет. Большинство не едет.

— Все едут, — твердила свое Аля. — Поедем! Ты как хочешь, а я еду.

— Подожди! — остановил Саша.

— А чего ждать? — удивилась Аля. — Пока всех нас не перебьют?

Саша возмутился: это демагогия! Где ж перебили, кого перебили — вокруг полно евреев!

— Ах, — воскликнула Аля, — будешь ждать, пока всех не перебьют! А мне достаточно: в университет — фигу, в аспирантуру — фигу. Чего ждать?

С аспирантурой, сказал Саша, надо погодить: еще год интернатуры.

Аля поразилась:

— Ты что, мальчик из дурдома? Ты же сам объяснял своей маме: насчет аспирантуры господ евреев просят не беспокоиться. Саша, — Аля сделала большие глаза, — ты лицемер, ты трус и ханжа!

Саша взвинтился:

— Ненавижу ярлыков! Давай не навешивай ярлыков!

Аля пожала плечами: какие ярлыки? Александр Зонтаг, без пяти минут доктор, лицемер, трус и ханжа.

Саша закричал не своим голосом:

— Еще одно слово — я убью тебя!

Аля расстегнула рубашку, запрокинула голову, сама подставила горло:

— На, убей!

Саша схватился за голову, подскочил к окну, растворил настежь, глаза у Али сделались холодные, зрачок огромный, черный, без дна:

— Почто медлишь? Трус, — закричала Аля, — почто медлишь: аль кровушки испугался, аль правдушка душу поганую когтит!

У Али дрожали губы, лицо желтое, как будто припорошили хной, каштановые волосы, на солнце, пламенели, Саша смотрел, как завороженный, внезапно подхватил Алю на руки, она сладостно, восторженно, внутри все замерло, шепотом приказала: "Бросай!" Саша качнулся к окну, Аля, на мгновение, машинально, обвила Сашину шею руками, но тут же опустила и громко, ясным голосом нетерпеливо повторила:

— Кидай! Кидай же!

— Ай, кину! — закричал Саша, отступил назад, чтоб побольше инерции для броска набрать, и вдруг, как будто все было игрой, игра кончилась, а теперь начинается настоящее, уложил Алю на стол, набросился с поцелуями и навалился всем телом.

— Нет! — воскликнула Аля, уперлась руками, согнула ноги, коленями стала теснить Сашину грудь.

— Вон, — сказала Аля, — не хочу тебя: ты гадок мне. Ненавижу. Презираю. Иди к своей маме, выблюйся: Аля не слушается, Аля дерется, Аля бяка. Иди: мама поймет, пожалеет.

— Аля, — прошептал Саша, — Аленок, что с тобой?

— Ничего со мной, — заплакала, зарыдала Аля. — Ненавижу, всех ненавижу. Что ни слово: нет! О чем ни попросишь: нет! Ехать: нет! В окно выбросить: нет! А когда же — да? Кто скажет: да!

Вечером у Саши был разговор с мамой.

— Мама, — сказал Саша, — мы с Алей решили: надо ехать.

Доктор Зонтаг не спросила "куда ехать"? Доктор Зонтаг побледнела, схватилась за грудь, в глазах застыл ужас,

рот раскрыт, ни вдохнуть, ни выдохнуть, Саша сжал руку в кулак, положил на стол:

— Мама, мы с Алей решили: ехать. Решение окончательное. Кассации не подлежит.

Дыхание, наконец, вернулось, Вера Андреевна приказала сыну:

— Убери кулак!

Саша смотрел маме в глаза, держал руку, как прежде, Вера Андреевна повторила:

— Саша, убери кулак! Теперь поговорим. Первое — о причинах: почему ехать? Отец — хирург, кандидат наук, заведует отделением в горклинбольнице, на улице Шолом-Алейхема. В Одессе не говорят: горклинбольница. В Одессе сто лет говорят: Еврейская больница. Фундатор Еврейской больницы — твой прадед. Обо мне речи нет, хотя последнему дауну ясно: доктор Вера Зонтаг и доктор Вера Иванова — это две большие разницы. Ты — интерн, через полгода — врач. Что же остается? Остается она, не приняли в университет. Но на романо-германскую филологию — десять прыщавых девиц и юнцов на одно место.

— Доктор Зонтаг-не-Иванова, — Саша хватил кулаком по столу, — напоминаю: она не прыщавая девица, не прыщавый юнец, у Али — медаль!

Больше всех переживал дед, Андрей Кузьмич.

— Вражье семя, — кричал Андрей Кузьмич, — сионисты, бундовцы, набили, нарубили, наколошматили, а теперь — драпать! У-у...

Андрей Кузьмич поднял правую руку, хотел сжать в кулак, пальцы не сжимались, лицо перекосилось, нижняя челюсть торопливо, с дробным костяным звуком, ударялась о верхнюю, о зубы, глаза наполнились ужасом, Вера Андреевна подбежала, стала прижимать челюсть снизу, челюсть не останавливалась, Андрей Кузьмич ойкнул, из горла пошел хрип, бульканье — и свалился.

— Папа, — закричала Вера Андреевна, — папа!

Андрей Кузьмич лежал на полу, глаза в потолок, Вера Андреевна набрала номер, вызвала скорую помощь, сама поставила диагноз — инсульт.

— Саша, — теряла последние капли гордости Вера Андреевна, — мать не выдержит без тебя, мать умрет! Тебя совесть замучает. Умоляю тебя: ну потерпи, подожди!

Аля была категорически против: какой смысл ждать? У Веры Андреевны семь пятниц на неделе — то едет, то не едет, то дед отдает концы, то реанимируется. У каждого — своя семья, свои проблемы. Чего ждать: захотят — поедут.

Вера Андреевна собралась с духом, взяла себя в руки: как с ней по-бандитски, на большой дороге, так она на большой дороге, не даст сыну согласия — пусть колдунья его наколдует визу!

Аля объясняла Саше:

— Саша, твоя мать просто сволочь.

— Не смей! — ерепенился Саша.

— Саша, — повторяла Аля, — твоя мать сволочь и чеберячка. Соломон Моисеевич — несчастный человек: всю жизнь мучиться с этой чеберячкой. Зачем? Пусть разведется.

— Слушай, — Саша не находил слов, — слушай, ты!

— Пузырь, — Аля спокойно смотрела Саше в глаза, — Саша, ты — мыльный пузырь. И папа твой — мыльный пузырь. Саша, — предложила Аля, — давай вместе пойдем к нему и скажем: "Соломон Моисеевич, знаете, кто вы? Мыльный пузырь".

Саша размахивал руками, говорил насчет мыльного пузыря, что это безграмотное сравнение и вдобавок гнусный поклеп.

Аля пожимала плечами: это не сравнение — это определение, и никакого поклепа нет. Саша сам знает, это чистая правда.

Аля не ошибалась: Саша в самом деле чувствовал — в Алиных словах есть правда. И насчет папы, и насчет него, Саши, есть в Алиных словах правда.

Аля домогалась у Саши ответа: какое нам дело до стариков? Саша отвечал: никакого дела до стариков нам нет, но старики — реальность, с реальностью надо считаться.

— А мы, — Аля тыкала себя пальцем в грудь, тыкала Сашу, — мы — реальность?

Саша норовил отделаться шуткой: Аля, да, реальность, а он, Саша, нет, он — фикция.

— А тогда, на чердаке, — спросила вдруг Аля, — когда Эдик выбил тебе глаз, ты тоже был фикция?

Саша побледнел, синий глаз, настоящий, не вставной, сделался под толстым стеклом огромный, со своей, от-

дельно от человека, жизнью и своим, отдельно от человека, ужасом.

— Саша, — закричала Аля, — закрой глаз! Саша, я боюсь: закрой глаз!

Саша повернулся, вышел из комнаты, Аля бросилась на диван, лицом в подушку, и так, лицом в подушку, пролежала дотемна.

Саша не возвращался. Аля встала, подошла к окну, всякую далекую фигуру принимала за Сашу, хоть внутри голос назойливо твердил свое: нет, не Саша.

Вечер был теплый, почти летний, какие бывают в Одессе в сентябре, вдруг прорывался запах акации, второе цветение, от акации сладко кружилась голова.

На углу Петра Великого и Пастера Аля остановилась — как раз у дома, где жил Эдик. Это было неожиданно. Аля совсем не думала про Эдика, Аля шла просто так, без цели, куда-нибудь, просто чтобы идти, не стоять на одном месте, и вот — она у дома Эдика, у самого подъезда.

Аля была уверена, Эдика нет дома, в такой вечер Эдик не станет сидеть в духоте, в квартире, позвонила, чтобы убедиться, Эдика действительно нет дома, дверь откроет его мама или папа, и очень удивилась, когда дверь открыл сам Эдик.

У Али прямо ухнуло внутри, как будто ударили, из живота под сердце, боксерским кулаком в перчатке:

— Ты?

Эдик, точь-в-точь, как Аля, только другим голосом, тоже вскрикнул:

— Ты?

Поначалу, когда Эдик взял ее, Але было очень больно. Она всякий раз вскрикивала: ах, осторожно! осторожно! Эдик повторял за Алей — осторожно, осторожно! — но тут же движения его убыстрялись, делались порывистее, резче. Аля еще громче вскрикивала, уже не просила, уже, со слезами в голосе, умоляла, осторожно, осторожно, Эдик послушался, стал осторожнее, но Аля сама тут же приказала, не надо осторожнее, пусть как раньше, и Эдик опять убыстрял движения, опять движения его делались порывистее, резче, и опять, со слезами в голосе, Аля просила, умоляла:

— Ах, больно! Ах, осторожно!

Аля, как только Эдик взял ее, закрыла глаза и так, с закрытыми глазами, делала, в ответ на движения Эдика, все свои движения. Эдик требовал, чтобы Аля открыла глаза, но Аля не слушалась, только раз открыла, не оба глаза, а один, одним глазом смотрела на Эдика, и Эдик закричал: Аля, закрой глаз, закрой глаз!

Она очень удивилась, когда услышала это имя, Аля, она не послушалась Эдика, не закрыла, наоборот, еще больше, еще шире открыла глаз, так захотелось увидеть Алю, к которой обращены были слова Эдика. Когда сделалось очень больно, она услышала — явственно, вроде закричали прямо в ухо, — радостный Алин крик: "Ага, больно! Тебе больно! Пусть будет больно как тогда, когда выбили тебе глаз!"

Эдик замедлил движения, внезапно замер, на лице застыла гримаса, как будто неживой человек, как будто маска, Алю затошнило, она чувствовала, еще мгновение, ее вырвет, рывком подобрала колени, повернулась на бок и сбросила Эдика на пол.

— Сука! — закричал Эдик плачущим голосом. — Что делаешь!

Теребя, тиская между ног обеими руками, Эдик подергался на полу, вскочил, Аля поспешно натягивала одежду, хотел наброситься, Аля подняла туфли, каблуками вперед, и предупредила: одно движение — выколет оба глаза!

По Ланжероновской спустилась в порт. Купаться в порту строго воспрещалось. Аля выбрала место поглуше, причал для морских трамваев, примерилась глазом, разбежалась, перепрыгнула на катер, постояла у борта, рядом, у соседнего причала, пришвартован греческий теплоход "Эллада", на палубе ни души, в иллюминаторах темно, только в одном свет, Аля сняла туфли, платье тоже хотела снять, но передумала, белое тело заметнее, спрыгнула и поплыла. Она была совсем уже близко от кормы, когда затарахтел мотор.

Пограничники — их было двое, один с автоматом наперевес — приказали подняться на борт, один схватил Алю за руку, стал подтягивать, Аля перебросила ногу через борт, перевалилась и плюхнулась на дно.

В конторке Алю ждал капитан погранвойск, высокий, блондин, с пшеничными усами, очень строгое лицо, впечатление, что никогда не улыбается. Аля только успела подумать, что капитан никогда не улыбается, он улыбнулся, сказал Але, пусть пройдет в туалет, хорошенько выжмет платье, велел старшине подать Але пяток газет,

когда выжмет, пусть промокнет платье газетами, будет почти сухое, и возвращается.

Капитан приказал пограничникам, пусть выйдут, остались вдвоем, налил, из электрического чайника, чаю Але, себе, и вдруг, ни с того ни с сего, спросил:

— Вы какой нации: еврейка?

Аля хотела сказать правду, да, еврейка, но вместо этого покачала головой: нет, не еврейка — молдаванка.

Капитан кивнул, ясно, подал Але телефонную трубку, набрал номер и приказал:

— Быстро: имя, фамилия, год рождения, адрес. Цель пребывания на территории порта.

Аля быстро, как приказал капитан, перечислила без запинки, насчет цели пребывания на территории порта немного замялась, но повторила прежнее — хотела утопиться, умереть — капитан взял из рук у Али трубку и сказал:

— Зонтаг, вы арестованы при попытке пересечь государственную границу СССР!

Аля вся похолодела, капитан смотрел пристально, как в кино смотрят пограничники на пойманного диверсанта, затем велел Але положить левую руку на стол, ладонью кверху, посмотрел, провел пальцем по ладони и уверенно произнес:

— Долго жить будете, девушка. А дров наколете. Наколете! — повторил капитан.

Аля вдруг расплакалась, повторила, что не хочет жить и пусть, лучше, ее расстреляют.

— Зонтаг, — грубо осадил капитан, — прекратите свое кликушество! И благодарите судьбу!

... Когда Саша приехал, уже светало. Саша, прямо с порога, бросился к Але, стал обнимать, Аля заплакала, Саша, как заводной, уговаривал, не надо плакать, все хорошо, не надо плакать, Аля, наоборот, от этих уговоров еще больше разрыдалась, и не было никакой возможности унять.

Капитан наблюдал молча, барабанил пальцами по столу, сделал движение рукой, как будто хотел привлечь внимание, сказать слово, но, нет, ничего не сказал, только потом, когда Аля стала утихать, обратился к Саше:

— Зонтаг, возьмите свою... — капитан замялся, — молдаванку, да держите покрепче, а то, знаете, племя, молдаваночки-цыганочки!

Саша приехал на папиной "Волге". Аля, как только сели в машину, сказала Саше:

— Саша, я должна...

Саша оборвал Алю на полуслове, сказал, она ничего не должна, наоборот, он должен, он заварил кашу, и вся ответственность на нем. Это счастливый случай, что попался такой гэбист, это просто счастье, невероятное везенье.

— Вообще, — Саша хлопнул в ладони, — Аленок, ты везучий, ты неимоверно везучий!

Дома, когда легли, Саша повернулся лицом к стене, Аля проложила между собой и Сашей одеяло, он одобрил, сказал, Аленок измаялся, должен отдохнуть. Аля не ответила, притворилась, что спит, может, на самом деле спала, да, действительно, спала, потому что вдруг, как бывает только во сне, Алю подбросило, оборвалось сердце, Аля закричала, сорвала с себя одеяло и прижалась к Саше:

— Саша, я люблю тебя! Одного тебя! Саша, я люблю тебя!

Саша, как лежал лицом к стене, так продолжал лежать, завел правую руку назад, погладил Алю, она прижалась еще крепче, затряслась вся, стала дергать Сашу, чтоб повернулся к ней лицом. Саша рассердился, сказал, давай спи, а то весь день разбит, Аля оставила Сашу в покое, утихла. Было впечатление, что опять уснула, Саша осторожно, чтоб не потревожить, повернулся на спину, глаза у Али были широко раскрыты, смотрели в потолок, Саша воскликнул: "Ты не спишь!" — Аля повернулась к нему лицом и чистым, звонким, как будто давно уже день, голосом произнесла:

— Саша, я была с Эдиком.

Саша обнял Алю, тихонько захрапел, Аля повторила:

— Саша, я была с Эдиком. Я отдалась. Сама.

Саша перестал храпеть, слышно было, как цокают электрические часы — цок! цок! цок! — вдруг постучали в дверь, Саша не успел ответить, дверь отворилась, на пороге стоял папа:

— Дед умер. Андрей Кузьмич.

На поминках Саша выпил много водки, но голова оставалась ясная, говорил с Алей все время о Фрейде, о фрейдовских механизмах переноса, замещения, отождествления. Эти механизмы не подвластны сознанию и воле

человека, ключ к этим механизмам — в подкорке, в подсознании.

Саша привел пример: жена обижена на мужа, хочет наказать его. Неведомо для себя она перевоплощается в своего мужа, идет к мужчине, отдается ему, и тот в половом акте, по сути своей, гомосексуальном, унижает, карает обидчика, ее мужа.

Современная этика слишком однозначна, прямолинейна, она не способна справиться с трюками нашего подсознания. В результате: вместо расследования — осуждение, вместо суда — самосуд.

Аля сказала:

— Саша, хватит пить — ты совсем пьяный.

Нет, возразил Саша, он нисколько не пьян, напротив, такой ясности в мыслях давно не было. Аля предложила, давай пройдемся, Саша согласился, давай.

Маршрута не выбирали, шли просто так, иногда Аля предлагала, повернем направо, повернем налево, поворачивали направо, налево, продолжали разговор о подкорковых механизмах. Саша засмеялся: подкорка — вот он где, ящик Пандоры! Остановились на углу Петра Великого и Пастера, Аля вздрогнула, Саша, продолжая еще смеяться своей шутке насчет ящика Пандоры, внезапно развернулся, ахнул Алю кулаком по уху, Аля упала, Саша подскочил, схватил ее под мышки, стал целовать руки, лицо, глаза. Аля тоже стала целовать Сашу — руки, лицо, глаза — и так, целуясь, прошли целый квартал.

Потом Саша извинялся, называл себя всякими гадкими словами и объяснял Але, что это все проклятая подкорка, которая превращает человека в подонка, в свинью.

Аля зажимала Саше рот: замолчи!

Ночью, уже совсем трезвый, Саша сказал про Эдика, что тот последний мерзавец, такие не останавливаются ни перед чем.

Светало, то ли во сне, то ли наяву, Але почудилось, кто-то плачет. Аля открыла глаза: Саша стоял у окна, держась обеими руками за раму, плечи тряслись, Саша положил голову на вытянутые руки, у Али сжалось сердце, она встала, подошла к Саше, обняла:

— Саша, мы оба виноваты: дед, Андрей Кузьмич, умер из-за нас.

Да, мотнул головой Саша, из-за нас: дед был крепкий, мог бы жить и жить.

— Саша, — Аля стояла голая, прижалась сзади всем телом, как будто мостится, — ты не волнуйся за последствия: я сбросила Эдика. Он упал, на пол, гадость его вся попала на пол. В меня ни капельки не попало...

Саша закрыл лицо руками: дед стоит перед ним, как живой, грозит кулаком, хохочет — накось, выкуси, сукин сын!

... На следующий день Вера Андреевна сказала сыну:

— Оформляй документы на всех. Все поедем.

Соломона Моисеевича исключили из партии, сняли с должности заведующего отделением и перевели дежурным врачом в приемный покой.

Через месяц ОВИР Одесского областного управления МВД сообщил, что Зонтагу, Соломону Моисеевичу, бывшему начальнику медицинской части номерного завода, в выездной визе, как имевшему спецдопуск к военным объектам, отказано.

Аля сказала Саше, можно было предвидеть заранее, она тысячу раз предупреждала: не надо ждать, не надо связываться со стариками.

Соломон Моисеевич утешал Алю: не будем отчаиваться, если надо, он сторожем может работать, грузчиком — во, Соломон Моисеевич сжал руку в локте, показал свои бицепсы — а дети, Аля и Саша, пусть подают на визу отдельно.

Аля прямо вся кипела, вспомнилось любимое выражение Эдика — на чужой ж... все операции легко переносятся! — хотела привести, но посмотрела на этих Зонтагов, на отца, на сына, Вера Андреевна ушла к себе в комнату пустить слезу, и передумала, вместо этого сказала:

— Это легче всего — сторожем, грузчиком. А мы, давайте, с плакатами, давайте, на демонстрацию, как евреи в Москве!

Саша сразу загорелся: давайте! Соломон Моисеевич похлопал Алю по плечу: хорошо придумала, девочка, но Москва — это Москва, корреспонденты, дипкорпус, а в Одессе в два счета схватят за женю и в кутузку.

— И вообще, — быстро проговорила Аля, — на чужой жопе все операции легко переносятся.

Саша сделал большие глаза.

— Да, — повторила Аля, в этот раз без спешки, — на чужой жопе все операции легко переносятся.

Соломон Моисеевич засмеялся, сказал, очень меткое наблюдение, сам повторил, Аля вдруг покраснела, подошла к тестю, наклонила голову и попросила извинения:

— Папа, извините.

Вера Андреевна, когда узнала, что Саша с Алей получили визу, заплакала, обняла Алю, сказала, вот вам деньги, тысяча восемьсот рублей, по девятьсот рублей за визу, положила на стол два конверта, а под занавес — опять в слезы:

— Я не выдержу, я умру без него. Аля, берегите Сашу, умоляю вас: берегите Сашу!

Аля составила список, с кем прощаться. Папа и мама не в счет, к Лине не заходила с того времени, с Крыма, и заходить не будет, с Эдиком попрощались. Интересно: придет на вокзал или не придет?

Уже легли с Сашей спать, позвонила мама: Лина отравилась. У Али все оборвалось внутри: ее, Алина, вина — не понимала, не видела, как плохо Лине!

— Саша, — голос у Али был спокойный, холодный, как минувшей ночью, в больнице, — я убийца: я убила Лину. Я оставила ее одну, я нужна была ей, она ждала, она звала, я слышала — и не пришла. Саша, я убийца.

Аля оделась, Саша тоже оделся, сказал, пойдем вместе, он не отпустит Алю одну, нет, ответила Аля, не пойдем вместе, она хочет побыть одна.

— Аля, — Саша взял за руку, — Аленок...

Аля выдернула руку: нет!

Полдня Аля слонялась по городу: заходила в магазины, толклась в рядах Нового базара, на Привозе, спускалась на эскалаторе от Дюка, памятника Ришелье, в порт, обратно, на бульвар, взбегала, чуть не выскакивало сердце, по Потемкинской лестнице.

Вечером пошла к Эдику. Эдик спросил: зачем пришла? Аля сказала: прощаться пришла, получили визу. Эдик нахмурился: пугаешь? Нет, — покачала головой Аля, — через пять дней — ту-ту, навсегда.

Эдик лег на диван, голову накрыл подушкой, руки выпрямил, вдоль туловища, подушка подрагивала, как будто снизу подрагивал вибратор, Аля подошла, сняла подушку, Эдик с силой вырвал, опять накрылся, прижал руками, Аля осторожно развела руки, сняла подушку, пригладила у Эдика волосы, поцеловала в лоб, Эдик вдруг заплакал, закрыл лицо ладонями и забормотал:

— Не уезжай! Алька, не уезжай! Не уезжай, Алька!

Аля попросила, пусть подвинется, прилегла рядом, сказала про Лину, умерла Лина, Эдик затрясся весь и стал выкликать взахлеб, как юродивый:

— Не уезжай: это смерть! Не уезжай — и ты умрешь! Я люблю тебя, не уезжай!

Аля обняла Эдика, он утих, оба лежали молча, Аля смотрела в потолок, Эдик привстал, заглянул Але в лицо, она чуть свела глаза, чтоб лучше видеть его, Эдик наклонился, лицо сделалось жесткое, напряженное, Аля спросила, чего хочет, Эдик не ответил, Аля пожала плечами и сказала:

— Делай, что хочешь.

Когда Эдик входил в нее, у Али было ощущение, что вводят неживой предмет, предмет распирает стенки влагалища, распирает кости таза, хотелось немедленно вытолкнуть предмет, Аля сдержала себя, сказала Эдику, пожалуйста, давай побыстрее, Эдик ответил, быстрее нельзя, у Али внутри все сухо, Аля стояла на своем, все равно, пусть делает быстрее, Эдик сказал, он боится причинить боль, ничего, ответила Аля, пусть будет больно, только быстрее, Эдик, как только Аля произнесла эти слова, про боль, вдруг задергался, завыл и сник.

— Все, — сказала Аля, — попрощались.

Аля поцеловала Эдика, Эдик хотел обнять, просил побыть еще пять минут, еще минуту, Аля оттолкнула и решительно сказала: нет.

На углу Петра Великого и Пастера, у автомата, Аля остановилась, чтобы позвонить Саше: пусть не волнуется, она идет домой. Телефон не отвечал. Аля набрала номер еще раз: телефон не отвечал. Монетка выпала из рук, Аля наклонилась, чтобы подобрать. Пока стояла так, наклонясь, из-за дерева метнулся человек, Але показалось, Саша, но тут же сама себе объяснила: нет, не Саша, не может быть, Саша не стал бы прятаться за деревом.

Домой пришли почти одновременно, едва Аля успела отворить дверь, вслед за ней заявился Саша.

— Где ты была? — спросил Саша. — Я думал, сойду с ума. Где ты была?

Аля сказала, она бродила целый день по городу, не могла найти себе места, проходила мимо дома Эдика, хотела попрощаться, чтоб не замучила совесть, и объяснила Саше, что Эдик очень несчастный, если не пожалеть

его, он может наложить на себя руки, может погибнуть, как погибла Лина.

Аля ожидала, Саша будет кипятиться, будет возмущаться, но Саша не кипятился, не возмущался, наоборот, сам сказал, да, с Эдиком, какой ни есть, следует попрощаться, потому что в последний раз, последний шанс, больше никогда в жизни не увидятся, но прощаться надо не у Эдика дома, Аля сама знает, чего можно ожидать от него, а надо прощаться где-нибудь в нейтральном месте — на Соборной площади, в Городском саду или просто на улице, где вокруг всегда люди.

— Я придумал, — обрадовался Саша, — пригласи его к Дюку, я постою поблизости, где-нибудь за деревом, и не надо будет опасаться.

Аля была поражена:

— Саша, ты мог бы прятаться за деревом и тайком наблюдать? Саша, ты мог бы выслеживать и шпионить?

Саша обиделся: при чем здесь выслеживать, шпионить, если речь идет о ней, об Але, о ее безопасности! Саша снова повторил: это исключительный случай, когда заранее нельзя предвидеть...

— Чего нельзя предвидеть? — перебила Аля. — Ты, давай, не юли, говори прямо: чего нельзя предвидеть? Все можно предвидеть. Ты прекрасно знаешь: все можно предвидеть. И не прикидывайся мальчиком из дурдома, и не нужен мне никакой Дюк, не нужна мне твоя опека! И плевать тебе было на других людей, плевать, что им тоже нужна забота, им тоже нужна любовь. Саша, ты чудовищный эгоист!

Саша сказал, нет, он не эгоист, он сам отведет Алю к Эдику, он понимает, Эдику тяжело. Аля права, она должна попрощаться с Эдиком. Если Аля хочет, пусть сама идет к Эдику.

Аля смотрела внимательно на Сашу, смотрела, как он размахивает руками, сечет ладонью воздух, и спросила:

— Саша, ты в самом деле хочешь, чтобы я пошла к Эдику?

Саша перестал размахивать руками, остановился перед Алей, взял обеими руками за голову и сказал:

— Аля, ты не хочешь к Эдику. Я знаю, ты не хочешь. Но иди. Ты должна. Я разрешаю тебе: иди.

Аля обняла Сашу, прижалась, стала бормотать: самый родной, самый любимый, самый чистый на земле, другого такого нет, она будет вечно любить Сашу, и никто другой никогда не будет нужен ей! И если Саша не бросит ее, она будет самая счастливая. Она будет такая счастливая, что просто стыдно и совестно перед людьми, потому что такое дано только ей, и никому другому — только ей, и никому другому на свете.

— Ударь меня, — сказала Аля, — сделай больно. Я хочу, чтоб мне было от тебя больно! Пусть мне будет страдание от тебя!

Саша поднял руку, отвел в сторону, Аля отступила, чуть качнулась, как будто хотела уклониться, Саша держал руку на весу, Аля закричала: "Ну, бей же, бей, говорят тебе!" — Саша вдруг схватился за голову и закричал в ответ:

— Не могу, Аленок, не могу!

Глаза у Али были совсем желтые, песчаной желтизны, Саша зажмурился, как жмурятся от нестерпимо яркого света, Аля сказала: "Трус, открой глаза!"

Саша не открыл, наоборот, закрыл глаза руками и стал обзывать себя всякими нехорошими словами:

— Аля, я мерзавец, патологический тип: я хотел ударить тебя, хотел бить тебя! Аля, прогони меня: я — мерзавец!

Аля взяла Сашу за руки, отвела от глаз и сказала:

— Ты не мерзавец, Саша. Ты не мерзавец — ты хуже: ты — трус и ничтожество.

На ночь легли врозь, потом, под утро, Саша перебрался к Але, крепко обнял ее и через каждую секунду делал движение, как будто хочет втереться в Алино тело, втереться без остатка, чтоб его, Саши, не стало.

— Милый, — шептала Аля, — любимый, единственный! Я люблю тебя! Если бы ты знал, как я люблю тебя!

10

В Аэропорту Кеннеди, когда прошли через таможню и получили белый талон на право постоянного жительства в Соединенных Штатах, по статусу политических беженцев, Аля — только что уверяла, что по-настоящему счастлива, никогда еще не была такой счастливой — вдруг заплакала: вот, людей встречают, обнимают, только они с Сашей одни — никто не встречает, не обнимает.

Саша просил Алю успокоиться, прижимал лицом к себе, к груди, рядом остановились парень с девушкой, говорили по-английски, Саша спросил, есть ли поблизости питье-

вые фонтанчики, парень ответил по-русски, без акцента, питьевых фонтанчиков нет, но питьевая вода есть.

Парень принес бутылку сельтерской. Саша воскликнул: "Аля, сельтерская, как на Дерибасовской!"

Аля подняла голову, хотела взять у парня из рук бутылку — и обомлела:

— Сева!

— Аля! — закричал Сева, выронил бутылку и бросился обнимать. — Ну чудо! У Мари-Луиз умер дед, летали в Стокгольм хоронить. В дороге — то ли в Швеции, то ли здесь — затерялся багаж. Три часа искали — вот, нашли. И вдруг ты. Ну чудо!

Саша сказал:

— Я — Саша, Алин муж. Вы — Сева, археолог. Аля рассказывала про вас: Крым, гора Митридат.

Да, схватился за голову Сева, когда это было — мезозойская эра: Крым, Керчь, кость любимого осла царя Митридата!

— Ну ты гвоздь, Алька! Гвоздь! — Сева бросился снова обнимать, Саша смотрел на Алю, на Севу, на Севину девушку, девушка улыбалась, Сева спохватился. — Моя жена, Мари-Луиз Мальштром, шведского роду, некоторым образом лютеранка. По-русски — ни в зуб ногой.

— В зуб ногой! — засмеялась Мари-Луиз. — Как это, Сева: кубени матери, с приездом! Welcome!

Представитель Нью-Йоркской ассоциации новых американцев, по акценту польский еврей, маленький, лысый, с рыжими веснушками по черепу, объявил в мегафон:

— Чартер из Рима! НАЙАНА приготовила для вас комфортабельные автобусы. Автобусы ждут вас снаружи, прямо возле дверей. Начнем посадку. Будем организованные и выполнять команду.

Сева взял у Мари-Луиз визитную карточку, на мгновение задумался, передал Саше.

— Сева, — обратилась Мари-Луиз, — ты можешь предложить Але и Саше: у нас свой дом, рядом океан, если желают, могут снять квартиру. Ответ не обязательно сегодня. Есть время подумать.

Саша, когда услышал про океан, сказал Але: берем. Аля ответила, она согласна, но хотела бы осмотреться, чтобы потом не было досадного чувства.

Алю и Сашу поселили в гостинице "Амбассадор", на углу Сорок девятой и Бродвея. Саша сказал: это не

гостиница, это — гадюшник, надо было сразу ехать к Мари-Луиз.

Аля встала среди ночи, разбудила Сашу:

— Саша, я боюсь. Мне страшно.

Саша повторил: Мари-Луиз с ее домом — это неслыханная удача, другие могут только мечтать.

Да, кивала Аля, другие могут только мечтать, но неужели Саша не чувствует: все так странно.

В окне напротив двое, упершись в подоконник, творили непотребство, место выбрали с умыслом, чтобы другие видели и чтоб сами могли видеть, как другие смотрят. Саша задернул занавес.

Аля повторила: все так странно, во всем какой-то смысл, какой-то тайный знак.

Саша нахмурился: Аленок, ну какой смысл, какой тайный знак? Обыкновенное стечение обстоятельств, теория вероятности.

Аля заломила руки:

— Саша, ты ничего не понимаешь: какое стечение обстоятельств, какая теория вероятности! В Риме десять раз откладывают рейс: случайность. Должны прилететь в Нью-Йорк ночью — прилетаем днем: случайность. У Мари-Луиз в Стокгольме умирает дед: случайность. Люди едут на похороны, возвращаются из Стокгольма, исчезает багаж: случайность. Три часа ищут — как раз к нашему приезду находят: случайность. Наконец, оба, Сева и Мари-Луиз, проходят и останавливаются в то же время и в том же месте, где мы с тобой: случайность!

Саша пожал плечами: а конфликт с отцом, а вояж с Линой в Крым, а гора Митридат, а встреча с Севой, а встреча Севы с Мари-Луиз — все случайность.

— Да, — Аля всхлипнула, закрыла лицо руками, — все началось с папы! Ты прав, все началось с папы: я предала! За мной следят. Я чувствую: за мной следят!

— Бред! — схватился за голову Саша. — Безумие! Ты никого не предавала. Ты шла своей дорогой — и никаких тайных смыслов, никаких тайных знаков не было. Ты сама выбирала — и сама решала. Чего ты страшишься? Не хочешь — не будем селиться у Мари-Луиз, снимем другую комнату, у черта на куличках. Забудь: нету Мари-Луиз, нету никакого Севы. Все твои случайности — тьфу, дуновение ветра!

Через неделю переехали к Мари-Луиз, Манхэттен-бич,

окна из спальни прямо на океан. В первый вечер чемоданы, наполовину разобранные, стояли посреди комнаты, Саша сел в кресло, у окна, и сидел чуть не до полночи. Аля возмущалась, такого бездельника и лодыря надо поискать, но тут же сама садилась Саше на колени, прижималась, целовала и млела от восторга: о чем еще может мечтать человек — лучше не бывает!

Было ощущение, что двое в доме, вокруг ни души. Не только в доме, но и за дверью, за стенами: впереди — океан, по сторонам мерцают корабельные огни, над головой, в небе, тоже мерцают огни, несутся в черном пространстве, минуя, обходя все другие огни, чтоб не столкнуться, не расшибиться друг о друга.

В первый вечер Мари-Луиз и Сева не заходили. Саша сказал: мы на Западе. На другой день хозяева пригласили на ужин. Готовил Сева, Мари-Луиз объясняла: все археологи умеют стряпать. Если Сева надумает пойти кулинаром, у него хорошие шансы на будущее.

Аля удивилась: зачем археологу идти в кулинары? Мари-Луиз улыбнулась: разве кулинар это хуже, чем судомойка? Сева уверяет, что ему больше нравится судомойкой: остается больше времени свободно думать. Но о чем можно думать целый день, с утра до вечера?

Мари-Луиз засмеялась:

— Впрочем, ваш писатель Гончаров дал ответ на этот вопрос: можно думать не только с утра до вечера, можно думать всю жизнь, как его герой Обломов, пока не придет время хоронить. Очень правдивый русский характер.

— Мать, — сказал Сева, — перестань трепать языком: русский характер еще не открылся миру. Твои Ингеры и Хельги пришли на Русь — куда они, кунинги, подевались? В леса забрели — одни кости белеют на пнях, в болотах утопли — торфяники мхом обросли.

Русь, сказал Саша, не национальное имя: Русь — название скандинавской торговой компании в восьмом-девятом веках на берегах французской реки Роны.

— Какая там французская река! — махнул рукой Сева. — Еще и Франции не было: так, империя франков. Грядет Русь! Согбенная Октябрем, Русь ныне только расправляется. Кто постиг смысл Октября? Кто постиг: Октябрь дан был Руси как тетива — чем туже тетива, тем далее стреле лететь.

Мари-Луиз объяснила: Сева сейчас работает над книгой про харизму России и сокровенный смысл Октября, русской революции. Параллельно Сева пишет еще одну книгу: про возможность репродукции фараона по хромосоме из мумии.

— Я думаю, — сказала Мари-Луиз, — Сева гениальный человек, как Шлиман, который раскопал Трою, потому что верил, когда другие не верили.

— Мать, — нахмурил брови Сева, — не сотвори себе кумира! Гляди вперед, не кланяйся, не озирайся, ибо обращена будешь в соляной столп, а дочерям твоим творить блуд с отцом.

Мари-Луиз вынула из сумочки две скрутки — одну сама закурила, другую передала Але, сказала, это для нее и Саши, тоже могут закурить, но, конечно, совсем не обязательно, по желанию.

Аля закурила, затянулась глубоко, потом еще раз и еще, как будто торопилась, боялась, что отберут, Саша в самом деле хотел отобрать, Аля встала из-за стола, пересела на диван, Мари-Луиз засмеялась, сказала Саше, бедный, протянула свою скрутку, может быть, Саша не откажется, но Саша отказался, скрутку взял Сева и махнул рукой:

— Не испить шеломом Днепра Славутича, поплывем!

Саша предложил, пойдем к океану, Мари-Луиз вся съежилась, сделала вид, что дрожит от холода. Сева тоже отказался, Аля сказала, Саша может пойти один, только не очень долго, она будет волноваться.

Саша колебался, идти или не идти, посмотрел на Мари-Луиз, блондинка, голубые, немножко холодные глаза, по выражению лица чем-то напоминает Ингрид Бергман, посмотрел на Севу, на Алю, Мари-Луиз сказала, не надо опасаться, здесь безопасный район, можно гулять, когда захочется.

Саша шел сначала вдоль берега, по песчаной отмели, под ногами трещали ракушки, попадались странные, как будто брошенные миллионы лет назад, панцири, на горизонте, нижней кромкой касаясь океана, поднимался багровый месяц, было впечатление, что гигантское поле битвы, не осталось никаких признаков жизни, только цвет, Саша смотрел как завороженный, не заметил, когда кончилась отмель, начались скалы, чуть не свалился в воду, стал перебираться со скалы на скалу, но скоро пришлось

отказаться, поднялся наверх и, огибая дома, направился к Брайтон-Бич.

В ресторане "Москва" за столиком сидела мужская компания, пили водку, пиво, закусывали таранькой и картофелем, только что с огня, еще поднимался пар, Саша заказал водки, хозяин внимательно посмотрел, сам догадался, одессит, свежий, сел за столик и сделал рукой знак, пусть Саша тоже сядет.

Саша выпил, компания предложила закуску, сами стали подливать, оказалось, почти все одесситы, сначала настроение было неважное, потом все лучше и лучше, не заметил, как летит время, вернулся домой после полуночи.

Аля лежала на диване, глаза широко раскрыты, на губах улыбка, Саша подошел, поцеловал, Аля не реагировала, Саша провел пальцами по губам, Аля забормотала:

— Не испить шеломом Днепра Славутича! Летите голуби, гори мятежная Искоростень, сгинь в огне — за убитого кунинга Ингера, моего супруга. Приди ко мне, — Аля раскрыла руки, — я — Хельга.

Каштановые волосы, тяжелые, вязкие, как бурый глинозем, челка, напуском на лоб, зеленые, с внезапным изумрудным пересветом, глаза — у Саши ухнуло в груди, сперло дыхание, едва продохнул:

— Аля!

— Я — Хельга, — бормотала Аля. — Я — Ольга твоя, кунинг Ингер! Приди, возьми!

Саша набросился, изнутри, как будто невидимый погонщик с бичом, непрестанно подстегивало: быстрее! быстрее! Аля крепко охватила ногами, прижимала к себе, делала плавные, с мгновенным судорожным обрывом, вроде волна ударяется о берег, движения, и беспрестанно окликала: Ингер!

От непрестанного подстегивания — быстрее! быстрее! — от бича, который переместился изнутри наружу и свистел, как шамберьер дрессировщика, над головой, от имени, которым Аля окликала, от всего этого у Саши возникло ощущение, что он — чужой, смотрит на себя со стороны и видит, как можно видеть чужого, стороннего, который непонятно как оказался в доме.

— Не уходи, — Аля не отпускала, еще крепче стиснула ногами, — я твоя! Я — Хельга!

Утром, едва проснулись, Аля спросила:

— Саша, когда ты пришел? Я ждала всю ночь, не сомкнула глаз. Где ты был?

Аля была бледна, веки набрякли, под глазами синие дуги.

— Ты плохо выглядишь, — сказал Саша. — Это интоксикация: тебе нельзя курить.

— Где ты был? — Аля повернула Сашу лицом к себе, внимательно посмотрела. — Пожалуйста, отвечай: где ты был, с кем?

Саша сказал, он был у океана, потом зашел в ресторан "Москва", потом вернулся домой, и у них с Алей был коитус.

— Фу, — воскликнула Аля, — какое противное слово!

Саша спросил: Аля уверена, что не помнит вчерашнего? Аля рассердилась: что значит уверена? Саша уверен, Саша помнит — значит, для него было. А кто не уверен, кто не помнит — для того не было.

Саша смотрел, из глаза, вставного, выкатилась слеза, вытер о подушку, Аля обняла, притянула к себе, прижала:

— Саша, ну что ты выдумываешь! Я люблю тебя, ты родной, единственный. Не выдумывай.

Саша поступил на Каплановские курсы — для подготовки к экзамену на доктора. Аля сказала: на этом этапе семью будет содержать она.

Работа была всякая: сиделкой при стариках, няней при детях, иногда приглашали в магазин одежды, постоять субботу-воскресенье за прилавком.

Мари-Луиз говорила: о, настоящая русская женщина, декабристка. Среди американок тоже есть декабристки, но не так часто. Мари-Луиз пожимала плечами: она лично — нет. И обращалась к Севе:

— Сева, правда, нет?

— Мать, — отвечал Сева, — не профанируй. Каждому свое. Всякий человек другому человеку — в испытание. Аля — в испытание любовью. Ее потенциал — от космического генератора любви. Аля иррадирует любовь, ни ей самой, ни другому не дано пресечь иррадиацию: разбить космический генератор любви — другого способа нет.

Мари-Луиз спрашивала: есть ли способ зарядиться от космического генератора любви? Или нет такого способа, дано изначально, из века?

Сева отвечал: дано из века, но доброе начало, зало-

женное в каждом человеке, продуцирует духовные кванты, несущие в себе заряд любви.

Мари-Луиз взяла Алю за руку, попросила Севу, пусть возьмет Алю за другую руку, она чувствует иррадиацию, но хочет проверить, изменяется ли потенциал, когда в цепь включается дополнительное тело.

Мари-Луиз первая почувствовала изменение. Аля сразу не почувствовала, но затем, когда Мари-Луиз и Сева закурили, ударил запах погребной цвели, почувствовала: в руках, в ногах появилось ощущение трепета, вибрации, как будто дрожит на ветру струна.

Аля тоже закурила. Потенциал изменился, Мари-Луиз прижалась к Але, вскрикнула, ах, что Аля с ней делает, сняла с себя колготки, сказал Але, пусть тоже снимет, потом легли втроем, Мари-Луиз и Сева целовали Алю, поворачивали на живот, на спину, брали, каждый со своей стороны, за руки, за лодыжки, целовали между ног, потом Сева был с Мари-Луиз, Аля водила губами, ладонями у Севы по спине, потом Сева был с Алей, Мари-Луиз прижималась к Але сзади, делала плавные движения, как будто мужчина, и вскрикивала, когда вскрикивали Аля с Севой.

На другой день у Али было нехорошее настроение, но потом исправилось, еврей, у которого Аля была сиделкой, называл Алю хаис, душа, и клялся своим здоровьем: если бы Аля встретилась ему на пятьдесят лет раньше, он служил бы за нее семь лет и еще раз семь, как Иаков за свою Рахиль.

— Аля, — говорила Мари-Луиз, — от вас исходят флюиды.

— Мать, — поправлял Сева, — флюиды — устаревшее понятие, подобно флогистону, в котором химия XVIII века усматривала частицы огня. Аля — астральный тип. Подобно тому, как солнце ежесекундно теряет четыре миллиона тонн своей массы, снабжая теплом и светом планеты и пришельцев из Вселенной — кометы, астероиды — Аля иррадирует кванты любви, снабжая теплом и светом таких, как Мари-Луиз и Сева и иже с ними. Интенсификация контакта должна сопровождаться у Али потерей веса. Вряд ли весы могут зарегистрировать эту потерю, но Аля сама, несомненно, чувствует ее. Скажи, Аля, — обратился Сева, — бывает ли у тебя чувство физической

опустошенности, облегченности — не облегчения, а облегченности?

Аля сказала: да, у нее бывает чувство облегченности, не облегчения, а именно облегченности, как будто она мяч или шар, из которого выпустили воздух. Бывают дни, она чувствует себя просто больной и потерянной.

— Потерянной! — воскликнул Сева. — Именно так: потерянной. Восполнение затраченной энергии из космического генератора любви происходит с некоторым запозданием, либо по причине удаленности генератора, либо по иной причине, о которой сегодня можно строить лишь гипотезы.

На другой день были опять втроем: Аля, Мари-Луиз и Сева. Потом складывалось по-разному: то втроем, то вдвоем, Аля с Севой. Выкуривали скрутку, иногда две-три, передавали один-другому, Сева объяснял, что человечество проходит на новом витке халдейско-египетский цикл, материальный мир покрывает собою духовный, мы под гигантским колпаком, все, кто способен чувствовать, чувствуют: не хватает духовного кислорода, емкость наших легких недостаточна. Чтобы развить ее, необходимы высокие физические нагрузки. Наибольшая нагрузка пришлась на Русь, большевики нагрузили до предела. Где, в каком еще краю духовность такая, как на Руси!

Каким бы именем ни наречь, — говорил Сева, — эмиграция, высылка, насильственное лишение гражданства — на Западе мы изгнанники, пришельцы в чужой земле. Аля — в головном ряду среди пришельцев. Удары физического мира — все по ней, через нее — процесс космической сублимации: зла — в добро, ненависти — в любовь.

Аля говорила Севе, она не хочет оборачиваться злом и ненавистью, это очень больно: есть ли способ избежать этого? Сева отвечал, нет такого способа, как нет способа удержать луч света в том же направлении на стыке разных материальных сред. Таков закон, закон же предустановлен.

Саша приходил со своих курсов поздно. Аля рассказала про космический генератор любви, Саша ничего не понял, пришлось втолковывать, как школьнику: что такое космический, что такое генератор, что такое любовь. Наконец Саша понял, Аля объяснила, есть люди, которые ирра-

дируют кванты любви, а сами заряжаются от космического генератора.

Саша сказал, на всем белом свете есть только один человек, по имени Аленок, который иррадирует кванты любви, стал обнимать и целовать, Алю внезапно затошнило, сделалась белая, как полотно, чуть не вырвало, Саша стал считать пульс, взял свой фонендоскоп, послушал сердце, пощупал живот и вдруг заговорил голосом одесского биндюжника:

— Мамаша, вы будете смеяться, но мы беременные! У нас будет сын!

Аля заплакала, Саша стал объяснять, в Америке родить и выходить ребенка — это пара пустяков, стирать пеленки не надо, а баюкать он будет сам.

Ночью и утром у Али опять была тошнота, Саша говорил, это нормально, организм перестраивается, чтобы новому человеку было тепло, уютно и полный комфорт.

Аля вдруг взорвалась:

— Перестань ерничать!

Саша не обиделся, наоборот, извинился, и сам стал убеждать, что теперь Аля имеет законное право на каприз.

— Саша, — сказала Аля, — у нас не будет ребенка.

Саша сказал твердо: у нас будет ребенок, отец и мать равны в своем праве решать.

— Саша, — сказала Аля, — я не знаю, от кого ребенок.

Саша смотрел молча, как будто не к нему, как будто не слышит, не видит, нос сделался желтый, свечной, вдоль, у основания, две синие, вроде китайского натюрморта, тени, щеки, опустились, опали, постарел сразу на двадцать лет, у Али сжалось сердце, в то же время было противно, было гадко, была злоба:

— Саша, — повторила Аля, — я не знаю, от кого беременна: от тебя или от Севы.

Саша не пошел на курсы, все утро просидел в кресле, смотрел в одну точку, Аля не беспокоила, обходила молча, иногда, как будто невзначай, перехватывала взгляд, на миг останавливалась, вроде ждала слов, наконец, не выдержала, сама обратилась:

— Саша, надо сделать аборт. Не бойся: все будет хорошо. Саша, я люблю тебя. Очень-очень люблю.

Аля заплакала, стала на колени, Саша сначала не обращал внимания, смотрел в свою точку, потом заплакал, стал на колени, обнял Алю, и так стояли вместе и плакали.

— Саша, — Аля перестала плакать, зажмурила глаза, — а вдруг я все выдумала? Саша, я все выдумала.

— Я знаю, — сказал Саша, — ты все выдумала.

Вечером Саша воротился домой пьяный. Аля раздела, уложила в постель, ласкала, требовала, чтобы Саша взял ее, если не возьмет, она тут же умрет, Саша бормотал в ответ, что тоже умрет, пристраивался с разных сторон, громоздился, но как ни пристраивался, ни громоздился, ничего не получалось.

Аля поцеловала, пригладила волосы, положила ладонь на глаза и сказала:

— Заяц слишком много выпил, отложим до утра.

Утром повторилась та же картина: Аля ласкала, нежила, Саша просил не торопить его, пристраивался с разных сторон, громоздился, но ничего не получалось.

Аля оттолкнула Сашу, уперлась руками в грудь, чтобы держать на расстоянии, и сказала:

— Саша, ты не можешь. Саша, ты доктор, ты должен знать причину, почему не можешь. Почему?

Саша ответил, это шок, нервный стресс, должно пройти.

Минула неделя, вторая, перемен не было, Аля спросила:

— Саша, может быть, тебе нужна другая женщина?

Саша ответил, ему не нужна никакая другая женщина, никто, кроме Али. Все будет хорошо, все наладится, просто сильная нервная встряска и требуется время.

Аля спросила:

— Саша, откуда ты знаешь, что это нервная встряска и просто требуется время? А может, не просто?

Саша объяснил: медицина — экспериментальная наука, у медицины тысячелетний опыт.

Аля пожала плечами: а может, медицина здесь ни при чем, может, это указание, знак?

Саша удивился:

— Знак? От кого, — Саша засмеялся, — от Венеры, от космического генератора любви?

Аля покачала головой:

— Саша, я вижу, ты ничего не понял. Просто так ничего не бывает. Разве у другого обязательно случилось бы, как у тебя? А у тебя случилось. Почему?

Саша не мог ответить, почему у него случилось, а у другого могло бы не случиться. Тут, говорил Саша, биология, физиология, биохимия и еще сорок тысяч бочек.

Аля пожимала плечами: но почему одному такая биология, физиология, биохимия, а другому — другая?

— Саша, — спрашивала Аля, — почему?

С курсами у Саши начались нелады: то ходил нормально, то вдруг, ни с того ни с сего, прогуливал, возвращался домой пьяный и с порога докладывал: "Заяц набрамшись!"

Аля говорила:

— Саша, ты эгоист, ты думаешь только о себе, о своем удовольствии.

Саша улыбался, обнимал Алю, целовал и отвечал, это правда, он эгоист, он думает только о себе, и непонятно, как она может терпеть такого эгоиста. Тем более в этом доме, где все бьются из последних сил.

Один раз Аля не выдержала, ответила, в этом доме не бьются из последних сил, и тут же сама пожалела:

— Саша, тебе не нравится этот дом? Ты хочешь, чтобы мы ушли? Давай уйдем.

Аля открыла шкаф, вынула чемодан и повторила:

— Ты хочешь, чтобы мы ушли? Давай уйдем.

Саша не отвечал, улыбался своей хмельной улыбкой, сделал шаг вперед, пнул чемодан ногой, задвинул в шкаф и закрыл дверцу.

— Аленок, — сказал Саша, — я жуткий эгоист, выгони меня, прогони меня: эгоисты сами не уходят.

Саша перестал улыбаться, вынул из глазницы фарфоровый глаз, положил на ладонь и протянул Але:

— Вот, на долгую и добрую память. Жду ответа, как соловей лета.

Аля протянула руку навстречу, как будто хочет взять, вдруг завела кисть под Сашину руку, ударила снизу, глаз взлетел к потолку, бело-голубой мячик, Аля закричала:

— Эгоист! Фигляр! Убирайся, чтоб глаза мои не видели тебя!

Аля бросилась на диван, лицом в подушку, вся дрожала и тряслась, Саша подошел, сел рядом, погладил, Аля затряслась еще сильнее, сделала движение корпусом, вроде хочет сбросить Сашу с дивана, он, наоборот, уселся глубже, прижался к Алиной спине и забормотал:

— Молчи! Не надо слов. Молчи.

Потом легли — Аля постелила, сама раздела Сашу — обняли друг друга, прижались изо всех сил и прижимались, пока не заснули, как будто опасались, кто-то придет и попытается оторвать, разлучить.

Среди ночи Аля проснулась, немного покурила, взяла Сашину руку, положила у себя между ног и так спали до утра.

Утром Аля сказала:

— Саша, я очень люблю тебя. Почему мы ссоримся? Люди не должны ссориться. Люди должны любить друг друга. Мы больше никогда не будем ссориться.

Не будем, Саша потряс в воздухе руками, чтоб разогнать после сна кровь, улыбнулся — улыбка была веселая, как вчера, когда заявился под хмельком — взял Алю руками за голову, и сказал, какое это счастье — видеть, проснувшись поутру, эту голову рядом с собой на подушке.

— Замолчи, — Аля закрыла лицо ладонями, — еще одно слово — я умру от счастья!

11

Альбина спросила:

— Если человеку кажется, что было, и в то же время, что не было, как различить, было или не было?

— По рецепту сказки, — кивнул Макс, — быль-небыль. Или встать перед зеркалом, смотреть себе в глаза, пока не захочется отвести или сплюнуть.

Альбина пожала плечами: а где гарантия, что захочется?

Макс засмеялся: кто ищет гарантий, тому не захочется.

Альбина расстегнула у Макса куртку, рубаху, прижалась грудью:

— Аля все выдумала. Ничего не было. Целуй меня. Будем целоваться в каждой подворотне.

Макс пожал плечами: какие подворотни — это Нью-Йорк. Нью-Йорк — не Москва, не Одесса: какие подворотни!

— Хочу в Одессу! — Альбина зажмурила глаза. — Хочу целоваться в подворотне.

Макс обнял Альбину, прижал к ограде — проволочная сетка, за сеткой ряды машин, брошенных хозяевами, непонятно, то ли на ночь, то ли навсегда — Альбина сказала:

— Закрой глаза. Нас двое. Делай, что хочешь. Нас двое.

По Восьмой авеню шли в Нижний Манхэттен, в Гринич-

Виллидж. Справа, когда пересекали широкую улицу, открывались огни Нью-Джерси: пологий берег Гудзона, с террасами в несколько ярусов, обозначенных в ночи желтыми, зелеными, красными полосами и кругами, среди которых, вкраплениями, разбросаны белые огни.

Альбина остановилась, спиной прижалась к Максу, повела рукой в сторону Нью-Джерси:

— Чужой берег, неведомая страна, неведомые люди... В басурманском дальнем синем море бригантина поднимает паруса...

Подошел бродяга, еще до того, как подошел, протянул руку, объяснил, дома больная жена, дети, нечего есть, он мог бы выйти с ножом, зарезать, но резать, убивать — противно его натуре, он порядочный человек и хочет жить честно, как живут все порядочные люди.

— Один доллар! — бродяга раскрыл ладонь, белые пальцы дрожали и дергались.

Макс положил на ладонь четвертак, бродяга стал сжимать пальцы, но пальцы не сжимались:

— Один доллар! — повторил бродяга.

Макс махнул рукой, пусть уходит, бродяга не уходил, повторил насчет больной жены, детей, нечего есть, умирают с голоду, мог бы взять нож и пойти резать, но чувство порядочности не позволяет. Бродяга повернул ладонь, сбросил монету наземь и сказал:

— Один доллар!

Макс внимательно смотрел, глаза были холодные, бродяга стоял неподвижно, как будто прирос ногами к земле, Альбина засмеялась:

— Вы уверены, что мы должны вам доллар?

— Один доллар! — сказал бродяга.

Макс взял Альбину за руку, потянул с силой, Альбина уперлась, вырвала руку — надо дать человеку еще семьдесят пять центов! — вынула из сумочки, положила бродяге на ладонь три квотера, он снова, как заведенный, повторил свое:

— Один доллар!

Носком туфли Макс указал на монету, которую бродяга сбросил наземь, тот, глядя Максу в глаза, велел поднять и подать. Альбина наклонилась, Макс едва успел одернуть, выругался матерными словами, бродяга неуловимо быстрым движением, сунул руку в карман, тут же выхватил, направил на Макса, блеснуло на свету лезвие,

Макс обеими руками, связав пальцы в один кулак, ударил бродягу поперек кости, ниже локтя, с тротуара на мостовую покатился звонкий дробный звук, бродяга прижал руку к губам, завыл, Макс заслонил Альбину, завел кулак для нового удара, Альбина из-за спины закричала:

— Макс, ложка! Столовая ложка!

На мостовой валялась ложка, лоток блестел под фонарем, как детская формочка для песка, бродяга плакал, вздрагивали плечи, Макс сказал Альбине, пошли, она оттолкнула Макса, вынула из сумочки пять долларов, протянула бродяге:

— Возьмите.

Бродяга поднял голову, глаза были печальные, с устоявшимся страданием, как будто гнетет привычная, давняя боль, и произнес прежним, вроде ничего не произошло, механическим голосом:

— Один доллар!

— Макс, — Альбина зажмурила глаза, голос сделался сиплый, — он безумный! Он — блажной!

Макс приказал Альбине, пусть прекратит юродствовать: это — Нью-Йорк, Нью-Йорк есть Нью-Йорк.

— Макс, — сказала Альбина, — мы не люди. Ненависть ослепила нас: мы — звери.

Бродяга стоял с протянутой рукой, пальцы дрожали и дергались, Альбина подняла монету, положила на ладонь, бродяга сжал пальцы, движение было быстрое, резкое, как будто рука робота, повернулся, вроде насажен на ось, на одной ноге и зашагал прочь.

Альбина смотрела вслед, руки свисали немощно, как плети, было впечатление, что лишилась сил, не может двинуться с места.

—- Слушай, — сказал Макс, — мы не в театре. Это — Нью-Йорк, Восьмая авеню, полночь.

— Грех, — бормотала Альбина, — на тебе, на мне — грех: ты ударил, я — соучастница. Он безумен. Макс, ты ударил безумного. Ты бил сумасшедшего.

Макс сказал, он не бил, он один раз ударил, не безумного, не сумасшедшего, а нью-йоркского бама, профессионального вымогателя, который вполне мог обернуться бандитом.

— Он безумен — я видела, — продолжала свое Альбина, — видела — и не остановила. Мы не люди, мы — звери, ненависть ослепила нас!

На Бликкер-стрит, у витрины антикварного магазина, Альбина внезапно остановилась. Витрина, вроде подворья керамической мастерской, где глиняные истуканы по мере изготовления выставляются один к другому, так что стороннему глазу представляются случайным нагромождением, хаосом, была заполнена химерами. С козлиными ногами, с копытцами, с островерхими коническими ушами, с перепончатыми крыльями, с глумливой усмешкой, едва намеченной приподнятыми уголками похабного рта, извергающего хулу, не грубую, площадную, а под покровом соблазнительных слов, чтоб на виду хулы не было, а был один, как в сновидениях, чистый соблазн, и ко всему — скорбная, согбенная поза, как будто время невидимыми пластами ложится и давит, еще мгновение — раздавит.

Альбина тыкала пальцем в стекло, метила короткими щелчками: вот, ее совесть, совесть Макса, совесть нью-йоркского бродяги, который, как улитка, забирается, ввинчивается спиралью, в свою раковину — в безумие.

— Химеры! — Альбина топнула, повернулась, вроде насажена на ось, на одной ноге. — Корчи совести! Вранье! Бред! Целуй меня! — Альбина схватила Макса за голову, стала целовать сама. — Хочу танцевать. Идем: хочу танцевать!

По каменным ступеням спустились в подвал, ресторан "Масличное дерево", который держали израильтяне. За столиками сидели по четыре, по шесть, по восемь, впритык один к другому.

Альбина заказала фалафел, велела положить побольше луку, поперек не резать, кольцами, хрустела и чавкала так, что люди оглядывались, за соседним столиком ребята улыбались, подмигивали и громко объясняли, что в последний раз так ели три тысячи лет назад, когда были пастухами, когда умели еще есть, знали толк в простой, натуральной еде.

Макс подал Альбине бумажную салфетку, она тут же скомкала, бросила на стол, вытерла губы ладонями, крякнула, забросила в рот кольцо лука, запила глотком вина, сказала Максу, ничего вкуснее в своей жизни не ела, отодвинула, в один толчок, задом, стул, и вышла на середину зала, на деревянный настил перед оркестром, где парни со своими девчонками изгибались, корчились, водя друг перед другом бедрами.

Альбина была в сапогах, высокий тонкий каблук-шпилька, прямая юбка, прямая блузка, все в одну линию, все черное, завела руку над головой, щелкнула пальцами, как будто подает оркестру команду.

Танцоры на площадке расступились, выделывая свои па по краю деревянного настила, за которым начинались ряды столов. Здесь проходила граница. Граница, как все в мире границы, была неприкосновенна, за пределами границы располагались зрители и наблюдатели, у которых был свой интерес, враждебный интересу танцоров, ибо те, приблизясь, вплотную к границе, норовили ступить на чужую землю.

Альбина держалась в центре, мелкими шажками, пунктиром, намечая круги, переходившие, по спирали, один в другой; спираль раскручивалась, унося Альбину все дальше от центра, все ближе к краю, где начиналась граница, чужая земля. Приспустив веки, она скашивала взгляд влево, вправо, никто не противился, напротив, в глазах у людей было ожидание, был призыв войти в их землю, расположиться на ней и быть, как они, хозяева этой земли, у себя дома.

Кружась на меже, отделявшей свою землю от не своей, Альбина выносила корпус в чужое пространство. Высоко подняв правую ногу, она выпрямляла ее над чужой землей, мужчины, чтоб в тот миг, когда женщина ступит на их землю, встать с ней рядом, рванулись вперед, грудью, как будто кони в одной упряжке, над которыми закрутил свой бич колесничий, но Альбина, закружась на месте, направила поднятую ногу к тем, что махали ей и звали, и сама делала им знак рукой, иду, и шептала губами, иду, но на самом деле двигалась уже назад, к центру, и тут, в изнеможении, опустилась на землю, накрыв голову руками.

Домой воротились на рассвете. Звезды теряли яркость, меркли, невидимая в вышине рука поворачивала реостат, наполняя небо ровным молочным светом.

Макс говорил Альбине:

— Где ты?

Альбина отвечала:

— Вот я.

— Обернись ко мне, — говорил Макс.

Он обнимал Альбину, радостно, как после долгого забега, еще не вполне отдышавшись, бормотал в ухо:

— Ты жива? Жива!

— Сойди, — сказала Альбина, — ты тяжелый, как три Макса.

— Небесная механика, — смеялся Макс, — произведение массы на скорость. Панглосс дает уроки служанке.

— Я не служанка, — Альбина погрозила пальцем. — Я послушница. Скажи: наставник любит послушницу? Скажи, как любит.

Макс покачал головой: сказать нельзя.

— Почему нельзя? — нахмурилась Альбина. — Любовь прохудилась али словарь оскудел?

— Любовь, — сказал Макс, — сторонится богатого словаря, любовь косноязычна.

— Мой наставник — демагог, — Альбина повернула голову, внимательно посмотрела в глаза. — Хочу слышать слова любви. Любовь делает косноязычие красноречивым. Говори.

Макс молчал.

— Говори, — повторила Альбина.

— Будем слушать тишину, — Макс закрыл глаза.

12

Сашу приняли в резидентуру. Аля объясняла Саше: это огромная удача, надо плясать и радоваться. Да, отвечал Саша, огромная удача, плясать и радоваться.

Первое дежурство было у Саши полуторасуточное: две ночи и день. Обещал позвонить из госпиталя, пожелать спокойной ночи, но не позвонил.

Аля до полночи ждала у телефона. Так, у телефона, и заснула. Всю ночь напролет, как будто крутили одну ленту, повторялся сон про какую-то девочку: едва оттолкнувшись от земли, девочка перелетала через водоемы — через пруды, через озера — с одного берега на другой, нигде не могла остановиться, сначала было приятно, все время в полете, потом, понемногу, стала забирать тревога, а вдруг так навсегда, на всю жизнь, навечно, без остановки.

Саша позвонил утром, голос был бодрый, ночь, сообщил Саша, выдалась трудная, но это была ночь доктора — первая ночь доктора Александра Зонтага в Америке.

Аля ждала, Саша спросит, как прошла у нее ночь, но Саша не спрашивал. Аля сама рассказала про свой сон, про девочку с синим, как будто вырезали из куска неба, лицом, про полет, который никак нельзя было прекратить,

Саша засмеялся, сон на актуальную тему, женщина в космосе, в трубке вдруг громко, торопливо запищало, Саша объяснил, это биппер, срочно зовут к больному, сказал, вечером позвонит опять, пусть Аля ждет. Аля хотела сказать еще два слова, хотела спросить у Саши, любит ли ее, но не успела: Саша повесил трубку.

Полдня Аля провела у старика еврея, перемыла посуду, приготовила обед, подмела. Старик рассказывал про свою старуху, которая за всю жизнь палец о палец не ударила и все равно была недовольна. Аля сказала, может, потому и была недовольна, что палец о палец не ударила.

Старик развел руками: кто знает, может быть. И спросил: а она, Аля, довольна? Аля задумалась.

Довольна, старик кивнул головой, довольна: по глазам видно. Когда женщина довольна, это сразу видно.

Саша сдержал слово, позвонил вечером, сразу предупредил, что ни единой свободной минуты, труба зовет, Аля просила задержаться на полминуты, хотела рассказать про своего старика, Саша буркнул, потом-потом, чмокнул в микрофон и повесил трубку.

Аля смотрела на телефон, ждала, вот-вот зазвонит опять, сама себе объяснила, это нелепо, Саша вторые сутки на ногах, ни сил, ни времени, а она навязывается со всякими глупостями.

Аля взяла трубку, хотела позвонить Севе, вспомнила Крым, ночь на горе, кость любимого осла царя Митридата — немножко отлегло. Но за этим пошли другие мысли, другие картины, было неприятное чувство, не хотелось думать, Аля сказала себе, нет, к Севе, Мари-Луиз она не пойдет, вообще к ним больше ходить не будет.

Садилось солнце. Аля стояла у окна, смотрела на океан, на миг показалось, она совсем одна, среди океана, никого вокруг, брошенная, ненужная, стало страшно, сжалось, защемило сердце, как будто схватили ледяными щипцами, Аля заплакала, обняла себя — руки на груди, крест-накрест, ладони на плечах — сделалось совсем горько, приткнулась лбом к стеклу, захотелось вышибить, выпрыгнуть, утонуть в океане, все останется, как было, только ее, Али, не будет и ее одиночества, ее боли не будет.

Выплакавшись, Аля немного успокоилась, стала объяс-

нять себе, уговаривать, громко, как будто не себя, как будто другого, стороннего, что не следует предаваться отчаянию, все будет хорошо, Саша ее любит, но сейчас, пока не освоится на новом месте, ему не до нее, а она, наоборот, должна, особенно в эти дни, показать Саше, что любит его еще больше, еще сильнее.

Аля решила, надо купить к Сашиному приходу цветы. Цветов должно быть много, чтобы Саша удивился, чтобы понял, как Аля ждала его и специально готовилась.

На Брайтон-Бич цветочного магазина не было, иногда продавали цветы с лотка, с земли, но выбор скудный. Аля решила поехать в Манхэттен, Гринич-Виллидж, там всегда большой выбор.

Можно было ехать в джинсах и куртке, как была одета весь день, но Аля подумала, поездка за цветами — это уже начало праздника, нельзя в джинсах и куртке, надо одеться, как на праздник.

Аля надела черную шелковую юбку, подол до щиколоток, белую блузку с кружевным воротником и кружевными рукавами, поверх тонкая золотая цепочка с парусом на щитке слоновой кости, насчет обуви не могла решить сразу — то ли сапоги на высоком каблуке, то ли туфли — выбрала туфли, тоже на высоком каблуке, с перепонкой. Осмотрела себя в зеркале, подняла ногу, согнула в колене, поболтала перед зеркалом, выпрямила, как будто подает и ждет, чтобы сняли туфлю с ноги, засмеялась, сказала вслух, Сашин голос и Сашины слова:

— Хороша Аленушка!

В поезде смотрели на Алю, делали вид, что случайно, но было видно, не случайно, получают удовольствие и не могут устоять, всю дорогу, до Четвертой Вест, поворачивали голову в Алину сторону и невольно улыбались.

В сквере Вашингтона, напротив университетской библиотеки, Аля купила травки, закурила. У памятника Гарибальди старик продавал цветы — гвоздику, ромашку, георгины — осталось одно ведро, рядом, горкой, стояли порожние, Аля сказала, берет ведро, старик обрадовался, отдал за полцены, Аля взяла букет в охапку, пошла на Бликкер-стрит, в кафе "Фигаро", выпить кофе.

На перекрестке, когда пересекала улицу, цветы рассыпались. Аля стала собирать, мужчина — тоже пересекал улицу, рядом с Алей — бросился помогать, сказал, нужен пакет, он сходит в магазин, попросит, Аля не успела

ответить ни да, ни нет, он тут же воротился с пакетом, сам аккуратно уложил цветы и подал Але.

Сели за один столик. Мужчина представился: Фрэнк О'Брайен. Высокий, блондин, серые глаза, нос немного крючком.

Мистер О'Брайен сказал: прекрасный букет. Цветоводство — его хобби, любимый цветок — черный тюльпан. Аля удивилась: черный тюльпан? Она не видела, она только читала, что в Голландии выращивают черные тюльпаны. О, воскликнул О'Брайен, не надо ехать в Голландию: у него в оранжерее Аля может не только увидеть — она может добавить, сколько надо, к своему букету.

Аля сказала, спасибо, не сегодня, как-нибудь в другой раз. О'Брайен кивнул: в другой раз. А сейчас — по одному глотку за цветы. О'Брайен заказал для Али амаретто, для себя — бурбон.

По акценту, сказал мистер О'Брайен, он угадывает: Аля из России.

— Да, — подтвердила Аля, — из России, мистер О'Брайен.

— Я — Фрэнк, — сказал О'Брайен.

Аля допила свой амаретто, позвала официанта, заказала еще. Фрэнк покачал головой: это не похоже на русских, это, скорее, по-немецки — гамбургский счет. Наверное, Алины предки из Германии?

— Фрэнк, — сказала Аля, — я еврейка.

Фрэнк пожал плечами: евреи жили в Германии, когда еще не было немцев. Юлий Цезарь застал евреев в Кельне. Не было христиан, не было церквей, но были евреи, была синагога. Фрэнк сказал: он лично думает, евреи — космические пришельцы. Моисей — очень странная, загадочная фигура. На горе Синай Моисей видел в спину удаляющегося, как может удаляться живое существо, бога. И разговаривал с этим богом. Но почему именно он, Моисей, был удостоен разговора? Не потому ли, что сам приходился родичем этому пришельцу из сфер, в ком признал бога?

Фрэнк сказал:

— Глупый вопрос, но я задам: Аля, нет ли у вас чувства, что вы были очевидцем печального происшествия с несчастными юношами, племянниками Моисея?

Аля наклонилась над столом, смотрела Фрэнку в глаза:

— Фрэнк, разве я говорю с чужих слов?

— Аля, — спросил Фрэнк, — сколько вам лет? Сколько тысяч лет? Вы отчетливо помните другие свои жизни, как Фауст помнил юность в стране туманов?

Аля задумалась и сказала, она хорошо помнит Египет, глинистый берег Нила, проплывает лист лотоса, на лотосе корзина, в корзине младенец, на берегу, за кустом, спряталась девочка и наблюдает.

— Фрэнк, — сказала Аля, — я вижу вас: вы держите в руках копье, мимо проплывает кит, он скосил глаз, он знает, вы хотите поразить его копьем... ах! — Аля вскрикнула, закрыла лицо ладонью, — кит развернулся, идет на таран... Фрэнк!

Аля схватила его за руку, пальцы судорожно сжимались, Фрэнк засмеялся:

— Кит промахнулся: я жив!

— Фрэнк, — сказала Аля, — вы убийца, вы убивали китов. Они смотрели на вас человечьими глазами, они заклинали вас, не убей, они щадили вас, а вы убивали их. Фрэнк, я не хочу сидеть здесь, мне здесь не нравится, я хочу уйти. Я ухожу.

Аля встала, вышла, Фрэнк поискал глазами официанта, не нашел, оставил на столе деньги, двинулся следом за Алей, сказал, у него здесь рядом машина, он отвезет Алю домой.

Аля удивилась:

— Домой? У меня нет дома, — сказала Аля. — А у вас, Фрэнк, есть дом?

Фрэнк ответил, да, у него есть дом, в Ларчмонте.

Аля усмехнулась:

— Фрэнк, у вас есть строение: деревянное, каменное или кирпичное. А дом, я спрашиваю, дом у вас есть?

Фрэнк сказал, у него есть строение, частью кирпич, частью камень, внутри много дерева: дуб, орех, сосна. В строении живет он, его сын, его дочь. Это дом?

— Фрэнк, где ваша жена? Молчите, — остановила Аля, — я сама скажу: жена бросила вас. Ушла к другому. Перед уходом она оставила записку: "Ухожу к другому. Ему — нужнее".

Фрэнк засмеялся: триста лет назад Але не миновать бы костра — за ведовство сжигали.

На Пятой авеню служитель вывел машину из гаража, Фрэнк открыл дверцу, встал рядом, придерживая за ручку:

— Карету подано! Не угодно ли...

— Ваше величество! — топнула ногой Аля.

— Ваше величество! — склонил голову Фрэнк.

Когда проезжали через Тридцать вторую, в скверике на стыке Бродвея и Шестой авеню, Аля прикупила травки и объяснила Фрэнку, здесь не жульничают, а в других местах жульничают, подсыпают толченые стебли и всякую гадость. Люди лгут, сказала Аля. Зачем люди лгут, зачем ложь: разве нельзя жить по правде?

Фрэнк спросил: что значит жить по правде?

— Жить по правде, — сказала Аля, — значит любить. Ложь — потому что в мире злоба, люди лгут, потому что разучились любить.

В Ларчмонте, когда проезжали у берега, Аля сказала Фрэнку, пусть остановит машину, она хочет искупаться. Берег был скалистый, в темноте казалось, камни наворочены один на другой случайно, беспорядочно, видимо, был когда-то хозяин, но давно бросил и ушел.

Фрэнк объяснил, здесь не пляж, купаться воспрещено, под водой скалы.

Аля сказала Фрэнку, пусть отвернется, сбросила юбку, блузку, трусики и побежала к воде. Фрэнк закурил, видно было, что нервничает, еще раз предупредил насчет скал под водой, ни в коем случае не прыгать, ступать очень осторожно, крепко держась руками за выступы.

В лунном свете Алина голова была на воде, как черный шар, который подталкивает скрытая под водой рука.

Фрэнк сложил руки рупором, закричал, водя головой из стороны в сторону: "А-ля!", ответа не было, мигом сбросил с себя одежду и прыгнул в воду.

Он нырял, ходил кругами, увеличивая всякий раз, при новом заходе, радиус, Али не было. Фрэнк поплыл вперед, сделал еще несколько кругов, отталкиваясь, ударился ногой о твердое, упругое, будто голова человека, круто развернулся, ударился опять, в этот раз рукой, оказалось, медуза, размером с голыш, непонятно, откуда могло возникнуть ощущение большой массы, и вдруг от скал донесся крик:

— Фрэнк!

Когда Фрэнк вышел из воды, Аля бросилась навстречу, крепко обняла и прижалась щекой:

— Спасибо, я знала, принц не оставит Золушку: еще не пробило двенадцать — до полночи далеко.

Фрэнк сказал, все хорошо, что хорошо кончается: могло

сложиться по-другому. Аля подняла ногу, поболтала стопой в воздухе: не могло — золотой башмачок на Золушке, до полночи еще далеко.

Аля закрыла глаза, протянула, ладонями вверх, руки к Месяцу, поцеловала ладонь, на губах играла улыбка, и спросила:

— Что такое счастье? Фрэнк, ты знаешь, что такое счастье?

Фрэнк сказал, он не может дать определение счастья, ибо счастье, по своей сути, трансцендентально, а трансцендентальное не поддается определению словом. Но если бы ему пришлось привести пример счастья, как он чувствует его, он бы сказал: "Сейчас я счастлив".

Аля повернулась лицом к Фрэнку, положила руки ему на плечи:

— Фрэнк, сейчас я счастлива. Который час?

Когда сели в машину — то ли от тесноты, то ли от виниловой духоты, какая бывает при закрытых окнах, — настроение испортилось. Аля опустила стекло со своей стороны, сказала Фрэнку, пусть опустит со своей тоже, чтобы хорошо просквозило, и закурила.

— Фрэнк, куда девалось счастье? — спросила Аля.

Фрэнк засмеялся: унесло сквозняком, люди потому и боятся сквозняков, что уносят счастье.

— Фрэнк, — сказала Аля, — я не хочу к тебе. Я хочу домой. Отвези меня домой.

Фрэнк ответил, хорошо, он отвезет Алю, но сначала надо заехать к нему домой: дети не лягут спать, пока он не уложит их и не пожелает спокойной ночи. Так заведено: правила ломать опасно.

— Фрэнк, — сказала Аля, — какое мне дело до твоих детей? Какое мне дело до ваших правил, которые опасно ломать? А подцепить девочку на улице, усадить в машину и везти к себе домой — по вашим правилам? Эти правила тоже нельзя ломать или эти правила можно ломать?

— Ты права, — сказал Фрэнк, — я поступил плохо. Я отвезу тебя домой. Но уточним: я не цепляю девочек на улице. Я не подцепил тебя. Не будем заезжать ко мне: я позвоню по телефону.

Фрэнк стал разворачиваться, Аля молча наблюдала. Когда маневр был закончен, Аля сказала, она была не права, не надо везти ее домой — надо ехать к детям.

— Аля, — Фрэнк остановил машину, — ты уверена? Ты хочешь именно так?

Да, сказала Аля, уверена: она хочет именно так — счастье вернулось к ней. Она опять счастлива.

— Фрэнк, — засмеялась Аля, — я знаю тебя тысячу лет. Поцелуй меня. Еще. Еще.

Фрэнк сказал, он тоже знает Алю тысячу лет. Он не может объяснить природы этого феномена, но ощущение у него такое, как будто не было времени, когда бы он не знал Алю.

Когда зашли в дом, Фрэнк представил Алю детям:

— Это Аля.

— А это, — Фрэнк взял за руки обоих, дочь и сына, — Андрэа, хозяйка дома, десяти лет, Джеймс, мистер "все-хочу-знать", восьми лет.

Аля понравилась детям. Андреа рассказывала про свою подругу Алису, которая влюбилась в Тони — Тони учится в восьмом классе — а тот любит Эллендею, такая дылда и всегда нечесаная, и Алиса страдает и плохо готовит уроки.

Аля сказала, пусть Алиса верит, что Тони ее полюбит, и будет, как она верит: Тони обязательно увидит, что Алиса лучше Эллендеи, и полюбит Алису.

— Ты уверена? — спросила Андреа. — А вдруг ты ошибаешься?

Аля покачала головой: она уверена, что не ошибается — надо только верить.

— Знаешь, — сказала Андреа, — мама бросила нас. Тебя мама не бросала? А папа?

Аля ответила, нет, мама не бросала ее, и папа не бросал. Она бросила папу.

Андреа спросила: Алю наказали за это? Аля пожала плечами: нет, не наказали. Но накажут. А может, опять пожала плечами Аля, уже наказали: просто она, Аля, еще не знает этого. Андреа покачала головой: такого не бывает. Когда человека наказывают, он обязательно знает. А если не знает, для чего тогда наказание? Ну, улыбнулась Аля, человеку просто больно, а он не знает, не понимает, откуда боль.

— Я очень люблю папу, — сказала Андреа. — Я никогда не брошу его. Никогда.

— Джеймс, Андреа, — скомандовал Фрэнк, — айда в

постель — чтоб первыми проснуться и первыми встретить завтра.

Фрэнк показал Але свою коллекцию. Стол и полки были уставлены глиняными, фарфоровыми и металлическими колокольцами. Медные и бронзовые были покрыты патиной, как будто зеленый налет времени, издавали тихий, вроде доносится издалека, мелодичный звон. Аля вспомнила, в детстве она слышала звон, который идет от звезд.

Фрэнк сказал, у Али сильно выражено астральное начало. Ее духовные радары принимают из пространства сигналы, которые, если бы удалось их зафиксировать и расшифровать, стали бы, несомненно, источником важной информации о жизни во Вселенной.

— Ты обратила внимание, — Фрэнк встряхнул связку альпийских колокольчиков, повеяло запахом свежескошенного сена, — как потянулись к тебе оба, Андреа и Джеймс? Дети не ошибаются, у детей — астральный нюх. Они учуяли в тебе неземное начало. Ты — космическая женщина. Андреа препиралась с тобой, потому что ее неодолимо влекло к тебе.

Аля закурила, потянуло запахом сырого погреба, запахом жухлых листьев, прогретых дымом. Фрэнк спросил, курят ли джойнт в России. Аля сказала, она курила, Саша — Аля махнула рукой, как будто Саша рядом, стоит за спиной — противился, убеждал, что надо бросить, доказывал, почему именно надо бросить, деформируется личность, но это были обычные мещанские доводы: мещане очень боятся неординарного, они хотят, чтобы все было по расписанию. Как по радио, когда время меняется на летнее или зимнее: "Граждане, не забудьте переставить свои часы!"

Фрэнк подтвердил, действительно, в расписании, в графике задана не только регулярность — задана будничность. Как бы могла случиться его встреча с Алей, если бы все было по графику!

— Фрэнк, — Аля обняла Фрэнка, заглянула в глаза, — ты приятен мне.

Фрэнк налил себе бурбона, Але предложил амаретто, приготовил ломтик апельсина, она сказала, нет, ей тоже бурбона. Наливая, Фрэнк объяснял: слом ординарности — сродни чуду. Чудо есть прорыв сверхъестественного в мир естественного.

— Я чувствую, — Аля затянулась, повела рукой перед

собою, чтобы рассеять дым, — в меня втекает энергия. Знаешь, как в детстве, после дождя: бежит по мостовой поток, а к нему, со всех сторон, стекаются ручейки.

— Ты — поток, — кивнул Фрэнк.

— Я большая, я длинная, — сказала Аля, глаза остановились, лицо было похоже на маску, — Фрэнк, ты видишь, какая я длинная. Волосы мои вьются. Дует ветер. Ой, — вскрикнула Аля, — это не волосы: это змеи! Фрэнк, откуда змеи?

Грех Адама, сказал Фрэнк, был следствием встречи Евы со змеем. Длинноволосая Лилит, когда в наказание за совершенный грех, Адам отлучен был на сто тридцать лет от ложа Евы, была ему женой. Кабала рассказывает: Ева рождала демонов. И Лилит рождала демонов.

— Фрэнк, — сказала Аля, — я знала это давно, я чувствовала, Фрэнк, я — Лилит!

Фрэнк пожал плечами: физический мир пользуется матрицами. Повторение образа, даже полная идентификация — в масштабах Космоса тривиальный акт.

— Фрэнк, — сказала Аля, — я боюсь. Фрэнк, защити меня. Заступись!

Аля зажмурила глаза, из уголков, вдоль носа, покатились две слезинки. Фрэнк сделал движение, чтобы вытереть, но тут же спохватился, подал Але салфетку.

— Ты первый, — сказала Аля, глаза были бледные, вроде разбавили студеной водой, — понял. Я носила в себе, я чувствовала. Ты первый понял.

— Моя мать, — сказал Фрэнк, — крещеная еврейка. Ее отец, раввин, отрекся от нее. Поначалу он не хотел видеть меня. Незадолго до смерти, он велел, пусть приведут мальчика. Он сказал: "Мальчик, твоя мать ушла и увела тебя, но ты вернешься. Иди".

— Фрэнк, — сказала Аля, — я предала своего отца, я донесла на него. Отца забрали в тюрьму. Фрэнк, будь мне отцом.

Фрэнк развел руками: парадокс, но у него явственное ощущение, что Аля старше, Аля — мать ему.

— Да, — кивнула Аля, — я старше. Я мать тебе. Фрэнк, ты будешь мне отцом? Я не предам тебя.

Аля налила себе бурбона, Фрэнк спросил, не хватит ли на ночь глядя, Аля вдруг, неизвестно откуда налетела ярость, ответила зло:

— Не твоя забота: ты еще не папа мне!

И тут же, оттолкнув с омерзением бокал, стала просить извинения:

— Извини, я не на тебя злюсь — я на себя злюсь. Поцелуй меня. Еще, еще.

Аля показала пальцем, где целовать — лоб, ухо, глаз — Фрэнк делал, как велела Аля, когда коснулся губами под ухом, Аля вскрикнула: "ой", вздрогнула, как будто в ознобе, сама обхватила Фрэнка руками, с силой притянула к себе и внезапно, отпрянув, захохотала:

— Лилит — наложница Адама! Нет, милый, Лилит не будет наложницей. Отведи меня спать. Я хочу спать.

Фрэнк отвел Алю в спальню, положил на комод ключи, сказал, спальня запирается, пожелал спокойной ночи и вышел.

— Спокойной ночи, Адам! — крикнула вдогонку Аля.

Фрэнк притворил за собой дверь, из комнаты свистнули, свист был как на улице, когда хотят привлечь внимание:

— Ты стоишь под дверью. Я знаю: ты стоишь под дверью.

Фрэнк направился к лестнице, спустился бегом, как будто спасается от погони, сверху донесся голос:

— Где ты, Адам?

Среди ночи — Але казалось, среди ночи, но на самом деле занимался уже рассвет — Аля проснулась в страхе, кто-то в черном, с черными крыльями, с длинными развевающимися волосами, кричал прямо в ухо, ее голосом, кричал слова, которых Аля не могла разобрать, но слова были страшные, о смертельной опасности, которая идет со всех сторон, отовсюду, и если Аля не вскочит, не убежит, опасность настигнет ее — и Аля погибнет.

Горел ночник, Аля открыла глаза, увидела Фрэнка, он склонился над ней, положил руку на плечо и ласково, как будто ребенка, гладил:

— Тише, это я. Ты кричала, дверь не была заперта — я зашел.

— Ты не пришел на мой крик, — сказала Аля. — Я закричала, когда ты вошел и встал надо мной. Зачем ты пришел?

Все в порядке, ответил Фрэнк, он уходит. Фрэнк повернулся, чтобы идти, Аля остановила его:

— Ты пришел, чтобы взять меня. Ты хочешь меня.

Аля сбросила с себя одеяло, развела ноги, у Фрэнка,

когда Аля развела ноги, все поплыло перед глазами, едва удержался на ногах, Аля сказала:

— Делай, что хочешь.

Фрэнк повторил, он здесь потому, что Аля кричала, и никакой другой причины нет. Аля, как лежала с разведенными ногами, так продолжала лежать и повторила:

— Делай, что хочешь.

Фрэнк внезапно, как будто бешеный, сорвался с цепи, бросился на Алю. Прижимая левой рукой к себе, правой Аля водила у Фрэнка вдоль позвоночника и успокаивала:

— Ну, спокойнее, спокойнее, Адамчик: Лилит с тобой, Лилит — твоя.

Когда Фрэнк утих, с минуту лежали молча, Аля спросила:

— Ну, чего ты еще хочешь?

Фрэнк провел руку у Али под головой, хотел обнять, она отодвинулась, повторила свой вопрос:

— Ну, чего еще тебе?

Фрэнк лежал на спине, зажмурил глаза, Аля сказала, пусть откроет, она хочет посмотреть, что у него, у Адама, сейчас там, в глазах.

Фрэнк не отвечал, лежал недвижимо, Аля повернулась к нему, провела рукой от живота к паху.

— Ого! — вскрикнула Аля. — Ну чего там, милый, ты же хочешь: не стесняйся!

Фрэнк лежал по-прежнему, с закрытыми глазами, недвижимо, Аля села к нему на бедра, привстала на корточки.

— Ну, — сказала Аля, лицо было сосредоточенное, напряженное, — теперь ты доволен? Отвечай: теперь ты доволен?

Аля подымалась и приседала, Фрэнк подавался навстречу, Аля сказала, не надо, пусть лежит спокойно, она сама. Фрэнк завел руки под голову, на лице была гримаса муки, Аля провела ладонью, велела расслабиться, видно было, Фрэнк старается, хочет угодить, но лицо делалось все напряженнее, как будто маска невыносимого страдания, рывком вывел руки из-под головы, схватил Алю за бедра, за таз, то сводя, то с силой разводя в стороны, глаза сделались совсем дикие, безумные, вдруг откинулся, изогнулся дугой, получился мостик, и зашелся в крике, с воем, с клекотом, будто захлебывается и не может продохнуть.

Аля перебросила ногу, сошла, сказала, теперь все, получил свое, она больше ничего не должна.

Фрэнк улыбался, взял Алю за руку, ладонью к губам, стал целовать, водить у себя по лицу, она покорно следовала, чуть-чуть напряглись пальцы, Фрэнк почувствовал, отнял руку от лица, внимательно посмотрел, сказал, Алины пальцы, как гномы, у каждого своя жизнь, Аля подтвердила, у каждого своя жизнь, сделала движение, чтобы высвободить руку, Фрэнк пытался удержать, Аля дернула с силой.

— Фрэнк, — сказала Аля, — кто разрешил тебе зайти ко мне в комнату?

Фрэнк покачал головой: никто не разрешил — он оставил Але ключи.

— Фрэнк, — сказала Аля, — ты оставил мне ключи, чтобы я заперлась от хозяина дома?

Фрэнк пожал плечами: он оставил ключи хозяйке спальни — Аля сама решала, запирать или не запирать дверь.

— Фрэнк, — спросила Аля, — я звала тебя?

Фрэнк не отвечал, Аля ждала.

— Ты права, — сказал Фрэнк. — У тебя были ключи — ты могла запереть, но не заперла. Моя бестактность: не следовало давать тебе ключи. Но было так, как я говорю: ты кричала — я зашел на крик. Я не спал всю ночь, ждал, ты позовешь. Ты не звала — я сам вошел к тебе. Я мог бы сказать в оправдание себе: ты не остановила, не возмутилась, не прогнала, — Фрэнк смотрел Але в глаза. — Я виноват. Прости.

Проснулись дети. Джеймс позвал отца. Аля предложила, она приготовит завтрак. Фрэнк ответил, дети привыкли, что завтрак готовит он, Андреа помогает. Хорошо, кивнула Аля, пусть будет, как привыкли дети: Фрэнк готовит завтрак, Андреа помогает.

Вышли втроем: Фрэнк, Андреа и Джеймс. Аля осталась. У нее сжалось сердце, было нелепое ощущение: дом покинут, ее бросили, забыли, хозяева не вернутся. Громко, как будто обращаясь к кому-то, Аля спросила: кто я? Зачем я здесь?

Пошел дождь. Капли, подлетая невидимо, разбивались о стекло, обращаясь в тонкие извилистые струйки, струйки быстро набухали, перекрывая одна другую, и образовали сплошную, с волнистой поверхностью, пленку, за которой, придя в движение, колыхались, изгибались, как по водяной ряби, дорога, деревья, дома.

Вернулся Фрэнк, отряхнул у дверей зонтик, бросился к Але, закричал, ну, вот, наконец, остались одни, хотел обнять, Аля остановила, выставив, ладонями вперед, обе руки.

Фрэнк отступил, взял с тумбы книгу, сказал, это для Али, здесь листок с телефонами, все координаты: дом, офис, часы работы. Спросил Алин телефон, Аля ответила, она сама позвонит.

Фрэнк предложил отвезти Алю домой, она сказала, нет, до ближайшей станции метро.

У станции — Фрэнк успел уже отъехать — вспомнила: букет для Саши остался в машине. Аля подумала, надо купить другой букет, осмотрелась вокруг, цветов не было, махнула рукой, ладно, без цветов.

Саша встретил у порога, бледный, небритый, с синими, от бессонной ночи, кругами в полщеки, закричал, замахал руками:

— Ты жива! Слава Богу ты жива! Я сто раз звонил в полицию: нет и нет, никаких сведений. Я думал, с ума сойду.

Аля пожала плечами: чего с ума сходить, случилось бы что-нибудь, из полиции дали бы знать — у нее в сумочке всегда с собой телефон, адрес. Да, сказал Саша, телефон, адрес, но можно было просто позвонить: все в порядке, задерживаюсь.

Аля сказала, она не думала задерживаться, получилось само собой, далеко за городом, а про телефон, что можно позвонить, забыла.

— Понимаешь, Саша, — Аля развела руками, — забыла. У каждого случается, и у тебя могло случиться: забыла, никакого злого умысла, просто забыла.

Сели завтракать, Саша открыл шампанское, выпили за грядущие успехи доктора Александра Зонтага, Аля налила себе еще бокал, ничего не ела, только пила, Саша сказал, вот пирог, шоколад, фрукты, надо закусить, Аля покачала головой, нет, она сегодня уже завтракала. Саша засмеялся, ну и что ж, что завтракала, он тоже завтракал, можно и по второму разу: не каждый день по такому случаю завтраки.

Саша стал рассказывать про свое дежурство, был момент, пошли вторые сутки, заткнул в уши фонендоскоп,

приложился к груди пациента, тишина, только сердце глухо тукает, тук-тук-тук, ничего, норма, соснуть бы, ох, плывет все, вбок уходит... ан нет, малыш Гипнос, не возьмешь!

Когда Саша сделал паузу, Аля спросила:

— Саша, почему ты не спрашиваешь, где я была?

Саша не отвечал, ложкой кромсал пирог, Аля повторила:

— Почему ты не спрашиваешь, где я была?

— Аленок...

— Что Аленок! — закричала Аля. — Аленка твоего всю ночь напролет...!

Аля употребила грубое слово, Саша отшатнулся, закрыл лицо руками:

— Аля, тебя изнасиловали!

— Саша, — Аля дала себе слово говорить спокойно и говорила спокойно, — меня не изнасиловали.

-—О, — Саша схватил Алю за руки, стал целовать, — ты выдумщица, ты фантазерка, ты гадкий, жестокий ребенок! Я знаю, ты гадкий, жестокий ребенок!

Саша объяснял Але, в этот раз кончилось все благополучно, но Аля не имеет права забывать, Аля обязана помнить: это не Одесса, не Россия — это Америка, это Нью-Йорк. Один раз сошло — другой не сойдет. Он настаивает, он требует: пусть Аля даст слово, что это в последний раз — никаких походов на ночь без него!

— Саша, — сказала Аля, — меня не изнасиловали.

Саша прижал ладонь к Алиным губам: все, тема исчерпана.

Аля отвела голову, с силой оттолкнула Сашу:

— Меня не изнасиловали, — повторила Аля, — я сама. Понимаешь, сама...

Саша побледнел, голос вдруг сел, сделался сиплый, как будто вставили в гортань трубку:

— Ты влюбилась?

Аля пожала плечами: при чем здесь любовь? Просто человек. Американец. Познакомились на улице. Рассыпались цветы, которые она купила для Саши, Фрэнк помог собрать. Так и познакомились. Получилось само собой. А потом поехали к нему. У него дом в Ларчмонте. Двое детей, Андреа и Джеймс. Жена бросила его, а дети живут с ним. Джеймс ходит во второй класс, славный мальчик, а сестра — вся в мать, сухарь, злюка. Джеймс просил, чтобы Аля осталась, не уходила. Она осталась.

Саша сказал:

— Тебя опоили. Ты была пьяна.

Аля покачала головой: нет, ее не опоили, так, немного, сама покурила, выпила. В меру.

— Потом... — сказал Саша.

Потом, Аля пожала плечами, Фрэнк пришел к ней в комнату, ночью, нет, не ночью, уже начало светать, она не звала его — он сам пришел.

— Так тебя изнасиловали! — Саша сделался совсем белый, только нос с желтизной, как будто из воска.

Аля нахмурилась, видно было, что раздражена:

— Саша, я объясняла тебе: никто меня не насиловал. Фрэнк пришел, я не могла сказать ему: уходи. Я у него в доме. Саша, ты другой: ты можешь обидеть человека. А я не могу. За что обидеть? Ну подумай сам: за что?

— Как за что! — поразился Саша.

— Ты не хитри! — вдруг взвинтилась Аля. — Не увиливай! Ты отвечай прямо: за что?

— Ты же отдала себя на поругание! — Саша сплел пальцы, и так, сплетенными пальцами, колотил по столу. — Тебе было противно, мерзостно, ты из жалости, боялась обидеть, а ему плевать на тебя, ему — свое!

Аля покачала головой: ей не было противно, она не звала, не искала, но не было противно. Так, все равно, могло быть — могло не быть. А потом она сказала Фрэнку, пусть уходит. Когда расставались, Фрэнк просил телефон, она не дала телефона.

— Но что ты чувствовала, — продолжал Саша, — было приятно, удовольствие?

— Саша, я уже говорила тебе: было все равно. Удовольствия не было, просто сознание, что Фрэнку хорошо. Понимаешь, Фрэнку было хорошо. А мне... — Аля пожала плечами.

Саша вдруг засмеялся, бледность прошла, вернулся нормальный цвет:

— Аленок, ты разыгрываешь меня. Я знаю: ничего не было. Ты — актер, самый великий актер! А я — дурак, самый большой дурак.

Саша схватил Алю за плечи, притянул к себе, хотел поцеловать, она как будто с цепи сорвалась, стала колотить Сашу кулаками по голове, вонзилась ногтями под челюстью, вроде норовит вырвать с мясом, и закричала:

— Трус! Ничтожество! Все было! Не как с тобой: все

было! Трус, импотент, ничтожество! Ты выгони меня — на улицу, коленом, метлой, дубиной, выгони... — Аля стала обзывать себя всякими непотребными словами, — чтоб все видели! Хочу, чтоб все знали, все видели!

Саша налил в стакан воды, вынул из кармана таблетку, подал Але, она выплеснула воду Саше в лицо, взяла таблетку в рот, тут же выплюнула и закричала:

— Ты выбрось, выгони свою Алечку на улицу, а я объясню людям: он толкал меня, он дергал куклу за веревочку, он водил палочку, иди... — Аля опять употребила грубое слово, — иди, милая, только бы мне покой был! Ненавижу тебя. Ненавижу!

Аля бросилась на диван, Саша присел рядом, хотел успокоить, Аля вскочила, схватила нож со стола, стала размахивать, пусть только посмеет подойти, посмееет прикоснуться — она убьет, зарежет, второй глаз высадит!

Саша, когда Аля стала размахивать ножом, машинально отступил, встал у противоположной стороны стола, руки вытянул вдоль туловища, как будто в траурном карауле, по щекам текли слезы, Саша смахнул ладонью, опять набежали слезы, Саша вытер кулаком, Аля выронила нож, закрыла лицо руками, вся затряслась, Саша подошел, обнял за плечи, Аля прижалась всем телом, стала стягивать с Саши штаны, оба упали на пол, Аля бормотала, милый, любимый, единственный, никого не было, никого нет, она все выдумала, только Саша, один Саша, навсегда, на всю жизнь. Саша, вдруг охватила радость, бормотал в ответ, он знает, Аленок самый чистый, Аленок самый хороший, любит только его, и это навсегда, на всю жизнь!

Аля теребила пальцами, забирала губами, велела Саше лечь на спину, перебросила ногу, присела над Сашей на корточки, сказала, пусть не двигается, она сама.

— Ну, — сказала Аля, лицо было сосредоточенное, напряженное, — ты доволен? Отвечай, милый, любимый, единственный! Отвечай!

Аля зашлась в крике, как будто невыносимо страдание, откинулась корпусом назад, оперлась на руки, потом устремилась вперед, грудью на Сашину грудь, и так, прижимаясь один к другому изо всех сил, лежали молча, пока Аля не сказала, пора вставать.

Саша не хотел отпускать Алю, Аля начала сердиться, наконец, встали, привели себя в порядок, Аля помогала Саше, как будто маленький, несмышленыш, застегивать

рубаху, пиджак, Саша норовил чмокнуть в щеку, в шею, под ухом, Аля увертывалась, потом сели за стол, друг против друга, допили шампанское, у Саши был счастливый вид, сам объяснял, что счастье, если нет ему ниоткуда угрозы, превращается в рутину, перестает быть счастьем, и Аля со своими мистификациями — настоящая волшебница.

— Саша, — Аля смотрела на Сашу в упор, глаза сделались совсем чужие, холодные, как будто случайные, посторонние люди, — перестань дурачить себя. Саша, ты дурачишь себя, ты прячешься за словами и хочешь, чтобы я пряталась вместе с тобой.

Саша удивился: откуда Аля взяла это? Он сам не прячется и не хочет, чтобы Аленок прятался. Просто надо знать меру вещей и не преувеличивать.

— Саша, — повторила Аля, — перестань дурачить себя: ты боишься. Ты не знаешь меры вещей. Если бы ты знал меру вещей, ты бы понял, что меры вещей нет. Меры вещей — это выдумка. Меру вещей выдумали люди, потому что им страшно.

Аля сказала, есть люди-радары. Эти люди принимают сигналы из Вселенной, которые, если бы удалось их зафиксировать и расшифровать, стали бы источником важной информации.

Саша смотрел внимательно, на лице была тревога, Аля сказала Саше, его тревога от ревности, не надо ревновать.

— Саша, — сказала Аля, — я — человек-радар. Я — космическая женщина. Когда, в наказание за грех, Адам был отлучен от ложа Евы, его терзали страшные ночные видения. Лилит, которая стала ему женой вместо Евы, рождала демонов, происходивших от кошмарных видений Адама.

Саша вскочил, как будто снизу, из-под сиденья, укололи иголкой, с силой задвинул стул под стол, тут же потянул на себя, опять уселся, подпер голову руками, уставился на Алю, вроде гипнотизирует. Аля, глаза сделались круглые, немигающие, как у совы или филина, смотрела на Сашу.

— Саша, — сказала Аля, — я — Лилит.

— Нет, — покачал головой Саша, — ты — Аленок, дикий олененок.

— Саша, — повторила Аля, — я — космическая женщина, Лилит. Саша, мы должны расстаться.

Саша засмеялся, как будто очень смешно, сказал, он всегда, еще с того дня на чердаке, знал, что его суженая — царица ночи, мать демонов Лилит.

— Я не хочу с тобой жить. Я не люблю тебя, — Аля говорила громко, отчетливо разделяя слова. — Саша, я не люблю тебя.

Саша нахмурился, сказал Але, все должно быть в меру. Аля покачала головой: меры нет.

— Саша, — повторила Аля, — я тебе объясняла: меры нет. У каждого человека своя мера. Я не люблю тебя.

— Аленок, — Саша улыбался, улыбались только губы, фарфоровый глаз был неподвижный, без выражения, зрячий мигал, сильно дергалось веко, — Аленок, ты слышишь себя?

Аля ответила, она слышит себя и хочет, чтобы Саша тоже слышал: они должны расстаться. Надо было раньше расстаться, но она не хотела поднимать вопроса, пока Саша не сдаст экзамена. Теперь Саша — доктор, зарабатывает много денег, и ни от кого не зависит. У него — своя дорога, у нее — своя. Она не хочет, чтобы ее на каждом шагу контролировали.

— Аленок, — Саша замахал руками, — кто тебя контролирует?

— Ты меня контролируешь, — сказала Аля.

— Я? — Саша ткнул себя пальцами в грудь. — Я верю каждому твоему слову, я прошу только, подними трубку: буду в пять, в десять, в двенадцать. Аленок, только подними трубку...

— Я не хочу поднимать трубку, — сказала Аля. — Ты требуешь от меня отчета. Я не хочу давать отчета. В России отчитываются, а здесь не Россия. Саша, здесь не отчитываются: каждый живет, как ему нравится.

— Аленок, — Саша схватился руками за голову, — ты обезумела! Как ты будешь жить? Одна?

— Саша, — сказала Аля, — это неправда, что я не люблю тебя. Я люблю тебя.

Аля подошла к Саше, обняла, поцеловала. Саша упал на колени, обхватил Алины ноги, прижался, запричитал, как будто маленький мальчик, не хочет отпускать маму:

— Ты не уйдешь, я не отпущу тебя! Ты не уйдешь, не уйдешь! Я умру без тебя! Аля, я умру!

Аля положила руки Саше на голову, ерошила волосы, он терся лбом о ее бедра, Аля не выдержала, сама заплакала:

— Саша, ну зачем я тебе такая? Зачем ты держишь меня? Саша, прошу тебя, умоляю: отпусти, не держи меня!

Саша, когда услышал эти слова, еще крепче ухватился за Алю, как будто от этого, насколько крепко он ухватился, зависело, сможет удержать ее или не сможет.

Аля почувствовала, к Саше вернулись силы, резко, накатила вдруг волна ярости, оттолкнула его, но тут же, чтобы Саша не подумал, будто движет ею враждебное чувство, взяла себя в руки и сказала:

— Саша, наверное, я люблю тебя. Я не знаю: наверное. Отпусти меня, я разберусь. Я вернусь к тебе. Милый, родной, единственный, я вернусь к тебе. Обязательно вернусь. Но отпусти меня. Очень прошу тебя: отпусти.

Саша, как будто внезапно подменили человека, встал, выпрямился, сказал, он вывез Алю, он в ответе за нее — и будет отвечать до последнего вздоха.

Аля засмеялась:

— Саша, ты глупый. Ты глупый мальчик. Ты не можешь отвечать за меня. Никто не может. Подойди, я поцелую тебя. А теперь поцелуй меня. Саша, почему меня все любят? Объясни: почему?

Саша бормотал, будто стал забирать неодолимый сон: Аленок, единственный, самый любимый, самый лучший, самый чистый.

— Саша, — сказала Аля, — ты — эгоист. Если бы ты знал, какой ты чудовищный эгоист.

13

К Севе приехал гость из Тель-Авива, Симон Барац, математик. Докторскую Симон защитил в Одессе, у знаменитого Крейна, Макса Григорьевича. Про Крейна Симон говорил, что он гениальный математик, и академик Колмогоров, застенчивый юдофоб, как наблюдается порою среди Ломоносовых и Лобачевских, тоже говорил про Крейна, что он гениальный и даже выдвигал его на Ленинскую премию, о чем сделал публичное заявление в газете "Известия" — органе Президиума Верховного Совета СССР.

Сева сказал, ученик чародея — чародей. Означает ли

это, что ученик гения — гений? Симон сказал, что не обязательно, но в данном случае именно так, как бывает у чародеев.

Мари-Луиз сказала Севе:

— Сева, разве ты не говорил, что Симон настоящий гений?

— Симка, подлец, — воскликнул Сева, — ты подслушал мой разговор с Мари-Луиз, и теперь выдаешь мои слова за свои!

Саша сказал, едва ли имело место прямое, как практикуется Галиной Борисовной, то есть ГБ, подслушивание. Вероятнее всего имел место другой эффект — телепатический.

Телепатия, сказал Сева, тоже подслушивание, санкционированное самой природой. Телепаты — первые в истории человечества профессиональные шпионы и доносчики секретной службы. Человек рожден, чтобы высматривать, выслеживать и доносить. Уничтожьте донос — распадется общество. Наиболее совершенная и массовая форма доноса — печать в свободном мире. С приходом Горбачева советская печать начинает отправлять нормальные, свойственные всякой прессе функции.

Симон сказал: Сева — циник. Цинизм — это подмена субъекта в правильной посылке. В данном случае понятие информации подменено понятием доноса.

— Но есть еще самодонос! — сказал Сева. — Из трехсот тысяч сожженных на кострах инквизиции — три четверти сожжены по самодоносу.

Сева налил всем водки: выпьем за радетелей, облегчающих бремя отцам-инквизиторам, выпьем за помин души самодоносчиков!

Аля спросила: в чем различие между доносом и самодоносом? Допустим, девочка донесла на своего отца. Отца посадили. Отец отсидел свои пятнадцать суток — и вернулся. Девочка, страшась встречи с отцом, бежала из дому, полагая, что в бегстве — спасение. Девочка ошиблась: в бегстве не было спасения. Всюду, куда девочка ни прибегала, она слышала голос: "Ты донесла". И девочка отвечала: "Я донесла. Я — доносчица".

Аля спросила: что это — донос или самодонос?

Симон сказал: это — классический пример диалектического перехода доноса в самодонос. У девочки была потребность открыть себя и узнать. Но возникает вопрос:

кого в действительности предавала девочка — отца или себя? Отец отбыл свои пятнадцать суток — по советским условиям, дом отдыха — и воротился домой. А девочка, как горбун, должна таскаться всюду со своим горбом, обреченная объяснять каждому встречному-поперечному, откуда и отчего у нее горб.

Саша, пока шел разговор между Севой и Алей, проводил ногтями по зубам, на мгновение задерживался и обгрызал. Аля взяла Сашу за руку, пыталась остановить, он выдернул, захватил ногти зубами и продолжал обгрызать.

Симон подошел к Але, протянул руки, ладонями кверху, велел, пусть Аля положит, ладони к ладоням, свои руки и пусть попытается описать, что она в данный момент видит и чувствует.

— Ты, плешивый гений, — схватился Сева, — перестань давить на психику ребенка!

— Аля, расслабьтесь, — приказал Симон, — вы напряжены. Я чувствую, вы напряжены. Расслабьтесь.

Аля расслабилась, закрыла глаза, она что-то видит, но что, понять не может, какая-то тьма, черный туман, клубится, уже не черный, сереет, что-то мельтешит, копошится, как мельчайшие точки света, но света нет, ощущение хаоса...

— Стоп! — приказал Симон. — Это главное: порядка нет. Хаос!

Он велел Але прижать ладони крепче, как можно крепче, и описать, что она видит теперь.

— Солнечный луч, — сказала Аля, — клубятся пылинки, движение их беспорядочно, иногда плавное, иногда рывками, как будто погоня... убегают... из луча в темень... норовят скрыться... Чердак. На чердаке девочка. Мальчики. Два мальчика. Девочка лежит...

— Аля, — Саша вскочил, замахал руками, — идем! Я приказываю тебе: идем!

Аля, как будто Сашин приказ, Сашины слова не к ней, прижала, как велел Симон, свои ладони к его ладоням крепче и продолжала ровным, вроде со сна, голосом:

— Мальчик поднял платье. Смотрит. Хочет потрогать. Потрогал. Говорит другому: потрогай. Тот протягивает руку. Отдергивает. Плачет. По щекам текут слезы... Девочка говорит: мальчики, у меня обморок. Когда обморок, человек не видит, не слышит, не помнит...

— Прекрати! — приказал Саша, руки сжались в кулаки, фарфоровый глаз, как будто обрызгали ледяной водой, сделался холодный, блестящий. — Прекрати!

— Дерутся, — сказала Аля. — Мальчики дерутся. Один схватил палку. Целится. В глаз. Ах! — Аля вся задрожала, машинально подалась к Симону, тот придержал руками, чтобы не упала. — Ах, — вскрикнула Аля, — ударил!

Мари-Луиз захлопала в ладоши:

— Браво! Так интересно!

Саша стоял бледный, на губах, из угла в угол, пробегала улыбка, вынул из кармана платок, потер глаз, как будто что-то попало и беспокоит. Аля подошла к Саше:

— Саша, почему ты боишься правды? Ты сам учил меня: не надо бояться правды. Учил или не учил?

Саша пожимал плечами, как будто не понимает вопроса, Аля повторила:

— Отвечай: учил или не учил?

Да, ответил Саша, учил. Но при чем здесь правда? Он схватил ее за руку, потянул с силой, — идем отсюда! И больше нашей ноги здесь не будет. Идем отсюда!

— Саша, — Аля выдернула руку, — я не хочу идти. Я не пойду. Ты хочешь — иди. А я не пойду.

— Аля, — Саша повернулся, топнул ногой, — нам плюют в лицо! Понимаешь: плюют в лицо!

Симон сказал, он не знает, в чем его вина, но готов извиниться.

Аля покачала головой:

— Никто не плюет нам в лицо. Это Саша плюет и хочет, чтобы я тоже плевала. Саша, — сказала Аля, — я не буду плевать людям в лицо.

— Ярмарка! — Саша встал у дверей, поддал ногой, чтоб больше распахнулась, — балаган, скоморохи!

— Саша, — крикнула вдогонку Аля, — закрой, пожалуйста, двери.

Сева налил себе остаток водки, чокнулся о порожний стакан — лехаим! — и забормотал:

— Муха, муха, цокотуха, позолоченное брюхо, муха по полю пошла, муха денежку нашла...

— Пошла муха на базар и купила самовар, — подхватил Симон. — Вот именно: нашла денежку, пошла на базар и купила...

— Самовар! — радостно воскликнул Сева.

При всей неординарности картины, сказал Симон, мы

относимся к ней с полным доверием. Совершенно очевидно, что цокотуха в данном случае такой же индивид, наделенный свободной волей, как и всякий другой индивид.

— Но, — Симон выбросил правую руку, указательный палец вперед, как будто допрашивает или угрожает, — кто скажет нам, почему, найдя денежку, именно на базар пошла цокотуха, хотя наверняка имелись и другие торговые точки, почему именно самовар купить, а не, скажем, чайник, из которого также можно напоить гостей, которых она собиралась пригласить?

Когда Аля вернулась домой, Саша спал. Будильник поставил на пять тридцать: в семь надо быть в госпитале. Але очень хотелось поговорить, обо всем, чтоб была ясность, все стало на свои места, но решила не беспокоить, пусть Саша выспится. Тихонько поцеловала в висок, коснулась губами лба, провела кончиком языка по уху, Саша внезапно, как будто и не думал спать, только притворялся, схватил Алю, обнял, вроде тысячу лет не виделись, и стал целовать, прижимать, тискать, как безумный.

Было приятное чувство, Аля не останавливала, сама чмокнула в щеку, в плечо, в грудь, Саша еще больше неистовствовал.

— Саша, — сказала Аля, — ты знаешь, для чего я? Я для испытания людям. И тебе для испытания. Ты хочешь удержать меня, ты думаешь про себя: вот я, своей свободной волей, удержу ее. А ты не удержишь меня. Ты не можешь удержать.

Аля откинула одеяло, села на край, свесила ноги, Саша попытался опять уложить, она с силой, зло, отбросила его руку:

— Саша, ты ничего не понимаешь. Я не могу, не хочу с тобой жить. Ты ничего не понимаешь. Ты не виноват, но ты ничего не понимаешь и никогда не поймешь.

Аля стала одеваться, Саша сказал, два часа ночи, Аля одна не пойдет, он пойдет с ней, и тоже стал одеваться.

— Ложись, — сказала Аля, — тебе утром на работу, двое суток на ногах.

Саша повторил, Аля одна не пойдет, он не позволит.

— Не волнуйся, — Аля закурила, — я не одна.

— Ты к нему... — Саша помедлил, искал подходящее слово, — к Пифагору с Молдаванки пойдешь?

Аля не отвечала.

— К Симону пойдешь? — переспросил Саша.

— Да, — сказала Аля, — к Симону.

Аля ждала, сейчас начнется самое ужасное: Саша упадет на колени, обхватит ее ноги, будет тереться лбом, плакать, доказывать, умолять.

— Саша, — Аля сама заплакала, — я не хочу, чтобы ты страдал. Я не для себя делаю — я для тебя делаю. Саша, ты доктор, ты заработаешь много денег, за тебя пойдет любая женщина, хорошая, добрая, с образованием, с дипломом. Саша, я не нужна тебе, отпусти меня. Отпусти по-хорошему.

Аля ошиблась: Саша не плакал. Наоборот, вид был очень спокойный, только нос и подбородок заострились, как будто вдруг, в минуту, человек осунулся, похудел.

— Аля, — сказал Саша, — голос тоже был спокойный, ровный. — Аленок, я не отпущу тебя. Ты хочешь изменять мне — изменяй. Ты хочешь быть с другим, с другими — будь с другими. Но знай: я не отпущу тебя. Аленок, я умру без тебя.

Аля покачала головой: Саша ничего не понимает. Один человек не может запрещать или давать разрешение другому. Каждый человек сам себе запрещает и сам себе разрешает.

— Саша, — сказала Аля, — Симон — математик, он понимает, а ты не понимаешь. Из хаоса рождается порядок. Раньше люди думали, хаос — это беспорядок. Хаос было ругательное слово. А теперь ученые открыли, хаосов очень много, из хаосов рождается порядок. Значит, в хаосе всегда был порядок, только люди не понимали этого. А теперь поняли. Саша, ты говоришь мне, иди к одному, иди к другому, как будто посылаешь на панель. Это низость, Саша. Мне не нужен другой, мне не нужны другие — мне нужен один-единственный.

— Пифагор с Молдаванки, — сказал Саша.

— Опять низость, — тряхнула головой Аля. — Может быть, он, Симон. Сегодня я чувствую так: Симон. Я хочу быть с ним, — Аля смотрела Саше в глаза, — хочу его. А тебя не хочу. Ты не нужен мне, Саша, ты не мой, ты — не один-единственный. Я буду искать. И меня будут искать. Кому назначено, тот найдет. Обязательно найдет, а иначе зачем искать? Ты понял, Саша? А теперь ложись спать, мама убаюкает тебя. Тебе нужна мама. Ты хочешь, чтоб я была тебе мамой. Ты эгоист, Саша, ты ужасный эгоист.

Саша разделся, лег, Аля, в одежде, прилегла рядом.

— Разденься, — сказал Саша и стал стягивать с Али одежду.

— Прекрати, — приказала Аля, — Саша, прекрати, не то я встану и уйду.

Перед рассветом, было еще темно, но чувствовалось, по торопливому мерцанию, звезды догорают, на Алю навалилась тоска.

Было ощущение, что все люди несчастны: и она, Аля, несчастна, и Саша, и Сева, и Мари-Луиз, и Симон, который такой умный и так хорошо все понимает, и Фрэнк, со своими двумя детьми. Все несчастны. Весь мир.

Аля разделась, осталась в трусиках, потом сняла трусики, прижалась к Саше, сказала, пусть повернется к ней лицом, Саша повернулся, Аля взяла двумя руками за голову, стала медленно, всматриваясь в Сашино лицо, целовать, Саша порывался поцеловать в ответ, Аля отстранялась, мотала головой, глаза были грустные, печальные, как будто вот-вот заплачет, Саша забормотал: "Аленок, самый добрый, самый лучший, самый чистый в мире", — Аля приникла всем телом, зашептала прямо в ухо, вроде открывает очень важный, самый главный свой секрет:

— Саша, я люблю тебя. Я очень тебя люблю, дорогой мой, любимый, единственный! На всю жизнь люблю, ты мой единственный, один-единственный! Любимый, делай со мной что хочешь: я твоя, только твоя!

...Через два дня, Саша был на дежурстве, пришел Симон, сказал, он уходит от жены, Аля должна ехать с ним в Израиль. Так надо.

Когда Саша вернулся с дежурства, Аля поставила его в известность: она уезжает в Израиль.

— Саша, — сказала Аля, — я уезжаю с Симоном. Так надо.

Саша, когда Аля поставила его в известность, сделался буквально зеленый. Аля такого лица еще не видела. Казалось, еще минута, человек умрет или произойдет что-то такое, чего вообразить нельзя.

Но Саша не умер, и ничего такого не произошло. Наоборот, все было очень пристойно, Саша спокойно, как будто давно все обдумал, объяснил, что Аля делает глу-

пость, но, поскольку, по новой теории хаоса, человеку отпущен обязательный минимум глупостей, пусть сделает, чтобы убедиться, что делать не надо было.

У Али было досадное чувство, вроде ее обманули, надули, она принимала все за чистую монету, открыла свою душу, а ей, в ответ, плюнули в душу.

Аля сказала Саше, тем лучше, что все так, как у порядочных людей: чем спокойнее, тем здоровее для обоих.

Да, ухмыльнулся Саша, это так: трудовая копейка рубль бережет.

Але не хотелось быть резкой, но оставлять без ответа нельзя было, и она сказала Саше:

— Саша, ты хамишь.

Саша пропустил мимо ушей. Аля чувствовала, опять что-то нехорошее, оскорбительное для нее, но она убеждала себя, Саше больно, надо помнить, надо быть доброй, великодушной.

— Саша, — сказала Аля, — возникнут пересуды: кто кого бросил — ты меня или я тебя. Если хочешь, можешь говорить всем, что инициатива твоя, ты бросил меня.

— Аля, — у Саши понемногу возвращался нормальный цвет лица, — Аленок, я буду ждать тебя. Захочешь вернуться, — Саша улыбнулся, сделал жест рукой, как бронзовый дюк Ришелье в Одессе, у Потемкинской лестницы, — welcome. Я буду ждать.

...На другой день Аля с Симоном вылетели в Израиль. В Тель-Авив прилетели вечером. Симон снял номер в гостинице на улице Алленби, недалеко от моря.

Гуляли по городу, заходили в кафе, ели пирожные, пили кофе. В лавке ювелира Симон купил для Али серебряную цепь с чеканным шестилистником, в каждом лепестке бирюза.

Потом вышли к морю, Симон показал рукой к югу, где темнели в лунном свете, громоздясь один на другой, как в театральной декорации, дома и замки: Яффа, порт, который был древним уже во времена фараона Тутмоса и Моисея. Из Яффы начал свое плавание еврейский мореход Иона — тот самый, который вышел невредимым из чрева кита и, вследствие своею чудесного спасения, стал пророком.

Симон, пока говорил, озирался по сторонам, как будто за скалами, за случайными выступами таилась опасность. Аля истолковала по-своему, вспомнила Нью-Йорк, где

нельзя, без оглядки, ходить по ночам, Симон сказал, для параллели нет никаких оснований, Израиль не Америка, Тель-Авив ночью и днем равно безопасен.

Внезапно, среди развороченных глыб бетона, по сторонам, вроде обрубки железных конечностей, торчали обломки арматуры, Симон потянул Алю, повалил, каменное ложе, в лунном свете напоминало кратер, было устлано кусками поролона и ветошью, Аля упала навзничь, Симон набросился, как будто насилует, торопится, чтобы жертва не успела опомниться. Аля в самом деле не ожидала, в первый момент растерялась, но быстро оправилась, сжала изо всех сил колени, Симон, сколько ни старался, ни рукой, ни ногой не мог развести, резко, со звуками, вроде давят рыбьи пузыри, стал целовать Алю — грудь, живот, бедра — Аля закричала, нет, нет, сама не понимала, почему нет, схватила Симона за волосы, ногтями впилась в плешь, вдруг Симон протиснулся головой между ног, почувствовала слабость, застонала, голос был жалобный, просительный, не надо, вернемся в гостиницу, Симон не отвечал, тяжело, с перехватом, как будто долго карабкался на гору, дышал у Али под ухом, наконец, приладился, Аля сама обняла, Симон закричал, отвечай, Аля сделала движение навстречу, Симон заерзал, задергался, подбросила судорога, и замер.

Аля спросила: долго будем так лежать? Симон не отвечал, Аля сказала, пусть сойдет, сама подтолкнула, Симон, как будто неживой, свалился набок.

Небо было совсем близко, Аля явственно чувствовала, звезды смотрят на нее и видят ее, видят, как видят человеческие глаза.

— Симон, — спросила Аля, — тебе хорошо?

Симон повернулся, обхватил рукой:

— Бог, когда сотворил мир, сказал: "Это хорошо".

— Симон, — сказала Аля, — ты врешь: тебе нехорошо. Ты противен мне. Ты изнасиловал меня. Зачем ты изнасиловал меня?

— Насилие, — сказал Симон, — это неожиданность. В полночь, уединяясь с мужчиной, женщина идет навстречу неожиданности. Но, строго говоря, это мнимая неожиданность, ибо женщина готовит ее сама загодя. И в этом вековая интуиция жертвы, которая сама завлекает охотника.

Аля поднялась, привела себя в порядок, сказала Симо-

ну, она хочет побыть одна, пусть идет, встретятся в гостинице.

— В Израиле ночь, — Симон обвел рукой по горизонту. — Ночь — это ночь.

Аля пошла к берегу, разделась догола, бросилась в воду.

— Прощай!

Симон тоже разделся, прыгнул вслед за Алей, старался догнать, но не получалось, наоборот, Аля быстро удалялась. Симон закричал:

— Малыш, вернись! Я виноват, малыш! Прошу тебя, вернись! Малыш!

Когда выходили из воды, Алю качало во все стороны, свалилась на песок, как подкошенная, крепко прижалась, провела руку у Симона под головой, притянула к себе, потерлась губами о губы, поцеловала, чуть отстранилась, внимательно посмотрела, опять притянула к себе, прижалась губами к уху, пробормотала, любимый, единственный...

Симон схватил Алю, стал целовать, как безумный, будто ждал целую вечность, и вот, наконец, дождался, не может остановиться и не остановится, пока не иссякнут силы.

— Счастье, — восклицал Симон, — за что мне такое счастье!

Остаток ночи провели в отеле, до утра лежали в обнимку, Симон шутил, когда-нибудь, вот так, найдут два скелета, Эсмеральда и Квазимодо.

Встали рано: Симону к девяти — в университет, потом — встреча с женой. Симон объяснил: последние детали, в связи с разводом. Выглядел неважно, видно было, человек не отдохнул: под глазами мешки, волосы расчесал, пригладил, все равно казалось, влажные, слипаются, кожа, где плешь, сильно обгорела, шелушилась.

Выпили кофе, съели глазунью, тост с джемом, Симон сказал Але, обедать будем вместе, а сейчас пусть Малыш ложится и досыпает свое. Вечером поедут в Яффу, там у арабов ночные рестораны, шоу, посидим, послушаем музыку, погуляем.

...Проснулась во втором часу от телефонного звонка: звонил Симон. Сказал, звонит третий раз, телефон не отвечал. Что случилось? Аля сказала, все в порядке, ничего не случилось. Симон переспросил: ничего? Аля

повторила, ничего, она просто спала, не слышала. А что могло случиться?

— Милый, — Аля сделал паузу, — я сказала неправду: случилось. Я очень тебя люблю.

— Малыш!

— Милый, приходи быстрей. Я буквально горю, сгораю. Ты чувствуешь?

Аля вышла в город, обедать не стала, съела фалафел, было очень вкусно, заказала еще один, велела побольше луку и перца, буквально обжигало рот, Аля махала рукой, шлепала ладонью по губам, чтоб остудить, и тут же, как будто из голодного края, вгрызалась опять. Лотошник, пожилой еврей, говорил Але, женщина, которая может выдержать такое, может выдержать и не такое.

Аля сказала, она первый раз в Тель-Авиве, хочет посмотреть город. Лотошник спросил: по частям или все сразу? Если по частям, надо просто ходить ногами, как ходят все люди, и смотреть по сторонам: что стоит увидеть, глаза сами увидят. А если все сразу, тогда есть два места: одно — сверху, другое — снизу. Сверху — это с крыши Мигдал Меир Шалом, дом на углу Герцля и Ахад Гаам, пару этажей не достает до неба. Если снизу, это — тахана мерказит, главная автобусная станция, где сходится весь Израиль.

На тахане мерказит стоял галдеж и крик, как будто конец света. Было много солдат, молодые ребята, в армейской форме, с автоматами, которые держали каждый по-своему: один — на груди, другой — за спиной, третий — закинул в дорожную сумку или баул, ствол торчал снаружи, можно было подумать, детская игрушка.

В очереди к автобусам было много девушек, тоже в гимнастерках, в пилотках, с тяжелыми солдатскими рюкзаками через одно плечо, манерой и повадками похожи на переодетых мальчиков. Аля подумала, ей бы пошла военная форма, невольно подтянулась, как будто примеряет и осматривает себя в зеркале.

Высокий, смуглый солдат, русые волосы, синие глаза, наверное, угадал Алины мысли, улыбнулся, протянул Але автомат, пусть примерит. Аля готова была взять, но солдат тут же убрал автомат, взамен протянул свою руку, сказал:

— Будем знакомы. Эйтан.

Оказалось, живет в Тель-Авиве, служит в Эйлате, пус-

тыня, рядом Красное море, подводное царство самое красивое в мире, как раз свободна вакансия, требуется принцесса. Вырвал из блокнота листок, записал телефон, сказал, до Эйлата пять часов автобусом, сегодня вечером будет ждать звонка.

— Позвонишь? — Эйтан немножко поколебался, вдруг обнял, поцеловал под ухом, у Али от шеи по спине забегали мурашки. — Смотри, буду ждать. Принцессы не обманывают.

Эйтан побежал к автобусу, едва успел, солдаты придержали заднюю дверь, чтоб мог вскочить, помахал Але автоматом:

— Сегодня! Обязательно!

Эйтан понравился Але, можно подружиться, ходить друг к другу в гости. Симону тоже наверняка понравится, славный парень, вполне мог бы быть у него студентом или аспирантом. Сегодня вечером, когда они с Симоном будут гулять в Яффе, часов в девять-десять, раньше нет смысла, надо позвонить. Обязательно позвонить...

Аля достала из сумки травку, скрутила джойнт, крепко затянулась, от усилия запали щеки, еще раз затянулась, предметы стали отчетливее, резче, воздух, как бывает при первых заморозках, сделался прозрачный, дома, лотки под навесами, деревья, столбы, все стояло прочно на своих местах, теперь не составляло никакого труда выбрать направление. Аля вышла на Алленби, никого не спрашивала, дорога была перед глазами, как будто на карте, улица немного изогнулась, Аля издали узнала отель, было приятное чувство, в конце улицы блестело море, Аля вспомнила, Симон наверняка ждет, сейчас поедут в Яффу, в ночной ресторан, арабские танцовщицы, кармин, лазурь, газовые шарфы, под шарфами смуглые соски, похожи на гномиков, чуть, как у нее, скошены в стороны, машинально прижала ладонями грудь, сказка, тысяча и одна ночь.

Аля поднялась к себе в номер, вышла на балкон, с моря дул легкий ветер, доносил запах водорослей, на миг возникло ощущение, она в Одессе, о судно ударяют волны, слегка качнуло, Аля невольно ухватилась за ограду балкона, вспомнилась, ни с того, ни с сего, Лина, лицо припорошено синькой, непонятно где, какое время, чернота, какая бывает в безлунном небе, свет только от

звезд, но отчетливо видно, лицо синьковое, черты разбухли, вроде утопленница, только что вынули из воды.

Аля вернулась в комнату, стала перед зеркалом, сделала строгое выражение, чуть скосила глаза, как будто смотрит свысока, засмеялась, показал язык: "Симка — свинья! Алька — хорошая". И повторила, тыча пальцем в зеркало: "Алька, ты хорошая".

Вышла на улицу, захлопнула дверь с силой, как будто срывает досаду. Хотя только что обозвала Симона свиньей, досада была не на него, досада была на себя: следовало сидеть дома и ждать звонка, у Симона проблемы, тяжелый разговор с женой, ему совет нужен, поделиться, теплое слово, а она, Алька его, слоняется, шатается по всяким закоулкам-переулкам, как будто бродяга, своего угла нет. Нет, покачала головой Аля, Симон не свинья, это она — свинья.

Аля шла к морю, по привычке слегка отводила правую руку, кисть, при быстрой ходьбе, совершала дополнительное движение со стороны могло показаться, Аля приглашает, зовет за собой.

Аля вспомнила Сашу, его укоры, Саше не нравилось это движение, он говорил, призывное, и требовал, чтобы Аля не отводила руку, держала ближе к себе, иначе неизбежна двусмысленность. Аля отвечала, никакой двусмысленности нет и вообще никакого смысла в этом движении нет, рука двигается сама по себе, потому что так удобно. А если Саша видит по-другому, то надо обратиться к психоаналитику, и психоаналитик объяснит, откуда у Саши такое видение, пусть ищет причину в себе.

Два или три квартала Аля держала руку так, прижав к бедру, поначалу ничего особенного, было даже приятно, как будто успех, удача, жаль, Саши нет рядом, не видит, а потом — Аля пересекла улицу, прочитала название, Хаяркон, море было совсем рядом, слышен звук прибоя — почувствовала неудобство, скованность во всем теле, как будто не только правую руку, как будто обе руки, и ноги, и все тело перевязали, опутали веревками.

Мимо проехала машина, водитель помахал в окошко рукой, свернул за угол.

Аля была совсем уже рядом с отелем, подъехала машина, тот самый парень, который раньше помахал рукой в окно, сказал, чем тащиться в такую даль пешком, не лучше ли на колесах. Аля не ответила, парень проехал

вперед, остановился, пошел навстречу, предупредил Алю, "Дан" — очень дорогой отель, платят за вид на море, у кого есть деньги, пусть выбрасывают. У Али, он уверен, такой проблемы нет. Угадал? Аля пожала плечами.

— Угадал, — уверенно произнес парень. — Меня зовут Илан.

Парень был высокий, блондин, какое-то сходство с Эйтаном, глаза тоже синие, но выражение другое — как будто за глазами, которые смотрят и видны, другая пара глаз, тоже смотрят, но не видны.

— Можно показать Тель-Авив, — сказал парень. — Это моя профессия.

Аля ответила: гид не требуется: она любит гулять одна.

— Меня зовут Илан, — повторил парень.

Аля была уверена, он спросит, как зовут ее, смотрела парню в глаза, улыбалась, видно было, что ждет, наперед знает вопрос. Вопросов не было, парень повторил свое предложение — показать город.

Аля спросила: часто у Илана бывает такая потребность — показать первой встречной город?

Илан сказал Але, она не первая встречная.

— Вы не первая встречная, — повторил Илан. — Вы сами знаете: вы не первая встречная, я ждал вас.

— Илан, — Аля назвала по имени, получилось автоматически, — в девять тридцать, плюс-минус пятнадцать минут, я должна быть в отеле: меня ждут.

— В девять тридцать, — повторил Илан, — вы будете в отеле: вас ждут. Не будем терять времени.

Аля села в машину, Илан предложил, сначала посмотрим на сынов Израиля сверху, потом — изнутри.

Оказалось, сверху — тот самый дом, Мигдал Шалом, на углу Герцля и Ахад-Гаам, который, как говорил Але лотошник, достает почти до неба. Лифт поднял на тридцать четвертый этаж, во все стороны, сколько хватало глаз, раскинулся город.

— Мигдал Шалом, — Илан положил руку Але на плечо, — самый высокий наш дом, крыша Ближнего Востока.

Аля глянула вниз, закружилась голова, невольно прижалась к Илану, он обхватил рукой, было приятное чувство, хотелось, чтобы так оставалось, не отнимал руку, Илан сказал, здесь кафе, можно посидеть.

Илан предложил горячее, на десерт пирожное, кофе. Аля покачала головой: только кофе.

Илан внимательно посмотрел ей в глаза, как будто изучает, взял Алю за голову, притянул к себе, поцеловал в лоб. Аля машинально отерла пальцами. Он обнял Алю, прижал изо всех сил, как будто боится, вот-вот исчезнет, просил Алю, пусть тоже обнимет, Аля высвободила руку, было впечатление, что хочет обнять, но, нет, не обняла, наоборот, уперлась ладонями в грудь, высвободила другую руку, уперлась обеими ладонями и стала отталкивать. Зачем, спрашивал Илан, зачем отталкивать, не надо отталкивать, Аля не отвечала словами, только мотала головой, надо, и с силой оттолкнула.

— Ты права, — Илан поднял голову, смотрел Але в глаза, — веди.

Аля улыбнулась, взяла под руку:

— Ты понял. Я знала: ты поймешь.

Сели в машину. Илан сказал, время восемь тридцать, до отеля полчаса, остается еще полчаса, можно заехать в Старый порт, выпить кофе. Пересекли реку Яркон, по обеим сторонам парк, поехали вдоль берега, впереди, над морем, висел месяц — огромный, багровый, как будто залит бычьей кровью, местами разбавили водой. Илан сказал, месяц, когда он багровый, представляет мужское начало, в бледном месяце прячут свое лицо отрок или женщина. В отроках древним виделась середина, эстетическое равновесие между двумя началами — женским и мужским.

Аля отодвинулась, повернула голову, уголок губ чуть приподнят, над губой, отчетливо видно, темный, какой бывает у подростка, пух.

— Ты похожа на мальчика, — сказал Илан, рука машинально легла на тормоз, — Аля, ты — мальчик!

— Мальчик, — кивнула Аля. — Я — мальчик.

Внезапно — у берега, среди развороченных глыб бетона, по сторонам, вроде обрубки железных конечностей, торчали обломки арматуры — Илан затормозил, Алю оторвало от кресла, кинуло вперед, едва не ударилась лбом о стекло. Илан сказал, остатки земной цивилизации на чужой планете. Можно немного побродить.

Аля вышла из машины, впереди, среди обломков, каменное ложе, в лунном свете напоминало кратер, было устлано кусками поролона и ветошью. Аля остановилась, смотрела на Илана, Илан сделал шаг, Аля выставила ладони, закричала, нет, пусть не двигается, пусть стоит

на месте, Илан схватил за руку, потянул, повалил, Аля упала навзничь, она просила, не надо, машинально обняла, прижала к себе, тут же начала отталкивать, отталкивать и прижимать, отталкивать и прижимать, было ощущение, что поднимается и опускается, парит над землей, от подъемов и спусков кружилась голова, перехватывало дыхание, казалось, не выдержит, еще один заход к земле — и разобьется.

— Нельзя! — закричала Аля. — Милый, что ты делаешь! Нельзя!

— Нельзя, — повторял Илан, — нельзя!

Аля прижала пальцами позвоночник, Илан просил, крепче, пусть прижмет крепче, Аля прижала крепче, сама подалась навстречу, закричали, как будто по команде, в один голос: вместе! вместе!

Получилось вместе. Илан поцеловал Алю, стал гладить, хотел опять поцеловать, Аля спросила: долго будем так лежать?

— Сойди, — сказала Аля, — ты тяжелый.

Небо было совсем близко, звезды, Аля явственно чувствовала, смотрят на нее и видят ее, видят, как видят человеческие глаза.

— Зачем ты это сделал?

— Ты хотела этого, — сказал Илан.

Поднялись, Илан затянул молнию на брюках, Аля взяла трусики, отерла бедра, бросила трусики в воду, послюнявила ладони, провела по юбке, выпрямилась, смотрела Илану в глаза, повторила:

— Зачем ты сделал это? Зачем?

Илан сказал: Аля сама хотела, если бы не хотела...

— Мерзавец! — Аля завела руку книзу, со всего маху ударила по щеке. — Трус!

Илан схватил Алю за руку, притянул к себе, повторил, Аля сама хотела, и еще хочет, и он опять возьмет ее.

Аля, когда Илан уложил ее на землю, сама раскинула ноги, и так, с раскинутыми ногами, как будто неживая или без памяти, продолжала лежать, пока Илан делал свое.

— Вставай, — Илан поднялся, привел себя в порядок, подал Але руку.

Аля взяла камень, протянула Илану:

— На, побей меня.

Илан швырнул камень в море, засмеялся: он не для того искал ее, чтобы побить камнями или отдать другому.

— Уходи, — сказала Аля. — Я ненавижу тебя.

Илан ответил, нет, они вместе пойдут в отель, он скажет: не надо ждать — Аля уходит к нему.

— Ты взял меня силой. Ты насильник, — сказала Аля. — Я ненавижу тебя. Уходи.

Симон ждал в отеле.

— Малыш, — Симон раскрыл руки, бросился к Але, — ну, как так можно! Захотелось пройтись — ну, оставь записку, ну, звякни по телефону. Но дай знать! Я думал с ума сойду: одна, в незнакомом городе, Тель-Авив — это Тель-Авив. Слава Богу, здорова, невредима. Малыш, обещай, первый и последний раз.

Симон схватил Алю за плечи, повалил на диван, — я безумный, я потерял рассудок!

— Симон, — сказала Аля, — меня изнасиловали.

Симон нахмурился, погрозил пальцем: малыш шутит, за такие шутки — шутницу на дыбу.

— Симон, — Аля поднялась, смотрела в глаза, — я была близка с другим.

В один миг, как будто отвели с лица всю кровь, Симон сделался белый, губы синие, весь осунулся, постарел на двадцать лет, совсем старик:

— Малыш, тебя изнасиловали!

Нет, ответила Аля, не изнасиловали.

— Не изнасиловали, — повторила Аля.

Симон стал носиться взад-вперед, закричал, пусть Аля даст компендий.

— Компендий! — требовал Симон. — Компендий!

Аля спросила, что такое компендий, Симон замахал руками, заорал, от крика сорвался голос: не надо притворяться, она хорошо знает, она отлично знает — компендий! компендий!

Аля кивнула, хорошо, компендий, рассказала по порядку, как вышла погулять, хотела рассеяться, как Илан увидел ее, оказалось, работает гидом, своя машина, предложил услуги...

Мерзавец, закричал Симон, голос совсем осип, какая машина, какой гид, это профессиональный жулик, насильник, надо немедленно звать полицию, опознать, составить акт!

Симон схватил трубку, набрал номер, приказал Але: говори!

— Симон, — сказала Аля, — ты хочешь, чтобы я лгала. Я не буду лгать. Ты знаешь правду: меня не изнасиловали.

— Не изнасиловали! — Симон поднял руки, затряс над головой. — Господи, ее не изнасиловали! Чистый случай, подготовленное, заранее рассчитанное, рафинированное насилие! Она обезумела. Аля, ты обезумела! Ты еще скажи, что сама отдалась и получила удовольствие.

Аля смотрела, было впечатление, думает, не знает, что ответить. Симон опять сделался белый, как будто отвели с лица всю кровь.

— Да, — сказала Аля, — получила.

— Ложь, — замотал головой Симон, — ложь! Ты скажи еще, что было лучше, чем со мной!

Аля пожала плечами:

— Не знаю.

— Что значит не знаю! Лучше? — домогался Симон. — Отвечай: лучше?

— Да, —сказала Аля, — лучше.

— Я предвидел, — захохотал Симон, — предвидел, что будет такой ответ! Скажи еще, где: на камнях, у моря, где мы были вчера!

Да, подтвердила Аля, на камнях у моря, где они были вчера.

— Предательство! — Симон схватился за голову, прижал ладонями уши, как будто невмоготу слышать собственный голос. — Ты предала родного отца, предала мужа, предала мня! Ты всех предаешь. Зачем ты предаешь? Скажи: зачем ты предаешь!

Аля ответила, она никого не предавала и не предает. Это не предательство.

— Не предательство? — поразился Симон. — А что же это?

Аля сказала: это хаос.

— Симон, — повторила Аля, — это хаос. Ты же сам объяснял, никто не знает почему, для чего: ключи — в прошлом. Какой-то электрон залетел куда не надо, а может, наоборот, куда надо. Никто не знает.

— А воля? — Симон сел на диван, зажмурил глаза, на губах, как будто маска, застыла улыбка. — А свободная воля?

Аля пожала плечами: свободная воля? Свободной воли нет.

— Симон, — сказала Аля, — ты хорошо знаешь: свободной воли нет. Ты сам говорил: в Сингапуре бабочка махнула крылом — в Лондоне испортилась погода.

— Мы не в Лондоне, — опять зашелся в крике Симон, — мы не в Сингапуре! Бабочка, мы не в Сингапуре, — мы на Святой земле! Здесь, — Симон топнул ногой, — здесь сказано было человеку: ты не животное — ты человек, будь человеком!

Аля взяла чемодан, положила на кровать, вынула из шкафа свои вещи, стала складывать, Симон подскочил, схватил чемодан, забросил в шкаф, закричал, он сейчас покажет, есть свободная воля или нет свободной воли.

— Звони, — приказал Симон, подал Але трубку, — зови полицию — тебя изнасиловали! Зови, твоя свободная воля!

— Моя свободная воля? — Аля пожала плечами. — Я пошутила. Ничего не было. Розыгрыш.

— Розыгрыш? — переспросил Симон, глаза сощурились, совсем узенькие щелки, как будто жмурится на яркий свет. — Ты уверена: розыгрыш.

Аля кивнула: розыгрыш.

Симон засмеялся: конечно, розыгрыш. Он с самого начала знал: розыгрыш.

— Малыш, — Симон открыл холодильник, достал бутылку шампанского, поставил на стол, — ты чудовище! Ты Цирцея, ты можешь превратить Одиссея в ревнивую свинью! Ты Астарта, ты пожираешь свою жертву! Ты Сцилла и Харибда — ты дробишь человеческие кости в муку, в прах, без вида, без формы, и лепишь заново, как Демиург!

Вдруг постучали в дверь, стали дергать снаружи ручку, Аля вздрогнула, приказала Симону:

— Открой!

Симон открыл, хотел удержать человека у порога, тот с силой толкнул дверь, отвел Симона рукой к стене, чтобы не мешал в проходе, и сказал Але:

— Я за тобой. Пошли.

— Илан, — Аля сделала движение рукой, как будто представляет. — Симон, я говорила тебе: это Илан.

Илан обратился к Симону, назвал папой и вежливо спросил: как будем, по-хорошему или, наоборот, не по-

хорошему, как царь Давид, который отобрал жену у своего офицера генштаба, Урии, а самого отправил на передовую, чтоб там ему погибнуть от стрел врага?

Илан взял Алю за руку, приказал, идем, первое впечатление было, что Аля готова следовать, но вдруг, как будто напало внезапное бешенство, затопала ногами, закричала:

— Выгони его! Вон! Оба вон!

— Истерика! — замахал руками Симон. — Это истерика! Он не выйдет отсюда так! Полиция! — Симон набрал номер, закричал в трубку, от возбуждения осекся голос, — полиция! полиция!

Илан направился к двери, сказал Але, он будет ждать внизу, в холле. Симон подскочил, схватил за рубашку, заявил, в этот раз насильник не уйдет, только в руки полиции, Илан размахнулся, хотел ударить, Симон машинально отвел голову, Илан ухватил двумя пальцами за нос и повел, отступая к двери, за собой.

В коридоре продолжалась возня, потом голоса стали стихать, видно, спускались по лестнице, наконец, совсем стихло, Аля позвонила в полицию, сказала, все в порядке, приезжать не надо.

Через четверть часа вернулся Симон, с порога закричал:

— Малыш, торжествуй: сдал мерзавца — с рук на руки! — Симон открыл холодильник, воскликнул: — Еще бутылка шампанского! И в Яффу — на всю ночь!

Симон налил себе, налил Але, подал бокал, чокнулся, опрокинул торопливо, как будто водка, чуть не захлебнулся, Аля наблюдала, глаза были странные, пей, требовал Симон, пей, Аля пригубила, казалось, отпивает понемногу, Симон закричал, вдвоем, из одного бокала, стал пристраиваться, выпятил губы, Аля внезапно отвела руку с бокалом и плеснула Симону в лицо.

Симон ахнул, первое желание было ударить Алю, она стояла неподвижно, было впечатление, что ждет, Симон схватил за руку, вытер лицо и так, держась за Алину руку, упал на колени, смотрел снизу вверх.

— Не смотри так! — закричала Аля, закрыла лицо руками, Симон прижался головой к ногам, стал тереться, втискиваться. — Возьми меня, — сказала Аля, опустилась на колени, друг к другу лицом, расстегнула у Симона ремень, стянула брюки. Симон хватал, целовал, как безумный, сорвал с Али блузки, трусов не было, мелькнула мысль, Аля, пока он объяснялся, толокся с этим ублюдком, Планом, готовилась, ждала, от этой мысли совсем ошалел, забормотал, ждала, готовилась...

Когда утихли, Симон прикорнул рядом, Аля оттолкнула, спросила:

— Зачем ты сделал это? Ты видел: я без трусов.

Симон засмеялся: видел, Аля готовилась, ждала.

— Лжешь, — сказала Аля, — ты знаешь, что лжешь: трусы в море, я обтерлась, бросила трусы в море, после него, Илана.

Илан, сказал Симон, в руках полиции, получит свое.

— Ты лжешь, я звонила в полицию, предупредила, приезжать не надо. Симон, — сказал Аля, — я не люблю тебя.

Аля поднялась, пошла к двери.

— Ты не уйдешь! — вскочил Симон. — Я не отпущу, ты не уйдешь!

Аля обернулась:

— Я хочу плюнуть тебе в лицо. Тьфу! — плюнула Аля. — А теперь назови меня словом, какое у тебя на уме. Ну, — требовала Аля, — назови, не бойся, все равно потерял меня, назови же: я хочу услышать! Назови!

Аля вынула из шкафа чемодан, стала складывать вещи. На улице, под балконом, засвистели, как будто подают сигнал, вызывают. Аля выглянула. Илан, задрав голову, смотрел вверх, увидел Алю, махнул рукой, пусть выходит. Симон задернул занавес, Аля взяла чемодан, направилась к двери, Симон побежал, перегородил дорогу, прижался спиной к двери, развел руки в стороны, вроде распят, закричал, Аля не уйдет, он не выпустит.

— Я хочу, чтобы пришел Илан, — сказала Аля. — Передай Илану: я хочу, чтобы он пришел. Я хочу, чтоб он остался здесь.

— Малыш! — Симон протянул руки. — Одумайся!

— Я с Иланом, — Аля указала на кровать, — буду спать здесь. А ты, — Аля указала на диван, — будешь спать здесь.

Симон покачал головой: он не будет спать здесь.

Аля смотрела внимательно, было впечатление, разглядывает незнакомого человека, прежде не видела.

— Я с тобой, — Аля указала на кровать, — буду спать здесь. Илан, — Аля указала на диван, — будет спать

здесь. Иди, — слегка подтолкнула она его, чтобы не задерживался. — Иди.

Аля оттянула занавес, выглянула: Симон прошел мимо Илана, быстро, не глядя, как будто не знакомы, совершенно посторонние люди, завернул за угол, Илан тут же взбежал по ступенькам, Аля выключила свет, раздался стук в дверь. Аля продолжала стоять у балкона. Из-за угла снова появился Симон, видно было, едва сдерживает себя, чтобы не побежать. Илан забарабанил в дверь, позвал Алю, она не отвечала, снова раздался стук. Аля отперла, хотела включить свет, но передумала, отступила вглубь комнаты, снаружи дернули ручку, с силой, как будто решились взломать, дверь неожиданно сама распахнулась, оба, Илан и Симон, оказались в комнате одновременно, Симон бросился к выключателю, зажег свет.

Аля стояла голая, чуть расставлены ноги, руки вдоль туловища, огромные, как будто обвели черным фломастером, глаза, взгляд без фокуса, похожа на сомнамбулу, Илан и Симон смотрели, как завороженные.

— Мальчики, — сказала Аля, — возьмите меня. Кто первый?

— Симон, — сказала Аля, — ты будешь первый. Он, — Аля повернула голову в сторону Илана, — взял меня дважды. Теперь твоя очередь, приказывай: лечь на спину, на живот, встать к стене, к столу, на колени? Приказывай.

— Малыш, — наконец, сошел столбняк, вернулся дар речи. — Малыш, — закричал Симон, подбежал к дивану, схватил Алину одежду, — прикрой наготу! Он видит твою наготу!

Аля обратилась к Илану:

— Ты, — сказала Аля Илану, — будешь первый. Приказывай: выйти на балкон, на улицу, лечь на камни, на мостовую? Приказывай.

— Шантаж! Насилие! — закричал Симон. — Мерзавец, уголовник, он насилует тебя! Прикажи ему: пусть убирается вон! Пусть немедленно убирается вон! Демагог, мерзавец, насильник!

Аля легла на кровать, раскинула ноги, руки завела под себя.

— И раскидывала ноги для всякого мимоходящего! — закричал Симон, голос, как у безумного, бросился к Але, закрыл своим телом. — Я убью его! Скажи ему, я убью его!

Илан подошел к кровати, остановился, схватил Симона за штанины, стянул брюки, забросил под кровать, тут же потянул за трусы, лопнула резинка.

— Возьми меня, — сказала Аля. — Илан, разве ты не за тем пришел, чтобы взять меня?

— Ложь! — закричал Симон. — Ты обезумела! Ты убиваешь меня!

— Симон, — Аля как лежала, так продолжала лежать, глаза устремлены в потолок, — пожалуйста, умолкни, я не могу слышать твоего голоса. Когда ты кипятишься, у тебя очень неприятный голос. Пожалуйста, помолчи. Илан, иди ко мне. Вот я, иди ко мне.

Симон полез под кровать за штанами, Илан наклонился над Алей, она обняла левой рукой за шею, правую отвела в сторону, послышался легкий звон, будто лезвие ударилось о пол, Илан машинально повернул голову, хотел взглянуть, Аля внезапно закрыла глаза ему ладонью, ладонь была горячая, липкая, Илан отпрянул, провел пальцами по лицу, в глазах застыл ужас, Симон успел натянуть штаны, вылез из-под кровати, лежа, еще на полу, увидел Илана, все лицо в крови, и закричал:

— Возмездие! Я знал, я был уверен! Возмездие!

Симон оперся на руки, привстал, Аля держала правую руку на весу, кровь стекала на пол, собралась лужица. Аля наклонилась, обмакнула руку, размазала по лицу.

— Почему вы не берете меня? — спросила Аля. — Вы пришли, чтобы взять меня. Мальчики, почему вы не берете меня? Теперь вы братья, помазаны кровью матери вашей. Вот я, возьмите меня: я — Лилит, матерь ваша. — Аля помазала сосцы кровью. — Вот, возьмите от сосцов моих: чтобы насиловать, нужна сила.

— Послушай, — Симон затряс руками, — это бред, это безумие!

Аля выдернула угол простыни, захватила зубами, оторвала полосу, перевязала руку выше запястья.

— Идите, — сказала Аля.

Оба не двигались, застыли у изголовья, как будто караул, стоят на часах.

— Идите, — повторила Аля. — Вы боитесь за меня? Не бойтесь. Вы хорошие. Симон, я люблю тебя, ты хороший. Илан, я люблю тебя, ты хороший. Идите.

Илан наклонился, хотел поцеловать, Аля притянула к себе, сама поцеловала, оттолкнула и повторила: иди.

Симон, когда остались вдвоем с Алей, бросился на колени, схватил за руку, Аля выдернула руку, сказала, это лишнее, велела умыть лицо и идти.

— Иди, — сказала Аля.

— Малыш, — Симон сплел пальцы, от сильного напряжения побелели фаланги, — это безумие, это хаос! Малыш, это хаос! Я люблю тебя, я умру без тебя!

— Симон, — сказала Аля, — я не люблю тебя. Ты знаешь, я не люблю тебя. Иди.

— Малыш, — замахал руками Симон, — ты любишь меня! Немедленно, сейчас же, сию минуту ты оставляешь эту мерзкую ночлежку, снимаем квартиру, ты — полная хозяйка. Все, решено и подписано. Собирай свои лахи, поехали.

— Симон, — сказала Аля, — я не люблю тебя.

— Поцелуй меня, — Симон подставил щеку.

— Нет, — сказала Аля.

— Ты целуешь первого встречного! — возмутился Симон. — Ты целовала этого насильника, — Симон указал на место, где стоял Илан, — а мне говоришь: нет! Это — глумление, это — надругательство!

Аля сказала, она свободный человек. Чужая воля — надругательство. Надо любить. Люди должны любить. Но требовать любовь — это вымогательство, это тирания.

— Симон, — сказала Аля, — ты вымогатель, ты тиран.

— Малыш, — Симон зажмурил глаза, подставил лицо, — целуй меня: безумно, неистово, до потери сознания! Малыш, целуй!

Аля поцеловала, Симон замотал головой: еще! еще!

— Симон...

— Молчи, — остановил Симон, — ты любишь, любишь меня — это правда, все остальное — ложь!

— Милый, — Аля обняла, прижала голову к себе, на плеши, как будто красная тонзура, пятно крови, — ты прав: я люблю...

Аля поднялась, пошла в ванную, принесла влажное полотенце, вытерла Симону лицо, плешь, вытерла свое лицо, местами, как после грима, остались розовые пятна.

— Ты прав, — повторила Аля, — я люблю. Все будет хорошо. Надо только верить: все будет хорошо. Иди.

Симон по дороге чмокнул, хлопнула дверь, щелкнул замок, Аля взяла из сумки бумажку, набрала номер Эйтана.

— Ты! — воскликнул в трубке голос. — Я весь вечер жду. Почему так поздно? Места не мог найти себе, думал, не дождусь, обманула. Не обманула!

— Эйтан... — Аля запнулась, было впечатление, что ищет слова.

— Говори, — подстегнул Эйтан, — говори, милая!

— Эйтан, — сказала Аля, — меня изнасиловали.

В трубке послышался лязг, грохот, как будто ударили железом о железо.

Эйтан объяснил: шум от автомата, "Узи", автомат упал на пол, на полу ящик с минами.

— Эйтан, — сказала Аля, — побей меня камнями.

— Тебя изнасиловали? — спросил Эйтан. Аля не отвечала. — Мы найдем его. Я найду его, я убью его! — крикнул Эйтан.

— Его зовут Илан, — сказала Аля. — Похож на тебя.

— Илан? — воскликнул Эйтан. — Мой брат!

— Твой брат, — повторила Аля, — Эйтан, я хочу к тебе. — В трубке щелкнуло. — Я еду к тебе, я хочу к тебе. Милый, прикажи, позови. Позови! — закричала Аля.

14

Альбина вскочила среди ночи, растормошила Макса, закричала не своим голосом:

— Папа умер!

Макс сказал, предутренняя тоска, час демонов, с рассветом все пройдет.

— Макс, — Альбина закрыла лицо руками, — папа хотел меня видеть, папа звал меня, я слышала голос, я видела лицо, между глазами — полость, как будто на рентгене, закрасили синей краской.

— Маска Гиппократа, — сказал Макс, — вестник смерти, но не смерть. Демоны забавляются, с рассветом все пройдет. Ложись.

Альбина легла, сказала Максу, чтобы обнял, прижал изо всех сил. Макс обнял, прижал изо всех сил, Альбина бормотала, сильнее, еще сильнее, еще, наконец, утихла, расслабилась, дыхание выровнялось, Макс поцеловал в затылок, в темя, Альбина не реагировала, было впечатление, что заснула, Макс тоже стал засыпать.

Внезапно, за окном уже серело, раздался крик, крик был с клекотом, ка будто птица:

— Проклята! Проклята!

— Макс, — Альбина зажала кулаками рот, — я проклята! Папа проклял меня!

Крик повторился, гулкий звук, вроде шел изнутри, из утробы, Макс ткнул Альбину пальцем в живот, сказал: крик отсюда. Альбина оттолкнула Макса, на лице застыл ужас, глаза черные, блестят, как будто полированные, из черной лавы.

Макс заварил чаю, пол-лимона, малиновое варенье, зерно, как пороховая дробь, душистого перца, подал Альбине:

— Снадобье от нечистого. Пей.

Альбина выпила, потребовала еще, стало легче, глаза посветлели, зрачок сделался нормального размера, чуть-чуть пульсировал.

Альбина успокоилась, взяла Макса за руку, зажала между ног, обняла, и заснули.

Утром, кончили завтракать, Макс положил в портфель свои схемы, структура рибонуклеиновых кислот птеродактиля, уже стоял у дверей, принесли телеграмму: "Отец болен. Операции отказали. Срочно приезжай".

Макс сказал, надо немедленно ехать в Вашингтон, в консульство. Альбина надела очки, еще раз прочитала телеграмму.

— Я ненавижу тебя, — сказала Альбина. — Уходи.

Макс повторил, надо немедленно ехать в Вашингтон, он возьмет день за свой счет, поедут вдвоем.

— Я говорила тебе, папа болен, папа умирает! Ты не верил. Почему ты не верил? — Альбина заплакала. — Почему?

— Ты не говорила, папа умирает, — сказал Макс. — Ты говорила: папа умер. Папа не умер, папа болен. В телеграмме написано: болен.

Альбина отвернулась, зажмурила глаза, как будто не в силах глядеть:

— Макс, почему ты не оставляешь меня? Я хочу, чтобы ты оставил меня. — Альбина махнула рукой. — Уходи.

Макс сказал, надо поторопиться, консульства обычно работают до полудня, после обеда приема нет — только выдача документов.

— Я поеду сама, — сказала Альбина. — Тебе незачем ехать. Я не хочу, чтобы ты ехал.

Макс повторил, надо поторопиться, времени в обрез, позвонил в аэропорт, заказал два билета.

Альбина сказала, она не хочет самолетом, она поедет машиной.

Макс постучал пальцем в висок: безумие.

— Я еду сама, — повторила Альбина. — Поцелуй меня.

Дорога заняла три часа пятьдесят минут. Митрохин, помощник консула, сказал Альбине: везучая, еще десять минут — ждать бы до завтра. Разговаривал вежливо, Альбина сидела в кресле, Митрохин стоял рядом, просматривал бумаги, видно было, что сочувствует, велел придти после обеда.

Альбина позвонила Максу на работу, сказала, все в порядке, велели придти после обеда за визой. Макс спросил: так и сказали, приходите за визой? Не такими словами, ответила Альбина, но смысл такой: Митрохин, симпатичный парень, шатен, глаза, как у Дона Сатерленда, прочитал все бумаги, выразил сочувствие, велел придти после обеда.

Улочка, где находилось консульство, была приятная, тихая, особняки, много зелени, чуть подальше здание школы, высыпали гурьбой ученики, наполнили улицу шумом, криками, смехом, будто вдруг ожило мертвое царство, как бывает в оперных постановках, приятно было смотреть на их веселую возню, немножко завидно, Альбина вспомнила Одессу, защемило внутри, вроде потеряла что-то, навсегда, никогда уже не вернется, неожиданно возник перед глазами папа, лицо хмурое, опять с синевой между глазами, в этот раз вся полость носа синяя, поднял руку, непонятно, то ли призывает, то ли, наоборот, гонит, уходи. Альбина сделала шаг навстречу, отец отступил, Альбина закричала — это я! папа, это я! — отец вдруг исчез, в синем воздухе остался отпечаток человеческой фигуры.

После обеда Альбине вернули документы, выдали в окошко, сказали, про болезнь и состояние отца нужна телеграмма от медицинского учреждения, заверенная по форме, они там знают, какая форма, а так, без формы, ходатайства о визе удовлетворяются в общем порядке.

Альбина спросила, где Митрохин, она хочет видеть Митрохина. Сначала ответили, что Митрохина в данный момент нет, и неизвестно, когда будет. Альбина сказала, она хочет видеть Митрохина и не уйдет отсюда, пока не увидит Митрохина. А если нет Митрохина, она будет

говорить с консулом, пусть проведут ее к консулу или пусть консул сам выйдет сюда.

Альбина сидела в кресле, смотрела на часы, секундная стрелка всякий раз, перескакивая с деления на деление, дергалась, как будто требуется усилие, надо преодолеть сопротивление, иногда чудилось, что стрелка вовсе остановилась, не может сдвинуться с места.

Через четверть часа Альбина подошла к окошку, повторила, она отсюда не уйдет, будет здесь ночевать, пусть вызывают полицию.

Зазвонил телефон, девушка взяла трубку, прикрыла микрофон рукой, сделала Альбине пальцем знак подождать, кончив разговор, сказала, Митрохин вернется через час, раньше не вернется. И добавила: консульство закрывается через час.

Альбина опять села в кресло, сняла туфли, поставила рядом, придвинула к себе другое кресло, положила ноги. Вынув из сумки журнал, надела очки, стала листать. Открылась дверь, вышел мужчина, по выправке видно, военный, сказал, в советских учреждениях так сидеть не принято, для служащих и посетителей общие правила, взял кресло и поставил на место. Альбина подтянула ноги, поставила пятками на сиденье и спросила: а так принято? Оказалось, так тоже не принято.

Пока Альбина объяснялась, опять отворилась дверь, появился Митрохин, принес свои извинения и, как в прежний раз, стал подле кресла Альбины и так, стоя, будто проходил мимо, случайно, на минуту, задержался, чтобы ответить посетителю, повторил насчет медицинской формы, без которой срочной визы Альбине никто не даст, а можно ходатайствовать лишь на общих основаниях, и ни консульство, ни сам консул здесь ничего сделать не могут.

— Такое правило, — сказал Митрохин, в глазах была грустинка, видно было, по-своему, по-человечески, понимает, но изменить порядок не может, — такое правило.

Правила, ответила Альбина, для того, чтобы людям было лучше, а не хуже. А если от правил хуже, так это не правила, а издевательство и произвол. Митрохин не спорил, развел руками, видно было, сам того же мнения, но напомнил Альбине: никто ее не выгонял, она сама оставила родину, оставила мать, отца, а теперь, когда отцу худо, вспомнила, что она дочь и в трудную, роковую

минуту должна быть с отцом. А какая в этом неожиданность, что отцу стало худо и, может быть, придется закрыть ему глаза? Никакой неожиданности в этом нет, с каждым может приключиться, никакой гарантии ни здесь, Митрохин указал пальцем вниз, ни там, Митрохин указал пальцем вверх, нет.

— Слушайте, — вдруг подступили к горлу слезы, Альбина чувствовала, сейчас заплачет, — я должна повидаться в папой. Пока не поздно, мне надо увидеть папу. Понимаете, — Альбина сплела пальцы, прижала к груди, — мне надо увидеть папу!

Митрохин попросил телеграмму, долго держал перед глазами, на лбу собрались морщины, сказал, положение серьезное, сомнений нет, он постарается сделать, что в его силах, но все предусмотреть наперед нельзя, вероятно, потребуются детали, дополнения, на всякий пожарный случай, добро бы встретиться, где-нибудь в кафе, в ресторане, предварительно поговорить, обсудить.

Альбина удивилась: в кафе, в ресторане? Зачем же в кафе, в ресторане, если она сейчас здесь, можно посидеть и побеседовать, сколько надо.

Нет, сказал Митрохин, здесь нельзя: прием окончен, и так задержались. Отворилась дверь, вошел человек, тот самый, с выправкой военного, в руках держал ключи, видно было: приготовился запереть, Митрохин обратился: "Артур Иванович, одну минуту", — тот кивнул, Митрохин повторил, Альбина должна решать: да или нет.

Альбина ответила, она не может сказать ни да, ни нет, она должна подумать. Митрохин засмеялся: прямо, как Троцкий, когда Брестский мир с кайзеровской Германией заключили — ни войны, ни мира!

— Да это же ваш интерес! — Митрохин коснулся Альбининого плеча пальцами, видно было, невзначай, тут же отдернул. — Вы свою Одессу, если б так раскачивались, никогда бы не оставили. Я в Одессе был — в Аркадии, на Большом Фонтане, в Дофиновке. Я одесситов знаю, они за свою Одессу-маму горло перегрызут.

Альбина сказала, она тоже за Одессу горло перегрызет, нет на свете другой Одессы, она не Одессу оставила, и Митрохин, хоть сидит здесь, в Вашингтоне, помощником в советском консульстве, тоже знает: она не Одессу оставила, это только так кажется, что сама, по своей воле, оставила.

— Ностальгия берет, — сказал Митрохин. — Не отпирайтесь, по глазам видно, что берет. Тут к нам приходят каждый день, на коленях ползают, одежду на себе разрывают, чтоб, говорят, мы ослепли и никогда не видели ОВИРа, чтоб нас разбил паралич на дороге, прежде чем дошли!

— Слушайте, — перебила Альбина, — вы хотите, чтоб я тоже разрывала на себе одежду и ползала перед вами на коленях? Я думала, вы человек, я с вами, как с человеком разговаривала, а вы пользуетесь моментом, подлую сделку предлагаете: хочешь визу, хочешь закрыть глаза умирающему отцу — покайся! Это шантаж, — закричала Альбина, — это подлость! Вы в ресторан меня зазывали. Я знаю, для чего зазывали, давай, девочка, оголяйся, душу оголяй, тело оголяй! Я в "Нью-Йорк Таймс" напишу, я вашему маразматику Черненко, чтоб весь мир, все люди знали, напишу!

Митрохин внимательно слушал, не перебивал, человек с ключами встал у окна, повернулся спиной, некоторое время стоял неподвижно, потом вышел, притворил за собой дверь, Митрохин машинально следил, Альбина, когда остались вдвоем, сказала Митрохину:

— Вы его боитесь! Вы один другого боитесь! — воскликнула Альбина. — Не мотайте головой, по глазам видно, что боитесь!

— А с нервишками, — поцокал языком Митрохин, — у нас та-та-та, нелады. Поиздергались.

— Вам, — сказал Митрохин, — к невропатологу, к доктору надо. А страховочка есть? Небось, нет. Беда. Беда.

— Это не ваше собачье дело! — совсем разошлась Альбина.

— Так, — покачал головой Митрохин, — страховки нет.

— Врете! — топнула ногой Альбина. — Есть у меня страховка, есть!

Митрохин опять покачал головой, видно было, что не верит.

Альбина тряхнула волосами, засмеялась:

— Вы правы, я солгала: нет у меня страховки. Ну и что?

А то, сказал Митрохин, что врать приходится. Сами признались: да, солгала.

— Ну солгала, — подтвердила Альбина. — Сама солгала и сама призналась: да, солгала. А вы врете, и сами знаете, что врете, и другой знает, что врете, а не признаетесь: да, вру. Вы в страхе живете, всего боитесь, а я свободный человек, я не боюсь, что хочу, то и делаю. Как хочу, так живу, и никто не одернет, не прикажет: так живи, а так не живи!

— Свобода, — сказал Митрохин, — это познанная необходимость.

— Это кто сказал, — скривилась Альбина, — Мавра Ильич, Павлик Матросов, Зоя Космодемьянская?

Митрохин не отвечал, смотрел пристально, лицо изменилось, глаза холодные, с прищуром, как будто целится из ружья, не верилось, что пять минут назад приглашал в кафе, в ресторан.

— Приструнить охота? — подмигнула Альбина. — Или того, пристрелить?

— Скажите, — спросил Митрохин, — вам не стыдно фиглярничать? Перед собой не стыдно?

— Перед собой? — Альбина задумалась. — Перед собой да, стыдно. А перед вами нет, не стыдно. За вас стыдно, а перед вами нет, — повторила Альбина, — не стыдно. Вы обещали помочь с визой. Поможете?

— Встретимся, — сказал Митрохин. — Позвоните в шесть. О'кей?

Альбина сообщила Максу: она задерживается в Вашингтоне, Митрохин пригласил в ресторан. И объяснила: надо для визы.

— Это провокация. Альбина, — сказал Макс, — это провокация.

Да, подтвердила Альбина, провокация. Но надо убедиться: это провокация.

Макс спросил: для чего убедиться?

— Хочу, — сказала Альбина, — убедиться, что они сволочи.

— Они сволочи, — сказал Макс. — Откажись.

— Макс, — спросила Альбина, — ты знаешь, что такое свобода? Свобода — это познанная необходимость.

— Это провокация. Откажись.

Альбина спросила:

— Ты не хочешь, чтобы я встречалась с Митрохиным?

Макс ответил: Митрохин не Митрохин, не имеет значения, Митрохин — пятое колесо в телеге.

— Макс, — сказала Альбина, — не жди меня: я остаюсь на ночь в Вашингтоне.

В шесть, как договорились, она позвонила Митрохину. Митрохин предложил встретиться у Вилли, ресторан на Дюпон-серкл.

Заняли столик у открытого окна, решетчатая ограда, с улицы все видно, Альбина кивнула:

— Не боитесь?

— А чего бояться? — Митрохин усмехнулся, подмигнул свойски. — Дело привычное: выполняем задание.

— Говорят, сотрудники консульства — все офицеры ГБ. Митрохин, скажите правду: вы тоже гэбэшник, офицер ГБ?

Митрохин спросил: где говорят, на Брайтон Биче говорят? Если на Брайтон Биче, тогда об чем разговор — на Брайтон Биче все знают, сведения из первых рук, сами каждый день характеристики шлют друг на друга.

— Митрохин, — обратилась Альбина, — вы хотите меня завербовать? Офицер из ФБР предупреждал меня: при малейшем подозрении на вербовку или иные усилия со стороны советских агентов немедленно известить ФБР. Митрохин, займите дайм: я должна позвонить в ФБР. Телефон рядом. Не вздумайте улизнуть в мое отсутствие.

Митрохин сказал, он пойдет с Альбиной, ему тоже надо позвонить в ФБР, он сообщит о намечающейся поездке Альбины в Союз, под предлогом визита к больному отцу.

— Вы врете! — Альбина ударила кулаком, за соседним столиком обернулись. — Вы знаете, что врете! Папа действительно болен, папа умирает, я должна увидеть его, я здесь, потому что мне нужна виза. Дайте мне визу!

— Вас не силком приволокли, — сказал Митрохин. — Вы сами пришли на встречу с советским должностным лицом.

— Вы врете, — сказала Альбина, — я не сама пришла: вы заставили меня придти. Я знала, это провокация. Мне говорили: не ходи, откажись, они сволочи. Я убедилась: вы сволочи! Но теперь вы у меня в руках, с вами по-другому нельзя: или виза — или расследование ФБР, и Митрохин объявляется персоной нон грата!

Митрохин не отвечал, по глазам видно было, думает о своем.

— Свобода, — повторил Митрохин давешние слова, — познанная необходимость. Познайте необходимость: мы

не дадим вам визы. Вот вам дайм, — Митрохин положил на стол монету, — звоните в ФБР.

Альбина покачала головой: она не будет звонить, она поднимет крик, пусть все видят, пусть знают, каких сволочей посылает сюда этот маразматик Черненко.

— Кричите, — Митрохин обвел зал рукой, подозвал официанта, заказал бутылку содовой.

— Я ненавижу вас, — Альбина закрыла глаза, тело чуть раскачивалось, — если бы вы знали, как я ненавижу вас!

— Мы знаем, — Митрохин налил себе содовой, — как вы ненавидите нас. Чем больше будете иметь претензий к себе, тем больше будете ненавидеть нас. По Фрейду.

Альбина сказала, в данный момент у нее только она претензия к себе: как она могла опуститься до встречи с ним, с Митрохиным.

— Митрохин, — обратилась Альбина, — вы понимаете, как это унизительно — встречаться с вами. Митрохин, вы боитесь меня. Вы — трус. Советская власть сделала вас трусом, трусы послушны, советская власть любит послушных. Митрохин, — Альбина наклонилась, провела у Митрохина ладонью по щеке, — я нравлюсь вам. Вы не встанете, не уйдете, вы будете сидеть и слушать, потому что я нравлюсь вам, и вы не в силах сказать себе: она тебе враг — встань и уйди.

Митрохин взял Альбину за руку, сжал пальцы:

— Вам больно. Успокойтесь.

— Мне не больно! — Альбина выдернула руку. — Не обольщайтесь: плакать не буду. Дадите визу — вам честь, не дадите — катитесь к чертовой матери на зеленом катере! Глумиться надо мной — это вы могли там, у себя. Здесь — руки коротки.

Митрохин улыбнулся, покачал головой: не коротки. Не коротки, повторил Митрохин, иначе бы не сидели здесь, не гутарили, как говорят в родных краях его, на тихом Дону. Кстати, Митрохин наморщил лоб, видно, только что пришло на ум, донские казаки — корнем из бродников. О бродниках в летописях есть, что не славянского роду, то ли тюрки, то ли хазары. Кто знает, пожал плечами Митрохин, может родичи тьмутараканским раббинам. Прошел слух, в Одессе, в архивах новороссийского генерал-губернатора, нашли метрическую запись: настоящая фамилия Шолохова — Шолохов-Алейхем.

— Митрохин, — сказала Альбина, — вы — юдофоб. Юдофобство у вас в крови.

Митрохин покачал головой: дети оставляют отцов, отцов хоронят чужие — когда такое было у евреев? Один из тысячи просит: дайте визу, хочу похоронить отца.

— У вас вина перед отцом, — сказал Митрохин. — Вы предали своего отца. Пятьдесят лет назад говорили: подвиг пионера. Вы опоздали на пятьдесят лет.

— Мерзавец, — сказала Альбина, глаза сделались черные, как будто одни зрачки, — Митрохин, вы мерзавец и палач.

— Вы предали отца, — продолжал свое Митрохин, — предали отчизну. Я для вас — палач, великий инквизитор. Вы ждете, вы требуете от меня милосердия: дайте визу, хочу покаяться перед отцом, хочу спасти душу, спасите мою душу!

У Альбины пересохли губы, машинально облизнула языком, взяла стакан, налила содовой, Митрохин предложил позвать официанта, пусть принесет лед, поднял голову, стал искать глазами, Альбина держала стакан против груди, видно было, ждет, Митрохин увидел официанта, сделал пальцами знак, чтобы подошел, Альбина внезапно, резким движением вперед, от груди, выплеснула воду Митрохину в лицо.

Люди за соседним столиком обернулись, в глазах было недоумение, Митрохин пальцами стряхивал капли с пиджака.

Альбина встала, собралась идти, но тут же придвинула стул, опять села, сказала Митрохину:

— Зовите полицию. Я жду: зовите полицию.

Митрохин взял салфетку, не спеша вытерся, сказал, долг платежом красен.

— Ненавижу, — Альбина зажмурила глаза, губы скривились, было впечатление, вот-вот заплачет.

— Ненависть, — сказал Митрохин, — удел эмиграции. Ненависть — рак души.

— Рак души, — повторил Митрохин. — Рак души — тяжкий недуг. Вы хвораете раком души, ваша ненависть — раковые корчи.

— Зовите полицию, — сказал Альбина. — Митрохин, вы трус! Трус и демагог. Вы не позовете полицию: вы боитесь огласки. Семьдесят лет трясетесь от страха: только бы не увидели, не узнали! Зовите полицию, — топнула ногой Альбина, — иначе я позову!

Официант принес лед, поставил стакан перед Альбиной, повернулся, чтобы идти, Альбина остановила его:

— Я оскорбила этого господина, вызовите полицию: пусть арестуют меня. Хочу, чтоб арестовали меня.

Митрохин усмехнулся, как будто знает что-то и видит, чего Альбина не знает, не видит:

— Накличете.

— Зовите полицию! — повторила Альбина, официант, по виду кубинец, глянул на Митрохина, на Альбину, ответил, в ресторане таксофона нет — таксофон на улице, за углом.

Альбина сказала Митрохину, пусть сидит, не уходит, она сама позвонит, поднялась, сумку оставила на стуле, пошла к выходу.

Митрохин поднялся вслед, хотел взять Альбину под руку, вроде уходят вдвоем, Альбина отдернула руку:

— Трус! Фигляр!

— Оглянитесь, — сказал Митрохин, — вас не одобряют. Ваши новые компатриоты бдят о своем покое — вы посягаете на их покой. Оглянитесь, — повторил Митрохин. — Вас не одобряют.

Альбина машинально оглянулась, ответила Митрохину, она не за одобрением приехала, она за свободой приехала, свободному человеку плевать, одобряют его или не одобряют.

Митрохин покачал головой: Альбина пришла к нему за визой. Виза — это одобрение.

— Это у вас, в России, — Альбину всю передернуло, как будто судорога прошла по телу, — виза — одобрение! У всех других, у людей, виза — это виза, отрабатывать не надо!

Митрохин поклонился:

— Мое почтение. Телефон знаете, дорогу знаете, будет надобность — милости просим, без церемоний.

Митрохин повернулся, быстро пошел к выходу, как будто торопится, ждут неотложные дела.

— Митрохин, — крикнула Альбина вдогонку, — мне жалко вас. Слышите, я не сержусь на вас: я жалею вас!

Альбина позвонила Максу.

— Макс, — сказала Альбина, — я сделала, как ты хотел.

Я прогнала Митрохина.Я не остаюсь на ночь в Вашингтоне, я выезжаю в Нью-Йорк. Ты доволен?

Макс сказал, не следует пускаться на ночь в дорогу. По радио передавали, ожидается шторм. Лучше переждать ночь в Вашингтоне, номер где-нибудь в "Вотергейте" или рядом — в этом есть своя сермяга. Утром можно сходить в музей. Он готов выехать метролайнером, два часа пятьдесят минут дорога, завтра вернутся вместе. Ему тоже не мешает встряхнуться, целый день вертишься на стуле, как на галере, только цепи скрипят.

— Нет, — сказал Альбина. — Я не хочу, чтобы ты приезжал.

Альбина повесила трубку, воротилась в ресторан за сумкой. Сумки не было, ремешок висел на ограде. С трудом сдержала себя, на мгновение охватило отчаяние, позвала менеджера, он покачал головой, видно было, сам огорчен, сказал, столик у ограды — это почти на улице, ничего не стоит прихватить.

Ключ от машины был в кармане. Альбина обрадовалась, удача, обычно клала ключ в сумку, показала ключ менеджеру, сказала, надо выпить за удачу, заказала амаретто, официант принес, менеджер чуть пригубил, извинился, служба, оставил визитную карточку, сказал, любой заказ, никаких проблем, чек можно выслать когда удобно.

Альбина заказала еще, выпила, закурила, зажмурила глаза, как будто дремлет, у столика остановился мужчина, спросил, можно ли присесть, Альбина подняла голову, вздрогнула, похож, как две капли воды, на Фрэнка О'Брайена — высокий, блондин, серые глаза, нос немножко крючком, пшеничные усы — кивнула, можно.

Поначалу молчали, у Альбины погасла сигарета, мужчина торопливо поднес зажигалку.

— Меня зовут Фрэнк, — сказал мужчина.

— Фрэнк, — кивнула Альбина. — Вас оставила жена.

— Оставила, — кивнул Фрэнк.

— А у меня умирает отец, — сказал Альбина. — Кроме того, меня обворовали.

— Вам нужны деньги, — спохватился Фрэнк, полез в карман за бумажником, вынул, положил на стол, — вам нужны деньги на дорогу, пожалуйста. Пожалуйста.

— Фрэнк, почему вы обратились ко мне? — спросила Альбина. — Объясните, Фрэнк: почему вы обратились ко мне?

— Я видел, — сказал Фрэнк, — вы сидели с мужчиной...

— Это не мужчина, — перебила Альбина. — Это — Митрохин, из советского консульства. Фрэнк, вы агент ФБР? Фрэнк, — сказала Альбина, — я знаю: вы — агент ФБР. Что вам нужно от меня? Говорите: что вам нужно? Вы хотите знать, завербована ли я? Да, завербована. Я в свободной стране: хочу — вербуюсь, хочу — нет. Что еще?

— Это шутка, — Фрэнк улыбнулся, сплел пальцы, розовые суставы побелели. — Это шутка.

— Вас не зовут Фрэнком, — сказала Альбина. — Фрэнк — это кличка. Вас зовут Джон. Мама и папа называли вас Джонни.

— Я понимаю, — бормотал Фрэнк, — я понимаю: вы из России. Везде КГБ, на каждом шагу КГБ. Все доносят. За всеми следят. У русских паранойя: всех подозревать.

— Джонни, — Альбина прищурилась, весело подмигнула, — хотите подцепить девочку, хотите переспать? Время — деньги. Милый, пойдем. Куда идти?

— Я уйду, — сказал мужчина. — Вы хотите, чтоб я ушел? Я уйду.

Мужчина вынул визитную карточку, хотел подать, Альбина мотнула головой, отвернулась: нет. Мужчина вышел, через стекло видно было, остановился у дверей, ждет. Альбина кликнула официанта, взяла счет, перебралась через ограду, пошла к машине, вернулась с полдороги, мужчина заглядывал в дверь.

— Вы обманули меня. Я вернулась, чтобы сказать вам: вы обманули меня.

— Да, — сказал мужчина, — обманул.

— Все в порядке, — Альбина улыбнулась, помахала рукой. — Чао.

Мужчина предложил, он проводит до машины, Альбина ответила, нет, велела стоять, где стоит, проехала мимо, дала сигнал, в зеркале увидела: мужчина держит в руках записную книжку, листает, ищет страницу, нашел, сделал запись, глянул вслед, помахал рукой, зашел в телефонную будку.

Машину, когда вышла на шоссе, держала на восьмидесяти милях, в левом ряду, быстро обгоняла правый ряд, досада рассеялась, появилось приятное чувство, все будет хорошо, папа не умер, папа жив, визу дадут, с Митрохиным, конечно, надо было по-другому, не тыкать

шилом, как будто слон, слоновья шкура, а надо было по-хорошему, по-доброму, пусть не боится, пусть не стыдится, пусть откроет, покажет свое человеческое лицо.

Макс, она все время чувствовала, давил и добился своего. И с этим, Фрэнком-Джоном, тоже давил. А оба — один и другой, русский и американец — тянулись к ней. Макс не понимает и никогда не поймет. У Макса глупое сердце: этика, мораль! Какая этика: этика — правила, а правила для роботов. Человек не робот, человеку не правила нужны, человеку нужно, чтобы ему хорошо было. Правда, от которой плохо, человеку не нужна, человеку нужна правда, от которой хорошо.

Машины проносились мимо, как будто одну за другой безостановочно выбрасывала катапульта. Возникло тревожное чувство: люди не управляют машинами, машины мчатся сами по себе.

Набирая скорость, Альбина в первые секунды опасалась: машина сделает что-то не то, не так. Но машина сделала все как надо, страх прошел, хотя прежнее ощущение, что люди не управляют машинами, машины мчатся сами по себе, не оставляло.

Оставалось смутное чувство вины, досады, вроде не доделала чего-то, что могла сделать, что должна была сделать, перебрала в памяти весь день, приходили на ум папа, Митрохин, американец, смотрела своими глазами, смотрела со стороны, глазами Макса, нет, все делала, как надо: в действиях не было ничего, за что следует корить себя.

Не стало прежнего чувства, будто Макс давил и делала все, как хотелось Максу. Хорошо, что не осталась в Вашингтоне ни ради Митрохина, ни ради этого, как его, Фрэнка-Джона, но не осталась сама, по собственной воле, а не потому, что так хотелось Максу. Макс, понятно, хотел того же, чтоб не оставалась на ночь в Вашингтоне, но решила, в конце концов, она сама.

Всю дорогу держалось хорошее настроение. Сделала одну остановку, выпила чашку кофе, есть не захотелось, ужинать будет с Максом, где-нибудь у итальянцев, у китайцев — Максу будет приятно.

Должны быть известия из Одессы. Альбина чувствовала, должны быть известия — телеграмма, телефонный звонок. Надо прибавить скорость, а то минута, полминуты — прозеваешь, потом будешь кусать локти.

Насчет визы Альбина теперь не сомневалась: визу дадут. Митрохин сделает. Она понравилась Митрохину, по-своему интересный парень, были свои планы, у всех свои планы. Вышло не вышло — Митрохин сделает, иначе сам себе в глаза не сможет смотреть. Он из таких, со спортивным комплексом: перед самим собою надо подтверждать свою квалификацию. Альбина чувствовала: с Митрохиным еще будут встречи. Ей встречи не нужны — ему нужны, Митрохину. Кукушка высунулась из дупла: ку-ку, русские люди, подтягивайте гири!

В Бруклин, с Нью-джерсийского тэрнпайка, самая короткая дорога через Стэйтен-Айленд. Мысли так захватили, что не заметила, как проскочила выезд. Теперь надо было ехать через Холланд-туннель, через Манхэттен — дорога вдвое длиннее, лишние полчаса, в измерениях Макса, полчаса, как вечность.

Альбина прибавила скорость, следила в зеркале, нет ли полиции, полиции не было, прибавила еще. В Джерси-Сити, когда миновала тэрнпайк, следом шел старый драндулет, вдруг завыла сирена, на крышу выставили мигалку, приказали в мегафон, чтобы остановилась. Из машины вышел человек, кряжистый живот распирал пиджак, полы круто расходились на боках. Двигался не спеша, враскачку.

Аля хотела выйти навстречу, человек приказал, пусть сидит, не выходит, показал полицейский жетон, потребовал водительские права. Альбина сказала, в Вашингтоне у нее украли сумку, там были все документы, деньги, у нее есть свидетели, полицейский посветил фонариком в лицо, перебил:

— Регистрация, страховка, удостоверение личности.

Альбина сказала, пусть уберет свой фонарь, чтоб не слепило глаза, она хочет видеть, с кем разговаривает, и повторила, что в Вашингтоне украли у нее сумку, в сумке были все документы и деньги, пусть позвонят в Вашингтон, в ресторане, менеджер дал ей визитную карточку, он подтвердит.

Полицейский велел оставить ключ в машине, Альбине приказал выйти, она ответила, что торопится, ее ждут дома, волнуются, можно поехать следом, она покажет, где живет, у Макса есть все документы, он предъявит.

— Выйдите из машины, — повторил полицейский, от-

ворил дверь, схватил за руку, у запястья, — вы арестованы.

Альбина выдернула руку, спрятала за спину, отодвинулась вглубь, полицейский позвал своего напарника, отворил вторую дверь, пусть зайдет внутрь, подтолкнет Альбину сзади, сам полез спереди, живот упирался в баранку, не давал протиснуться, зад заполнил весь просвет, от двери до спинки сиденья, Альбина закричала, чтоб не смели к ней прикасаться, напарник изловчился, больно надавил под лопатку, Альбина машинально подалась вперед, руками уцепилась за баранку, полисмен в одно движение набросил наручники, щелкнули замки.

Теперь оба — один толкал вперед, от себя, другой схватил за руки, разводил в стороны, наручники больно саднили кожу — высаживали Альбину из машины, она цеплялась ногами за рычаг скоростей, за тормоз, за педали, кричала, это ее машина, ее собственность, ее территория, никто не имеет права посягать.

— Моя собственность, — кричала Альбина, — моя территория!

Альбину выволокли, пересадили в полицейскую машину, выписали пять квитанций, полисмен клал Альбине на колени одну квитанцию за другой и объяснял: за превышение скорости, за неосторожную езду, за езду без страховки, без прав, без регистрации.

Привезли в участок. Альбина просила снять наручники, говорила, ей больно, они специально делают ей больно, чтоб показать свою силу, свою власть. Она расскажет начальнику, как издевались над ней, как делали больно, она покажет ссадины на руках.

Когда приехали, Альбина сказала, она должна позвонить домой, чтоб не волновались. Она выехала из Вашингтона, и дома, наверное, с ума сходят, не знают, где она. Дежурный офицер ответил, отсюда звонить нельзя, телефоны служебные. Альбина сказала, пусть вызовут начальника, она хочет говорить с начальником. Пришел сержант, внимательно выслушал, Альбина показала, как силой разводили ей руки, чтобы наручники саднили кожу, показала руки, рассказала про телефон, что просила позвонить домой, дома волнуются, рассказала про отца, отец в России, тяжело болен, умирает, каждую минуту она ждет известий, а ей ответили: телефон служебный, звонить нельзя, обратился к дежурному, указал пальцем

на Альбину, спросил: кто привел? Дежурный ответил: Патерностер и Джексон, составляют протокол.

Альбина была уверена, что сержант, симпатичный мужчина лет под сорок, виски с проседью, глаза синие, синева, как на полотнах Рокуэлла Кента, где эскимосы играют в мяч, прикажет снять наручники, машинально протянула руки, сержант глянул мельком, повернулся спиной и пошел к себе в конторку.

— Эй, — закричала Альбина, — снимите с меня наручники!

Джексон продолжал стучать на машинке, подошел Патерностер, указал кивком на железную дверь с окошком, хотел взять Альбину под руку, она увела руку, повторила, пусть снимут наручники, села на скамью, прижалась к спинке и заявила, что не двинется с места, пока не снимут наручники.

Патерностер крикнул, пусть вызовут Алису. Пришла Алиса, по цвету вся шоколадная, в коричневой рубашке, коричневых штанах, коричневых туфлях, сама стала слева, Патерностеру велела стать справа, схватили вдвоем под руки, Альбина упиралась, пришлось тащить волоком, Альбина кричала, не надо в камеру, она не хочет в камеру, Патерностер открыл дверь, откатил решетку, потянул Альбину с силой, Алиса засмеялась, эй, не так пылко, ночь еще впереди, Патерностер вышел, Алиса осталась в камере, сняла с Альбины наручники, велела раздеться, бюстгальтер, трусы тоже, Альбина сказала, нет, если хочет, пусть сама раздевает ее, Алиса пошла на уступку, ладно, пусть расстегнет бюстгальтер и спустит трусы до колен, велела Альбине повернуться лицом к стене, поднять руки, заглянула под мышки, приказала, пусть разведет ягодицы, несколько секунд смотрела молча, сказала, о'кей, можно одеваться, пояс, очки, носовой платок, сигареты сбросила в пакет, пакет забрала.

— Слушай, девочка, не дури, — сказала Алиса, — веди себя хорошо: твой интерес.

— Алиса, — Альбина натянула трусы, надела бюстгальтер, — они мерзавцы, они самцы. Передай им: я презираю их.

— Не дури, — погрозила пальцем Алиса, — веди себя хорошо: твой интерес.

Загремела решетка, хлопнула дверь, Альбина осталась

одна. Измерила комнату: четыре шага вдоль, четыре поперек, по диагонали пять с половиной шагов.

Альбина подошла к решетке, постояла, взялась руками, затрясла:

— Эй, кто-нибудь, отведите меня в туалет!

Постояла, послушала, никто не подходил, снова затрясла:

— Хочу писать, отведите меня в уборную!

Поднялась заслонка, глаза, как будто сами по себе, отдельно от человека, смотрели внимательно, Альбина повторила, пусть отведут ее в туалет, она хочет писать.

— Пойдешь писать, когда будет у меня нужда, — ответил голос Патерностера.

— Сукин сын, трус, — Альбина ударила ногой в решетку, — пусть лопнет у тебя мочевой пузырь! Говорю тебе, — захохотала Альбина, — воистину говорю: лопнет!

За дверью, как будто солдатская казарма, загоготали в ответ. Альбина, чтобы не слышать, заткнула пальцами уши, все равно было слышно, прижалась спиной к стене, раскинула руки, похоже на распятие, и запела:

Я богата — вы бедны,
Я свободна — вы рабы,
Страх и слезы — ваш удел,
Смех и радость — мой придел!

Пока пела, слышала только свой голос, было ощущение, что одна, никого вокруг. Когда кончила, поначалу стояла тишина, вроде в самом деле одна, никого вокруг, но тут же, как будто по команде, опять поднялся за дверью гогот:

— Русский поп! Иван Грозный, Сталин, Хрущев, Андропов, КГБ!

— Нацисты! — закричала в ответ Альбина. — КГБ!

— Ку-ку, — Патерностер постучал пальцем в висок, захлопнул дверь, поднял заслонку, — ку-ку! Жди гостей.

Пришли двое, с виду похожи на полисменов, в белых безрукавках, представились:

— Медицинская служба.

Один, рыжий, долговязый, сухой, смотрел молча, другой, пузан, вертлявый, по-крестьянски загорелое лицо, весело подмигнул:

— Какой теперь год? Какое время суток: день, ночь? Где находимся?

— Адрес? — спросила Альбина.

Не, засмеялся пузан, не адрес: какое место — апартаменты, кино, диско?

Альбина сказала:

— Диско.

Не, замотал головой пузан, не диско.

— Отведите меня в туалет, — сказала Альбина, — мне надо помочиться.

Он повернулся, помахал на ходу рукой, громко ответил, это не его функция, надо обратиться к дежурному или к сержанту.

В углу стоял табурет, Альбина перевернула кверху ножками, получилось вроде стульчака, присела, поддерживая себя руками, в паху невыносимо теснило, давило, казалось, еще мгновение, лопнет, взорвется.

— Нет, — Альбина вскочила, отшвырнула табурет, пнула ногой, — нет!

Тут же отпустило, только в крестец отдавала боль, будто свежая рана.

Послышались голоса, один гортанный, срывался на визг, Альбина догадалась, привели арестованного, загремела дверь, отворилась, на пороге стоял Патерностер, откатил решетку, велел Альбине завести руки назад, набросил наручники. Прибыл новый постоялец, надо освободить апартаменты, ей приготовили в другом месте: тут, в камере, она сама голосила, там будет у нее целый хор, птички все, как одна, певчие.

В машине, по дороге в тюрьму, Альбина сказала Патерностеру:

— Патерностер, вас никогда не любили. Вас никто не любил. Вы мечтали о славе — у вас нет славы, вас знают только ваши жертвы.

— Это — слава, — сказал Патерностер. — Жертвы — это слава. У кого нет жертв — нет славы.

— Посмотрите на свою грудь, — сказала Альбина, — Патерностер, вам сорок лет, посмотрите на свою грудь: где ваши ордена, где медали? У вас нет ордена, у вас нет медали — начальство ставит вас ни во что.

— Я — офицер полиции, — Патерностер дернул головой, — я представитель закона. Вы оскорбляете офицера полиции при исполнении служебных обязанностей.

— Патерностер, — сказала Альбина, — вы не представитель закона. Вы глумитесь над человеком, вы глумитесь над законом. Бессилие гложет вас. Вы не можете прикос-

нуться ко мне. Я недоступна вам. Это бесит вас, вызывает ярость. Чтобы прикоснуться ко мне, вы должны надеть на меня наручники.

Подъехали к тюрьме, Патерностер повел Альбину через темный двор, между машинами, стояли одна впритык к другой, приходилось протискиваться. Патерностер оттянул наручники, дернул с силой, Альбина закричала, больно, она будет звать на помощь, Патерностер схватился за револьвер, приказал замолчать, иначе пристрелит на месте.

Альбина остановилась, повернулась лицом к Патерностеру, подставила грудь:

— Стреляй! Что же ты не стреляешь? Стреляй!

Патерностер взял Альбину за плечи, насильно повернул лицом вперед, Альбина предупредила, если еще раз притронется к ней, она бросится на землю, пусть стреляет, убивает, она не двинется, пока, живую или мертвую, не уволокут ее отсюда.

Дежурный принял документы, пришла Джорджия, лицо, наверное, от неонового света, синее, лиловые губы, впечатление, что резиновые, вздуты до предела, чуть ткнуть, прижать, лопнут, завела Альбину в камеру, велела раздеться, Альбина сняла юбку, блузку, бюстгальтер расстегнула, трусы спустила до колен, как было с Алисой, Джорджия сказала, она не Алиса, она Джорджия, пусть скинет все, поставила лицом к стене, велела раздвинуть ноги, развела руками ягодицы, повернула лицом к себе, объяснила, некоторые прячут иголки, лезвия, у одной нашли шприц во влагалище. Альбина сказала, ей нечего прятать во влагалище, ее взяли с дороги, у нее украли документы. Джорджия хотела провести рукой, убедиться, что ничего не спрятано, Альбина сказала, нет, не позволит, сама провела пальцами, Джорджия наклонилась, внимательно осмотрела.

— Ты красивая, — сказала Джорджия. — Все у тебя красивое. Одевайся. Куришь? Возьми папиросы. В карман не клади, в кармане могут увидеть. Спрячь под мышкой.

Джорджия водила Альбину из комнаты в комнату, сняли отпечатки пальцев, сделали фото, заполнили форму, велели подписывать. Альбина сказала, она без очков, очки забрали, подписывать не будет.

Отвели в общую камеру, снаружи, за решеткой, висел

телефон. Надзиратель сказал: можно звонить, давай быстрее, пока не отвели на этаж, с этажа звонить нельзя.

Макс поднял трубку по первому звонку.

— Макс, — сказала Альбина, — я в тюрьме. Запиши адрес.

— Ты жива, здорова? — перебил Макс. — Жива, здорова?

— Запиши адрес, — повторила Альбина. — Надо внести деньги, залог. Сто восемнадцать долларов. Сто восемнадцать. Все, меня уводят на этаж, в камеру.

Макс крикнул, сейчас, одну минуту, надзиратель нажал рычаг, забрал трубку, из трубки шли еще звуки, видно, не дожал рычаг, повесил трубку, звуки прекратились.

Альбина сказала:

— Вы злой. У вас злое сердце. Вы причинили боль не мне — вы причинили боль другому человеку.

— Давай, — надзиратель засмеялся, громыхнул замком, — не крути шары. Экипаж пришел, садись, отвезут в апартаменты.

Пришла девушка, смуглая, глаза раскосые, похожа на китаянку, принесла балахон, велела переодеться. Альбина сказала, зачем этот маскарад, сейчас за ней приедет муж, внесет залог, она поедет домой, будет ночевать дома.

Девушка покачала головой: пока муж приедет из Бруклина, пока оформят залог, пока начальник подпишет, пройдет ночь, в интересах самой Альбины лечь и поспать нормально, как спят люди, а не томиться в ожидании ночь напролет.

— Ты хорошая... — Альбина, хотела назвать по имени.

— Хуанита, — подсказала девушка.

Альбина улыбнулась:

— Ты хорошая, Хуанита.

Альбина, когда надевала балахон, машинально подняла руки кверху, про сигареты, которые оставила Джорджия, забыла, пачка упала на пол, Хуанита подняла, покачала головой:

— Вы хотели меня обмануть.

Дежурная на этаже приняла Альбину, повела в камеру, по дороге миновали уборную, два писсуара, унитаз без сиденья, железная дверь сорвана с петель, приставлена сбоку, Альбина сказала, ей нужно по малой нужде, пусть дежурная подождет, та кивнула, давай, только по-быст-

рому. По-быстрому не получилось, Альбина объяснила, наверное, спазм, дежурная посоветовала, пусть потеребит пальцем, некоторым помогает. Альбина скривилась, потребовала от дежурной, чтоб вышла, не стояла над головой, та рассердилась, велела Альбине встать с унитаза, а то расселась, как будто у себя дома, в кресле.

— Ты злая, — сказала Альбина. — Вы все злые здесь.

— Давай писай, — ответила дежурная. — Поработаешь здесь, с такими, как ты, будешь доброй! Ну что, не писается? Давай потереблю.

Альбина отказалась: не надо теребить, все равно не поможет — у нее спазм. Надо ждать, пока пройдет спазм.

Пошли, сказала дежурная, ждать некогда, Альбина тут не одна.

Камера была в дальнем конце коридора. Пока дежурная оставалась в коридоре, стояла тишина, было впечатление, что здесь, в Альбининой камере, кончается зона, где обитает человек. Задвинув решетку, дежурная пошла по коридору, быстро цокали, затихая, каблуки. Когда совсем затихли, из соседней камеры окликнули:

— Эй, девочка, покажись!

Альбина ответила, она не может показаться, камера закрыта на замок, в камере засмеялись:

— Вот падлы, на замок! Ну ничего, давай, покажись, и нас поглядишь.

Из камеры вытянулась черная рука, с зеркалом, Альбина увидела себя, потом, как будто волшебный фонарь, появилось одно лицо, другое, оба черные, очень похожи, Альбина сказала девушкам, наверное, сестры, те засмеялись, сестры, сестры, только папы и мамы разные, а так все общее, напополам.

— А ты краля, — сказали девочки. — С работы взяли?

Перебивая одна другую, девочки стали жаловаться: условия для работы — жуткие. Теперь с этим эйдсом все от страха с ума посходили: и клиенты, и полиция, и сама вся трясешься. А все от гомиков, от педерастов, вся зараза от них. Говорят, доктора скоро лекарство найдут. А пока найдут — каждый день убытки, хоть ноги протягивай, подсчитать страшно. Другую работу искать, что ли? А какую?

Альбина объяснила, она не с работы, она живет в Нью-Йорке, возвращалась домой из Вашингтона, превысила скорость, полиция взяла с дороги.

Девочки спросили: а в Нью-Йорке как? Там мэр ихний, Коч, сам, говорят, педераст, тоже, небось, гоняют. Альбина объяснила, она возвращалась домой, из Вашингтона, дома ждал муж.

— Муж, — повторила Альбина.

— Муж? — переспросили девочки. — А ну, покажись еще раз, посмотрим.

Из-за решетки высунулась та же рука, повертела зеркало, у Альбины было странное чувство, вроде она не здешняя, из другого мира, аборигены наблюдают, изучают пришельца.

— Муж, — прогугнила одна, прогугнила другая, и тут же обе зашлись в смехе. — А у мужа твоего жена есть? Ты спроси у него: "Муженек, есть у тебя жена или так, бобыль при живой жене?"

Девочки постучали в стенку. Альбина не отвечала. Опять постучали, спросили про травку: травка есть?

— Ты не молчи, — сказали девочки, — ты отвечай, когда спрашивают.

Альбина ответила: травки нету.

— Держи, — девочки перебросили на нитке окурок, Альбина не брала, девочки рассердились. — Давай, бери, а то придет кап — все погорим.

Альбина взяла окурок, затянулась, задержала дыхание, выдохнула, девочки сказали:

— Ну вот, полегчало. А то строит из себя. Ты не строй из себя, будь, как все — себе же польза. Ты, когда выйдешь, купи травки, передашь через Джорджию. Джорджию знаешь? Передашь через Джорджию. Вот, возьми десять баксов.

Альбина сказала, денег не надо. Нет, стояли на своем девочки, пусть возьмет деньги, а то потом ищи-свищи. А деньги взял — в ответе, нет человека без совести, совесть у всякого есть.

— Девочки, — сказала Альбина, — вы хорошие.

— Хорошие, — подтвердили девочки, — хорошие. Потянешь травки — нету плохих, все хорошие.

Альбина вытерла нары подолом балахона, легла, девочки сказали, они дадут кусок байки, пусть положит под голову. Альбина взяла, свернула, положила под голову, получилось очень удобно, громко засмеялась, крикнула девочкам:

— Спасибо!

Девочки сказали, они сейчас займутся любовью, Альбина, если хочет, может принять участие, они объяснят, чего и как ей делать. Альбина не отвечала, закрыла уши ладонями, все равно проникали звуки, как будто зверь в лесу, урчит, возится с костью. Урчание то усиливалось, то слабело, наконец, стихло, звуков не стало, Альбина отняла ладони, прислушалась, балахон на ногах задрался выше колен, привстала, чтобы оправить, подтянула, для примерки, кверху, похоже на греческую тунику, провела ладонью по бедрам, сжала ноги, в бедрах оставался небольшой зазор, сжала плотнее, зазора не стало, получилась прямая линия, жаль, Макса нет рядом, не видит, Золушка в тюремном рубище.

— Синдерелла, —Альбина хлопнула себя по ягодице, — ты в темнице! Злодеи заточили тебя в темницу. Эльфы, слышите: ваша госпожа, Синдерелла, в темнице!

За стеной, как будто услышали Альбинин клич, раздался вой, выли на два голоса, со стоном, с басовым внезапным рыком, Альбина бросилась на нары, накрылась байкой, заткнула уши пальцами.

— Эй, — весело кричали девочки, — ты что, обеспамятела от секса! Хочешь повторить — давай повторим!

Альбина не отвечала, девочки угомонились, было впечатление, что встревожены, просили Альбину не молчать, сказать слово, а то вроде мертвец в камере.

— Ты откликнись только, — просили девочки, — мертвая или живая?

Альбина откликнулась: живая. Ну, слава Богу, сказали девочки, что живая, не мертвая, предложили Альбине еще травки и объяснили: ты своя нам, за решеткой все — черные.

Альбина засмеялась: посадить всех за решетку — одного цвета все будут.

— Вы, — сказали девочки, — на посудинах своих возили нас, как скотину, из корыта поили. А теперь Джорджия прикажет тебе: а ну-ка разведи свою пусю! И разведешь. Попробуй не развести. На, —девочки перебросили скрутку, — закуривай. Мы не вы.

Альбина сказала: кто тычет всем в глаза своим рабством, тот никогда свободным не будет. Бог, когда поставил Моисея, чтоб вывел свой народ из рабства, предупредил: помните, вы были рабами, не обижайте пришельца.

Девочки поначалу молчали, как будто обдумывают, готовят ответ, потом сказали, пусть Альбина вернет им десять долларов, какие дали ей, чтоб купила для них травки.

— Верни десять баксов, — сказали девочки, — не надо нам от тебя травки, ничего от тебя не надо.

Альбина вернула деньги, девочки, вроде очень забавно им и смешно, громко засмеялись: ну, шельма, ну, перекрутила все по-своему!

Близилось к рассвету. Альбина присела на нарах, прислонилась к стене. В окне, под потолком в коридоре, сохранялась темень, но не стало прежней неподвижности, будто черный куб, вырублен в ночном небе, как вырубают куб в угольном завале, под землей. За окном шло движение, шевеление, глаз и ухо не улавливали изменений, Альбина всматривалась, вслушивалась, изнутри забирало томление, тоска, давнее непонятно о чем, воспоминание давило на грудь, на сердце, снаружи, как будто волны, накатывают одна на другую, тоже теснило, давило, Альбина топнула ногами по нарам, железо отозвалось глухим гулом, девочки из-за стены окликнули, давай потише, ночь, люди спят, Альбина хотела сказать, ей худо, пусть позовут доктора, пусть позовут надзирателя, кого-нибудь, с трудом пересилила себя, прикусила зубами пальцы, закрыла глаза, отчетливо увидела Макса — Макс в конторе, у коменданта, кладет на стол деньги, подписывает бумаги — загремела у входа решетка, послышались в коридоре шаги, Альбина вскочила, прижалась лицом к прутьям, пришла дежурная, назвала имя, фамилию, отперла камеру, велела следовать за ней.

Макс, когда ввели Альбину, бросился к ней, хотел обнять, она выставила руки вперед, отстранила, полисмен взял Макса под локоть, приказал отойти подальше, так близко стоять не положено. Пришла Хуанита, принесла одежду, повела Альбину переодеваться, вернула пачку сигарет, Альбина открыла, хотела закурить, Хуанита остановила, нет, заключенным не разрешается, Альбина сказала, в конторе заканчивают формальности, через пять минут ее выпустят, Хуанита ответила, через пять минут Альбина сможет закурить.

Комендант подвинул бумаги к Максу, показал, где расписаться, предупредил Альбину, она находится под арестом, выпущена под залог, повестку в суд пришлют по

адресу. В случае неявки в суд залог аннулируется, виновный подлежит повторному аресту.

Светало. Дул легкий ветерок, Альбина озябла, обняла себя руками, чтоб было теплее, Макс снял пиджак, набросил Альбине на плечи, она тут же стряхнула, Макс успел подхватить, громко засмеялся, наконец, кончилось невезение, началось везение.

Машина стояла за углом, Макс сказал, преимущество ночного визита в тюрьму: нет проблемы парковки, днем, наверное, камню негде упасть. Макс открыл правую дверцу, показал рукой, садись, Альбина сказала, нет, она поведет машину, села, перебралась на место водителя.

Макс напомнил Альбине:

— У тебя украли права, ты провела ночь в тюрьме.

— Макс, — спросила Альбина, — о ком твоя забота: обо мне? О себе? Если обо мне, дай ключ, я поведу машину, ты должен верить мне. Должен.

Макс передал Альбине ключ:

— Поехали.

Миновали Холланд-тоннель, свернули в Сохо, Альбина взяла у Макса деньги, остановились между Канал-стрит и Грэнд-стрит, велела подождать, через пять минут вернется, получилось немного дольше, воротилась в хорошем настроении, Макс спросил: можно задавать вопросы?

Альбина поцеловала в щеку, сказала, нет, нельзя: вопросы не нужны — ни тому, кто спрашивает, ни тому, кто отвечает. Все неприятности, все осложнения у людей — от вопросов. Будущее общество — общество ясновидцев, не будет вопросов, не будет нужды отвечать, и люди будут счастливы.

— Макс, — Альбина засмеялась, — понимаешь, не надо спрашивать, не надо отвечать — все счастливы, общество счастливцев!

— Ты курила, — сказал Макс.

— Курила, — кивнула Альбина, вынула из кармана скрутку, включила зажигалку, затянулась, понюхала, проводя влево-вправо под носом, предложила Максу, пусть тоже сделает затяжку.

Альбина протянула скрутку, Макс сказал, убери, велел Альбине передвинуться, он сядет за руль.

Альбина спросила:

— Ты должен сесть за руль или просто хочешь сесть за руль?

Макс ответил, это не имеет значения, должен или хочет. Альбина улыбнулась, подняла палец: о, это имеет очень большое значение!

— Если должен, — Альбина повела пальцем, — я выйду из машины и пойду пешком. Если не должен, а просто хочется, тогда каждый остается на своем месте, я за рулем, ты рядом. А не хочется рядом, сзади к услугам пассажиров диван — раз, два, три — три свободных места. Выбирай.

— Поехали, — сказал Макс.

— Господи, — зажмурилась Альбина, — как может быть хорошо, когда люди хотят, чтоб было хорошо. Все в руках человека. Как ты говоришь? Человек — кузнец своего счастья. Скажи, милый, это распространяется на всех или только на тебя и тебе подобных, кто говорит: должен, должны?

Я заказал разговор с Одессой, — сказал Макс. — Сначала отказали: линия перегружена. Пришлось настаивать.

— Так, — кивнула Альбина, — ты должен был, ты настоял. Ты сделал, как должно. Не надо объяснять: не для себя сделал — для меня сделал, мой интерес, мой отец умирает, не твой.

Макс сказал, Альбина знает: его отца давно нет, убит на Лубянке, по делу врачей.

Альбина кивнула: она знала, она ждала, Макс ответит именно так, такими словами, другого не ждала.

Макс спросил: какими словами надо было отвечать?

— Никакими! — Альбина подняла кулаки, ударила по баранке. — Никакими, просто смолчать. Человек, если есть у него что-то здесь, — Альбина ткнула себя пальцем в грудь, — отвечает без слов.

— Mea culpa, — сказал Макс. — Моя вина.

— Ужас, — Альбина зажмурилась, тряхнула головой, волосы на миг закрыли лицо, — как ты меня терпишь! Я бы не выдержала.

— Как не терпеть, — Макс сложил руки лодочкой, прижал к грудине, — коли велено: дева послана в испытание. Испытание — награда. Надо терпеть.

— Не кощунствуй, — Альбина скосила глаза, — убери руки с груди, а то накличешь.

Выехали на Бруклинский мост, буксир, переваливаясь с боку на бок от натуги, тянул огромную баржу, Макс

сказал, напоминает ему муравья, который волочит за собой жердь, непонятно, откуда берутся силы.

Непонятно, кивнула Альбина. В природе много непонятного. Непонятно, сказала Альбина, почему она должна была провести ночь в тюрьме, в камере с проститутками. Если бы она сделала по-своему, не фордыбачила с Митрохиным, потому что так хотелось Максу, если бы в ресторане не хамила Джону-Фрэнку...

Макс перебил: какой Джон-Фрэнк?

— ...если бы не хамила, а приветила, как положено людям, когда оказываются рядом, не было бы этой жуткой ночи. Макс, — сказала Альбина, — ты сделал по-своему, ты заставил меня сделать, как ты хотел. Макс, ты насильник, ты палач, ты калечишь человеческую душу. Макс, ты будешь наказан.

Макс пожал плечами: старая песня, post hoc, ergo propter hoc — после этого, следовательно, поэтому. Черная кошка перебежала дорогу. Кто виноват? Черная кошка виновата. Временная связь — не причинно-следственная связь.

Альбина ответила, она не знает, какая связь, но чувствует — Альбина ткнула пальцем в средостение — она чувствует, здесь есть связь.

— Макс, — сказала Альбина, — я боюсь, мне страшно. Случайного нет. Мы просто не знаем, не видим. За каждой секундой — поворот. Каждое мгновение — поворот. Случайного нет — мы просто не знаем. Макс, мы просто не знаем!

— Нет, — сказал Макс, — знаем. Ты знала, что не надо идти в ресторан с Митрохиным. Ты сама говорила, они сволочи. Ты знала, что в ресторане нельзя оставлять сумку без присмотра. Ты знала, что у тебя украли права, украли все документы, надо быть вдвойне осторожной на дороге. Ты знала, что не следует вступать в конфликт с полицией, ничего хорошего не выйдет. При чем здесь случайность? Ты все знала наперед. И сейчас знаешь: ты провела бессонную ночь в тюрьме, ты курила, ты не должна сидеть за баранкой. Но ты говоришь, нет, я буду сидеть за баранкой, я буду вести машину, машина послушна мне, джойнт вернул мне силу и уверенность, которую хотели отобрать у меня. Ты говоришь: так я чувствую. Я спрашиваю: что значит чувствую? Есть опыт, есть твердое знание: так делать нельзя.

— Макс, — спросила Альбина, — чего ты домогаешься? Макс, я спрашиваю тебя: чего ты домогаешься? Ты не веришь мне. Кто дал тебе право не верить?

— Я верю тебе, — сказал Макс. — Я говорю только, есть опыт, есть знание. Надо считаться.

— Кто дал тебе право не верить? — повторила Альбина. — Не верить человеку — это преступление. Макс, ты совершаешь преступление, ты — преступник.

У перекрестка, хотя был зеленый свет, Альбина внезапно остановилась, поставила машину на тормоз, сказала Максу, пусть садится за руль, дальше поедет сам, она не поедет.

Альбина вышла, захлопнула дверцу, отступила на несколько шагов, как будто никакого отношения к машине не имеет, подняла руку, помахала, чтоб могли увидеть издали, притормозить, остановиться. Каштановые волосы, когда наклонялась корпусом вперед, охватывали бледное лицо, по контрасту лицо казалось еще бледнее, глаза, наоборот, чернее, совсем черные, с лихорадочным блеском, две машины притормозили, но тут же опять набрали скорость, другие проносились мимо, громко сигналя, чтоб сошла с дороги, не мешала движению. Альбина не обращала внимания, сделала еще шаг вперед, из левого ряда, по диагонали, чудом не врезался в машину справа, подкатил к Альбине белый "Кадиллак", круто, как будто прихватили электромагнитом, затормозил, молодой парень, пуэрториканец, выставил голову в окно, внимательно посмотрел, Альбина сказала:

— Эй, Доминго, открой дверь, я сяду.

Парень продолжал разглядывать, Альбина повторила, пусть откроет дверь, сама взялась за ручку, стала дергать, парень улыбнулся, велел Альбине отступить, чтоб не ушиб дверью, когда будет открывать.

Альбина отступила, сзади, пока парень возился с дверью, подошел Макс, сказал парню, все в порядке, пусть едет своей дорогой, схватил Альбину за руку, потянул с силой, она стала упираться, закричала парню:

— Эй, Доминго, он хочет увести меня!

Парень вышел из машины, перегородил дорогу, сказал Максу, дальше не сделает ни шагу, пока не отпустит женщину.

Парень подошел к Альбине, обнял, положил руку на плечо, она прижалась, пошли рядом, парень открыл двер-

цу, сам зашел с другой стороны, Альбина стояла, не садилась, он спросил, чего она ждет, Альбина взялась за дверцу, было впечатление, что садится, вдруг, с силой захлопнула, сделал рукой знак: гуд бай, Доминго!

Парень завел свой "Кадиллак", до перекрестка двигался вровень с Альбиной, как будто сопровождает, когда поравнялся с Максом, показал средний палец, крикнул, пусть не волнуется, найдут его, Альбине показал грубым жестом, она тоже от своего не уйдет, с ходу набрал скорость и исчез.

Альбина села в машину, Макс подвинулся, уступил место за рулем.

— Макс, — Альбина взяла Макса за руки, положила ладонями себе на щеки, зажмурила глаза, — зачем я сделала это? Зачем это нужно было?

Макс погладил, поцеловал в нос, в глаза, спросил: а что было? Оглянулся вокруг, как будто на самом деле ищет, и сам ответил:

— Ничего не было. Поехали.

— Макс, — сказала Альбина, — я люблю тебя. Я никогда никого не любила. Я всегда любила тебя. Только тебя.

Впереди, над океаном, полыхнул в небе яркий свет, похоже на зарницу, резко обозначились края туч, было впечатление, что тучи располагаются одна над другой, в несколько ярусов, свет перебегал с яруса на ярус, как будто гряда гор, с утесами, с ущельями, с крутыми обрывами.

— Где я? — спросила Альбина. — Макс, где мы?

Макс не отвечал, повернулся к Альбине, глаза были холодные, вроде сторонний, чужой, впервые увидел, наблюдает, непонятно кто, непонятно откуда, Альбина кивнула головой, снова полыхнул в небе свет.

— Макс, — сказала Альбина, — мы там. Ты и я, оба. Макс, откуда это: мы сидим здесь, в машине, а я чувствую, мы там, в небе, и свет переносит нас с гряды на гряду. Макс, откуда это чувство? Где мы: там или здесь?

— Мы не там, мы здесь, — Макс указал рукой на дорогу. — Следи за дорогой. Когда дождь только начинается, на дороге образуется пленка, при торможении машина скользит, как по вощеному полу. Будь внимательна. Сорок миль — максимум.

Спидометр показывал пятьдесят, Альбина ответила, люди еще спят, дорога почти пустынна, но она сделает, как

велит Макс: сорок миль — максимум. Альбина хорошо держала машину, стрелка, слегка подрагивая, стояла против сорока, иногда чуть заходила, но тут же возвращалась.

— Почему ты не аплодируешь мне, не кричишь браво? — спросила Альбина.

— Браво, — Макс состроил гримасу, как будто на галерке в цирке, громко захлопал, — браво!

— Милый, — Альбина повернулась, чмокнула в ухо, — ты притворщик. Но все равно приятно.

Попали в зеленую волну, Макс указал на спидометр, пятьдесят, надо сбросить газ.

— Милый, ты боишься? — Альбина потрепала пальцами по щеке. — Ты боишься. Ты — трус.

Макс вытянул ремень, пристегнулся, сказал Альбине, пусть тоже пристегнется.

— В тюрьме, — Альбина нажала на педаль, стрелка пошла вверх, — девочки приняли меня за шлюху с панели. Я солгала, я сказала: у меня муж. Обе очень весело смеялись: "А у мужа твоего есть жена?"

Небо впереди очищалось, выглянуло солнце, с земли подымался пар.

— Макс, — обратилась Альбина, — почему ты не просишь меня: будь моей женой? Ты не веришь девушке с прошлым? Ты пишешь моим папе-маме в Одессу, что просишь руки их дочери. Ты идешь к Саше, требуешь от него, пусть даст развод, потому что хочешь жениться на мне. Ты делаешь мне предложение, становишься на колени, умоляешь: будь мне женой. А я тебе отвечаю: милый, любимый, нет, мы не можем быть вместе, мы должны расстаться, уходи. Ты уходишь, всю жизнь маешься один, как будто в каменной пустыне.

Макс спросил:

— Кто я: Азазел, козел отпущения, понесу на себе грехи человеков?

Альбина кивнула: Азазел, у Азазела нет выбора, жребий брошен, надо идти в каменную пустыню, иссушить, развеять, истребить прошлое. Прошлого больше нет.

Макс жалобно, как будто юродивый, загундосил:

— Жил-был у бабушки серенький козлик...

Внезапно — Макс успел крикнуть: тормози! — с поперечной улицы выскочил пес, по земле волочилась сворка, пес мчался прямо под колеса, Альбина взяла круто вправо, машину понесло по влажному асфальту, выбросило

на тротуар, ударило буфером о бетонный столб, капот вздыбило, выгнуло поперек, у Макса было ощущение, что на грудь положили чугунную плиту, нечем дышать, вот-вот задохнется, позвал Альбину:

— Альбина, я задыхаюсь.

Альбина не откликалась, голова лежала на баранке, как будто в отчаянии приткнулась лбом, не в силах оторвать, Макс повторил, что задыхается, пусть откроет дверь, поможет ему выйти на свежий воздух, поднял руку, тронул Альбину за плечо, она не реагировала, взял за волосы, осторожно повернул голову, все лицо было в крови, первое впечатление, мертва, разбилась насмерть, охватил ужас, прижался губами, щеки, губы были холодные, откуда-то издалека дергают, колебание едва доходит, вот-вот совсем прекратится.

Приехала полиция, скорая помощь, обоих положили в карету, у Альбины в дороге нарушилось дыхание, пришлось подключить респиратор.

Привезли в Кони-Айлендский госпиталь. У Макса начались сильные боли в груди. Сделали рентген, доктор сказал: перелом грудины, перелом левого нижнего ребра, трещина в тазобедренном суставе. Судя по затрудненному дыханию, можно было опасаться разрыва плевры. Разрыва нет. Доктор похлопал Макса по плечу: счастливчик, благополучно отделался.

Врачи настаивали на госпитализации, Макс отказался, потребовали расписку, что отказывается.

У Альбины была открытая рана на темени, наложили швы. Во второй половине дня, ближе к вечеру, Альбина сказала Максу, она не может лежать, с ногами что-то происходит, как будто не свои.

— Макс, — повторила Альбина, — со мной что-то происходит, помоги мне, я должна встать, я хочу уйти. Макс, мне плохо, уведи меня!

Макс сказал, он не опора, он сам калека, нужна тележка, Альбина сядет в тележку, он будет толкать, на лифте можно спуститься вниз, погулять во дворе.

— Макс, — сказала Альбина, — я делала все, как ты хотел. Ты меня толкал, ты меня заставлял, все вело к этому. Не принуждай меня, я не хочу, чтоб меня принуждали! — Альбина схватила Макса за руку. — Родной, любимый, забери меня отсюда. Умоляю тебя, забери, я хочу домой!

Макс сказал, так просто не отпустят, кроме того, надо приготовиться, заказать такси. Лучше, если он сам поедет. Будут звонить из Одессы — он дома. В случае надобности можно будет переключить на госпиталь.

Альбина задумалась, кивнула: ладно, пусть едет домой, звонить в госпиталь не надо, неизвестно, как она будет чувствовать себя.

— Иди, — сказала Альбина, — посетительское время кончилось. Я сама позвоню. Иди.

Сестра ходила по палатам, стоя у дверей, громко объявляла: посетительское время кончилось.

Дома, когда Макс приехал, слонялся по квартире, не мог найти себе места. Корил себя, что уехал из госпиталя, надо было остаться, настоять на своем. Вернулось удушье, опять схватил кашель. Снял корсет. Не помогло. Напротив, боль усилилась, ломило, как будто взяли в тиски и завинчивают.

Раздался звонок: звонили из госпиталя. Сказали: Альбины нет в палате, искали всюду, не могут найти.

Оборвалось сердце, вспомнил, Альбина торопила его, иди домой, не жди, звонить в госпиталь не надо, она сама будет звонить. Охватило отчаяние, на уме вертелось одно слово: о Господи!

Надел корсет, затянул до предела, как будто стальные латы, хлопнул дверью, про замок, что надо закрыть, вспомнил внизу, пока поднимется, пока опять спустится, пройдет время, нет, не будет возвращаться, вышел из парадного, миновал площадку перед домом, на миг задержался, непонятно было, куда, в каком направлении идти, свернул в сторону госпиталя, обогнул кусты, на земле — голова запрокинута на кусты, ноги, вроде целлулоидовая кукла, широко разведены в стороны — сидела Альбина.

— Ты! — воскликнул Макс.

— Я, — сказала Альбина. — Подними меня.

Макс помог подняться, Альбина ухватилась обеими руками, объясняла, ноги не слушаются ее, все плывет перед глазами, пусть поддерживает, двигались медленно, шаг за шагом, дошли до парадного, внизу ждал лифт, Альбина сказала, наконец, удача, Макс кивнул, удача, начинается полоса везения. Дверь была незаперта, не пришлось открывать ключом, Альбина сказала, еще одна удача, в гостиной легла на диван, ноги свесили на пол, Макс

осторожно поднял, уложил, укрыл пледом, поцеловал, погладил, Альбина схватила за руку, прижалась щекой, стала тереться, закрыла глаза, забормотала:

— Зачем тебе все это? Я нехорошая. Макс, найди себе хорошую. Милый, — по щекам текли слезы, — я нехорошая.

Макс позвонил в госпиталь, предупредил, пусть не ищут, не волнуются, пациент нашелся.

Альбина сказала Максу:

— Поставь чайник. Хочу крепкого чаю с малиной.

Макс поставил чайник, чашки, блюдца, джем на поднос, хотел отнести в гостиную, едва удержал в руках, в груди поднялась нестерпимая боль, с трудом подавил крик, опустил поднос, перенес отдельно чашки, блюдца, чайник, предложил Альбине на выбор, сесть за стол или потчеваться в постели.

— Как прикажете, — спросил Макс, — накрыть на стол, поднести в постелю?

— Макс, — сказала Альбина, — подойди ко мне.

Макс подошел, встал подле дивана, Альбинины глаза смотрели мимо.

— Макс, мои ноги бесконечны, мои руки бесконечны, они уходят в пространство. Макс, они, как лучи, я чувствую, они удаляются, они не подчиняются мне, я точка, нету точки, нет меня. Саша, — закричала Альбина, — мои руки и ноги охватывают землю, я схожу с ума! Саша!

Макс наклонился, взял Альбину за ступни, приподнял, приказал, пусть сосредоточит свой взгляд на ступнях и скажет себе: это мои ступни, мои ноги, Макс держит их в своих руках, я вижу их в своих руках, я вижу их, они кончаются здесь, в руках у Макса.

— Макс, — у Альбины сделался прежний взгляд, фокус бесконечно далеко, — возьми мои ступни, держи меня за руки, не отпускай, не уходи!

Макс сделал, как просила Альбина, наклонился над ней, грудь разрывало от боли, смотрел Альбине в глаза, пытался поймать взгляд, как ни старался, не получалось, глаза остановились, как будто неживая, кукла, очень похожа на человека.

— Встань! — приказал Макс. — Опусти ноги на пол и встань!

Альбина присела, Макс подтолкнул ноги, чтобы достали ступнями пол, сказал, вот и хорошо, еще одно усилие,

взял Альбину под локти, помог привстать. Альбина торопливо, тяжело, как будто взбирается на гору, дышала, Макс твердил, как заводной, спокойно, спокойно, готов был отпустить, хотел предупредить, поддержка больше не нужна, он отпускает. Не успел произнести, Альбина закричала, нет, пусть не отпускает, она огромная, голова упирается в Млечный путь, дикий холод, клубы белого света, слепит глаза, она ничего не видит.

Альбина запрокинула голову, глаза были широко раскрыты, одни белки, как будто мрамор, вставлен в глазницы.

— Подними голову, — приказал Макс, — смотри на меня. Ты можешь: подними голову, смотри на меня. Ты сильная, — Макс обнял Альбину за плечи, — ты можешь.

Альбина сказала, она хочет лечь, ноги совсем не слушаются, пусть Макс поднимет, положит на диван, Макс покачал головой, его помощь не нужна, Альбина сама может.

— Иди, — Альбина легла, ноги свисали на пол, — ты не нужен. Выключи свет. Хочу остаться одна.

Макс вышел, притворил за собой дверь, оставил узкую щель.

В кабинете было полутемно, падал свет от уличного фонаря, у окна стоял письменный стол, Макс сел, навалился грудью, оперся локтями, тянуло и ломило, как будто во всем теле зубная боль. По расчетам, теперь, когда принял позу, какую хотел, боль должна была уменьшиться. На самом деле, боль усилилась и продолжала нарастать, перехватило дыхание, весь покрылся испариной, сорвал с груди корсет, в ярости, в злобе на себя, выкликнул, пусть растет боль, пусть крепчает, чем больнее, тем лучше. Макс задержал дыхание, стиснул зубы, уцепился за подоконник, прекратилось, наконец, дикое метание, мелькание за окном, последняя судорога, будто сама изнемогла, обессилела, внезапно отпустила, настала тишина.

Цепляясь за стол, за стены, добрался до дивана, уперся ладонями в валик, осторожно, чтоб не допустить встряски, повернулся, стал приседать, почувствовал под собой пружины, освободил руки, тело, вроде выронили над пропастью, стремительно понеслось вниз и тут же, задержанное преградой, остановилось.

Первое ощущение было полное блаженство, ничего не нужно, только это — покой, тишина, надежная опора.

Макс растянулся на диване, желтый свет, чуть подернутый охряной пыльцей, в косом оконном переплете ложился на стену, в доме напротив женщина накрывала на стол, вдруг уставилась в окно, замерла, покачала головой, быстро подошла к окну, задернула занавеску.

Макс не заметил, как заснул, разбудил телефонный звонок, из Москвы, предупредили, пусть ждут, в течение часа дадут Одессу. Невольно сделал резкое движение, в груди громко, вроде ломают кость, хрустнуло, пришлось снова лечь, ждать, пока утихнет боль.

Альбина лежала на спине, лицо бледное, нос заострился, повернула голову к двери, Макс, как будто отлучился на минуту, ничего не произошло и не могло произойти, сообщил: звонили из Москвы, в течение часа дадут Одессу.

— Макс, — сказала Альбина, — мне плохо.

Надо пересилить себя, ответил Макс, сейчас будут звонить из Одессы. Альбина должна пересилить себя.

— Макс, — сказала Альбина, — я умираю.

Макс ответил, плохо — это еще не умираю, умереть не так просто.

— Макс, — повторила Альбина. — я умираю. Я звала тебя, чтоб попрощаться, ты не приходил. Макс, — Альбина поманила пальцем, — наклонись, я поцелую тебя, я прощаю тебя.

Макс наклонился, сам поцеловал, лоб и щеки были холодные, взял за руку, посчитал пульс, Макс спросил: будем ждать Одессы или звать скорую помощь?

Альбина не отвечала, глаза уставились в потолок, блестели, как будто черный хрусталь, зрачки уходили в глазницы, в череп, дна не видно, похоже на черный, той черноты, какая бывает беззвездной ночью, тоннель.

— Не молчи, — Макс растер руку, — говори: что ты чувствуешь?

Альбина сказала, она не чувствует, ее нет, осталась оболочка, лежит оболочка, оболочка пуста.

— Зачем я приходила сюда? — бормотала Альбина. — Зачем я была здесь? Кому это надо было — чтобы я приходила, чтобы я была здесь?

Похоже было на бред, Макс слегка потормошил, сказал Альбине, она не приходила, не была — она сейчас здесь, он сидит рядом, держит за руку, говорит с ней.

Макс гладил руки, ноги, целовал, говорил, убеждал, все

в порядке, просто нервный шок, все пройдет, все будет хорошо.

— Идем! — Альбина оттолкнулась от подушки, села, взгляд был далекий, холодный, впечатление, что смотрит поверх предметов, предметы остались внизу. — Идем!

— Идем, — Макс взял за руку.

Альбина закрыла глаза, сказала, она в океане, вокруг черный океан, тело осталось там, лежит на диване, Макс сидит рядом, она видит их, Макса и свое тело. Макс боится, весь в страхе, прячет свой страх, разговаривает с телом, не видит, не понимает.

Альбина сказала Максу, не надо плакать, не надо переживать, все кончено, все позади, она больше не хочет на Землю, свою дорогу на Земле она прошла.

Макс сказал: конец дороги — начало дороги, дорога вся впереди — только начинается.

В час ночи, как обещали, дали Одессу. Альбина спросила: где папа? На вопрос не ответили, незнакомый голос сказал: пусть Альбина срочно вылетает, дали телеграмму в консульство, заверили у главврача и в облздравотделе, откладывать нельзя, пусть вылетает немедленно.

— Аля, — сказал голос в трубке, — папа хочет видеть тебя. Аля, — повторил голос, — папа хочет видеть тебя, откладывать нельзя, можно не успеть.

Под утро, перед рассветом, наступил криз. Вся одежда промокла, как будто окунули в воду и плохо отжали. Лицо был измученное, нос желтый, свечной, глаза запали, во всем теле боль, ломота, вроде били палками.

Альбина сказала, она хочет в туалет, пыталась встать, Макс наклонился, чтобы помочь, она остановила, не надо, она сама, откинула одеяло, оперлась руками, стала отжиматься, несколько секунд держалась, смотрела на свои ноги, ноги не двигались, и свалилась.

— Макс, — сказала Альбина, — у меня отнялись ноги.

Приехала скорая помощь, отвезли в Кони-Айлендский госпиталь.

Первые три дня велели соблюдать полный покой. Потом разрешили сажать на четверть часа в каталку, Макс приходил ежедневно, катал по коридору, Альбина говорила, это мечта ее с детства — кататься в тележке, как будто возит рикша.

Из Вашингтона позвонили: прошение о визе удовлет-

ворено, для получения явиться в консульство, приемные часы с девяти до двенадцати.

На следующий день прибыла телеграмма из Одессы: "Папа умер".

Макс сказал о звонке из Вашингтона, Альбина всполошилась, велела Максу, пусть потребует в консульстве, чтоб ему тоже дали визу, он будет сопровождать ее. Макс ответил, нет смысла требовать, все равно не дадут, Альбина стояла на своем, сказала, она сама позвонит, Митрохин сделает.

Макс молчал, вынул из кармана телеграмму, подал Альбине:

— Папы нет. Папа умер.

— Уходи, — сказала Альбина, — я не хочу видеть тебя.

Макс ушел. Утром, только начало светать, Альбина позвонила:

— Ты не виноват, — сказала Альбина. — Ты такой, какой ты есть.

Макс спросил у доктора: Альбина будет ходить? Доктор ответил: вопрос времени. Макс спросил: как долго? Доктор развел руками.

Альбина сказала, она не хочет лежать в больнице, она хочет домой. Пусть дадут тележку с моторчиком, она сама будет ездить.

Каталку с моторчиком не дали, дали простую, с ручным приводом, каждый вечер выходили на прогулку, Макс толкал каталку, Альбина говорила, никогда еще не было на душе так спокойно, как теперь.

Среди ночи Макс проснулся. Горел ночник. Альбины не было.

— Альбина, — тихо позвал Макс.

Ответа не было, Макс закричал громко:

— Альбина!

Макс обошел комнаты, осмотрел стенные шкафы, возникла нелепая мысль, Альбина спряталась, дурачится, вспомнил про каталку, каталки не было, выглянул в коридор, машинально двинулся к лифту, нажал кнопку, тут только спохватился, что не одет, надо воротиться, привести себя в порядок.

Оделся тщательно, как будто утро, время на работу, был уже у двери, когда зазвонил телефон.

Говорил мужчина, сиплый ночной голос, дал адрес, уличный автомат на Брайтон-авеню, они здесь вдвоем, с

Альбиной, Альбина велела передать, если Макс хочет, может придти, они будут ждать.

Макс сказал, пусть возьмет трубку Альбина, после паузы голос ответил, Альбина не хочет брать трубку, Макс должен ответить, придет или не придет, иначе ждать не будут.

Макс сказал, он идет, пусть ждут.

Альбина сидела в своей каталке, на плечи наброшен мужской пиджак, видно было, что озябла, дрожит от холода, рядом стоял парень, щуплый, тощий, едва доставал Максу до плеча.

Альбина представила:

— Джерри, мой друг. Макс, я хочу, чтобы он стал твоим другом тоже. Макс, я услышала сквозь сон, меня кто-то зовет. Это был Джерри. Ему очень плохо, его бросила жена, он в отчаянии, хотел перерезать себе бритвой горло. Джерри, покажи бритву.

Джерри показал бритву.

— Макс, — сказала Альбина, — у Джерри нет дома, он должен ночевать у нас. Макс, обещай Джерри, что не будешь навязывать своей воли и причинять ему неудобства.

У Альбины блестели глаза, лицо было странное, вроде застыло, надели маску, двигались только губы, Макс встал за каталкой, сказал, хорошо, он обещает. Поехали.

Джерри шел сзади, то отставал, то, вдруг, как будто опомнясь, догонял вприпрыжку. У парадного Джерри остановился, сказал Альбине, пусть отдаст ему пиджак, он не хочет к ним: Альбине он верит, а этому — Джерри указал пальцем на Макса — не верит.

— Макс, — сказала Альбина, — если Джерри не пойдет, я тоже не пойду: я не брошу его, я останусь с ним.

— Джерри, — обратился Макс, — я обещаю вам, я дал слово — у вас нет оснований не верить.

Джерри сказал, ему не нужны основания: он свободный человек, это его право — верить или не верить. Он не верит.

Макс обратился к Альбине:

— Чего ты хочешь: остаться с ним? Хорошо, оставайся с ним.

Макс повернулся, пошел быстрым шагом, Альбина крикнула вдогонку:

— Подожди!

Макс остановился, Альбина двинулась в своей каталке, Макс сделал несколько шагов навстречу, Альбина подъехала вплотную:

— Макс, я должна. Ты понимаешь? Должна.

— Кому должна? — спросил Макс. — Кто сказал тебе, что ты должна?

— Ты, — ответила Альбина. — Ты говорил: если есть чувство, что должен, значит должен. Макс, я нужна ему. Я должна.

— Ты его не знаешь, — Макс кивнул в сторону Джерри. — Может быть, он лжет.

— Он не лжет, — сказала Альбина. — Если бы он лгал, у меня не было бы этого чувства: должна.

— Но люди лгут. Альбина, люди лгут.

— Он не лжет, — покачала головой Альбина. — Ты сам видишь: он не лжет.

— Ты хочешь быть с ним, — сказал Макс. — Ты предаешь меня.

— Ты не веришь мне! — Альбина дернула колеса каталки. — Ты, ты предаешь меня!

— Эй, Джерри, — крикнул Макс, — идите с Альбиной. Альбина проводит вас. Не забудь ключи, — Макс подал Альбине ключи. — Мне пора в аэропорт. Конференция в Цинциннати. Самолет в шесть тридцать. Я тороплюсь. Бай!

— Макс, — крикнула Альбина, — ты не взял чемодан. Ключи у меня. Подожди, я помогу тебе собрать вещи. Макс, подожди!

Макс свернул за угол. Ухватясь руками за колеса, Альбина вращала изо всех сил, каталка неслась по тротуару, на повороте резко накренилась, съехала на мостовую, мимо промчался грузовик, Макс машинально обернулся, увидел, каталка на мостовой, Альбина в стороне, головой на тротуаре, внутри все похолодело, подбежал, поднял, прижал к себе, со лба текла кровь, отер щекой, Альбина спросила:

— Я жива?

Макса трясло и знобило, Альбина сказала, ему тяжело, пусть посадит ее в каталку. Макс ответил, никакой каталки, Альбина будет у него на руках — пока не вернется способность ходить и не станет нужна его помощь.

— Джерри, — крикнула Альбина, — привези каталку!

Джерри подкатил каталку, Макс пнул ногой, каталка

откатилась в кусты, Альбина потребовала, пусть Макс положит ее на землю, возле кустов, где он ее подобрал, когда она ушла из госпиталя: она сама может взобраться на каталку, Макс ей не нужен, никто не нужен.

Макс сказал, нет, он не отпустит, он отнесет ее домой, пусть кричит караул, пусть зовет полицию.

— Макс, — Альбина заплакала, — ты насильник. Ты издеваешься над калекой. Я уйду, я все равно уйду от тебя.

Когда пришли домой, Макс запер дверь, ключи забрал, ушел в кабинет, постелил на диване, Альбина сказала, она не хочет в спальне, будет спать в гостиной. Поначалу прислушивался к каждому звуку, боялся заснуть, несколько раз, проваливаясь в сон, одергивал себя, опять прислушивался, вставал, тихонько приоткрыв дверь, заглядывал, все в порядке, наконец, успокоился, лег, заснул.

Во сне, казалось, едва успел заснуть, услышал далекий звук, похожий на стон, на вой, как будто доносится из пустыни, вокруг серые пески, ветер наметал барханы, видно было, как меняют очертания, то открывая, то закрывая месяц на горизонте, вдруг поднялась буря, за песчаной завесой месяц прыгал, метался, как будто кидает, швыряет его на волнах, опять донесся вой, в этот раз явственный, вроде совсем рядом, Макс вскочил, подошел к двери, заглянул.

Альбина сидела на столе у окна, протянула руки, за окном, на полдороге между зенитом и горизонтом, висел месяц. На поверхности отчетливо видны были пятна, похожие на материки, забранные местами серой пылью пустынь. Пятна были из пористого лунного материала, напоминали пену, какая бывает на морской волне, когда ударяется о скалы.

Вдруг облака, двигавшиеся с востока, остановились не доходя до месяца, как будто удерживаемые исходящими от него токами. Альбина, медленно наклоняясь вперед, вроде тянется к месяцу, ожидая встречного от него движения, бормотала, то горячечно, было впечатление, что требует, заклинает, то размеренно, с долгими паузами, в ожидании ответа, после которого возобновляла свои заклинания: пусть месяц заберет ее, унесет с собой, с земли, от людей, она больше не хочет, не может, она сделала, что могла, что требовали от нее, она делала, как хотели другие.

Месяц смотрел в окно, на поверхности его темные пятна пришли в движение, видно было человеческое лицо, слегка припорошенное пылью, Альбина закричала: папа!

Ухватясь руками за край стола — голова, как у пса, когда воет, в зимнюю ночь, на луну, круто была задрана кверху — Альбина подтянулась всем телом, еще мгновение, уткнется, прошибет стекло, выпадет из окна, Макс подбежал, едва успел удержать за плечи, снял со стола.

Уложив Альбину на диван, Макс укрыл ее пледом, примостился рядом, напряженно прислушивался к дыханию, поначалу дыхание было прерывистое, с хрипами, громкими, резкими всхлипами, как будто подступает удушье, порывался спросить, все ли в порядке, хотел включить свет, сам себя удерживал, останавливал, не надо никаких вопросов, никаких действий, пусть Альбина знает, чувствует, он спокоен, оснований для страха нет.

Осторожно, чтоб не потревожить, передвинулся в угол, прикорнул, стал забирать сон, внезапно, видимо, совсем уже заснул, услышал голос Альбины:

— Макс, почему ты здесь? Я не хочу, чтоб ты был здесь. Уходи. Хочу быть одна.

Макс поднялся, сказал, он идет к себе, надо будет, Альбина кликнет.

— Я не буду звать, — сказала Альбина. — Принеси каталку, поставь возле меня. Я хочу, чтоб каталка была здесь, возле меня.

Нет, ответил Макс, он не принесет каталку.

— Ты чудом осталась в живых. Я не принесу каталку.

— Макс, — сказала Альбина, — подай мне телефон. Я позвоню в госпиталь, пусть заберут меня. Я не хочу быть дома. Макс, ты насильник. Я не хочу жить с насильником.

Макс включил свет, подал Альбине телефон: звони.

Опершись нижней кромкой о крышу дома, месяц, как будто в недрах, по каналам, по отводам, быстро наполнялся кровью, покрывался уже и на поверхности, видимой с земли, густым, вязким, какой бывает от крови, багровым колером.

— Макс, — сказала Альбина, — мне страшно.

Подперши голову руками, Макс сидел у окна. Завыла сирена скорой помощи. Карета остановилась у дома.

— За тобой, — сказал Макс Альбине.

Макс поднялся, пошел открывать дверь.

КТО ЗВОНИЛ В КОЛОКОЛ

В Москве, в издательстве "Весть", под редакцией Натали Белинковой-Яблоковой вышел литературно-публицистический сборник "Новый колокол". Первое его издание было выпущено в 1972 году под руководством и редакцией Аркадия Белинкова.

Идея создания "Нового колокола" родилась на международной конференции по цензуре в 1970 г. в Лондоне. "Колокол" в названии символизировал вольную русскую печать за пределами родной страны; "Лондон" на обложке как бы продолжал герценовскую традицию.

"Новый колокол" выдержал испытание временем. Важнейшими публикациями сборника являются статья Аркадия Белинкова "Страна рабов, страна господ". Литературная часть "Нового колокола" представлена писателями, занявшими свое видное место в истории современной литературы.

Мих. Демин напечатал в сборнике два рассказа, впоследствии вошедшие в нашумевший роман "Блатной".

Юрий Кротков в комедии "Наполеон и Акула" показал, как КГБ шантажировало иностранных дипломатов.

Анатолий Кузнецов поместил в "Новом колоколе" главу из неопубликованного романа "Тейч Файв", который можно поставить в один ряд с антиутопиями Оруэлла и Замятина.

Алла Кторова, известная романами "Лицо Жар-птицы" и "Мелкий жемчуг", выступила с рассказом "Нежный гад".

Член редакции "Нового колокола" Эдуард Штейн написал интересные воспоминания о встрече в польской тюрьме с Эрихом Кохом.

Аркадий Белинков в сборнике представлен не только как выдающийся публицист, но и как прозаик, автор автобиографического рассказа "Побег", в котором реальные факты перемешаны с вымыслом.

Крупнейший политический деятель Милован Джилас, автор "Нового класса" подарил "Новому колоколу" уникальный по своим художественным качествам рассказ "Засада".

В разделе публицистики выступили известный журналист Леонид Владимиров, деятель пражской весны Иван Свитак, один из создателей Комитета освобождения русских евреев писатель Юлий Марголин и другие.

Сборник "Новый колокол" можно приобрести в магазине "Глобус" 332 Balboa street, San Francisco, Ca 94118.

Лия ВЛАДИМИРОВА

СЕДИНЫ ОСЕННИЙ СНЕГ

* * *

Не в чьи-то руки, не в архивы,
И не в подвал, не на чердак —
На свалку труд мой боязливый,
Всех весен пестрый кавардак,

Всех жизней вороха — в отбросы,
В отходы века — и навек,
Как детский плач, шальные косы,
Как седины осенний снег.

1991 г., Израиль.

* * *

Из дома вышла поутру.
Мой зонт сломался на ветру.
Дрожу, в карманы сунув руки.
Из мглы, и холода, и скуки

День вылеплен. С кем вековать?
Куда идти? Кого мне звать?
Все пусто. В городе огромном
Я бесприютна, я бездомна.

1990 г., Москва.

* * *

Владимир, Суздаль... Старое Кольцо,
Когда-то впрямь, должно быть, Золотое.
У матери взяла ее пальто я,
У осени — иззябшее лицо.

И кружатся, куда ни посмотрю,
Опавшие листы, сырые даты.
Все мглисто, все размыто. Без возврата?..
Весь век — дождит, и дело — к ноябрю.

1991 г., Москва.

* * *

Отдай мне в память, не жалея,
Яснополянскую аллею,
Простоволосые березы
И осени скупые слезы,

И Суздаль, и Ростов Великий,
В церквах пригаснувшие лики,
И этот путь, щемящий, древний:
Поля, холмы, леса, деревни...

А вот — с приглядной простотою,
Ясна любой своей чертою,
Церковка светится в ненастье.
Все — в память мне. Навек, на счастье...

1991 г., Москва.

* * *

Надо ль в старые меха
Молодое лить вино?

Надобен ли хмель стиха
Веку, ветхому давно?

Век, шатаясь тяжело,
Тащит будущего груз.
Так уж все произошло,
Что уж точно — не до муз.

А просила сгоряча
В нищем, злом, родном углу.
Чтоб у каждого плеча
Да по белу по крылу.

1991 г., Москва.

* * *

Тяжкий гнет активной нелюбви.
Холод все напористей, все злей.
Хоть умом умишко назови —
Оттого не станет он светлей.
Торжествует — буква, попран — дух,
Время оскудения сердец!
Каждый встречный — черств, расчетлив, сух,
Знает, что почем — любой юнец.
Правят бал делишки: дела — нет,
И страстишки, что взамен страстей.
Тут "нэ трэба" свежих слов, поэт:
Ждет прагматик свежих новостей.
Сферы духа, мол, опасный лес:
Сломит ногу там себе — сам черт.
В гору прет технический прогресс
Бьется плоть за роскошь, за комфорт.
Дряхлый век — в неправдах закоснел,
Совести и чести — ни на грош.
Черный и позорный беспредел
Рыщет, свищет, всаживает нож.
Вечно "люди бьются за металл",
"Строгий кукиш" кажет нищета.

Может, разум ввек не побеждал?
Тщетно Слово славили уста?..

Январь 1995. Израиль.

* * *

Что в этом веке — честь присяг?
Что — древний герб? Что — древний флаг?
Взамен России — механизм
С названьем "тоталитаризм".
На семьдесят проклятых лет
Был зарешечен белый свет.
Все это можно — позабыть?
Остатки совести — избыть?
Мол, прошлое погребено,
Мол, это было так давно!
К чему, мол, раны растравлять,
В людей уныние вселять?
Бить в грудь себя, рубаху рвать?
Нет, надо деньги наживать.
Мы прежде — счет вели "врагам",
А нынче — счет ведем деньгам.
Все нынче — "дамы", "господа".
Да нравы те же, вот беда.
А наша общая вина
Покуда — не искуплена.

Коль ты богат — "ласкает двор",
У "сильных" — с чертом договор.
На стол, как прежде — век не нов —
Заносит ногу Смердяков.

Пока не возгорится свет
В сердцах, в умах — спасенья нет.
На экономике одной
Не выехать стране больной.
Где славный русский меценат,
Что честью и душой богат?
Где милосердия дела?

Их эра, видимо, прошла.
Кто духом мертв, тому не впрок
Его раздутый кошелек.

Но далеко моя страна,
Я от ствола отщеплена.
Я — "отщепенка"... До конца
Пути — удачней нет словца!
В пустыне, душной, как тюрьма,
Сойду на-нет, сойду с ума.
Мой вольный дух зажат тюрьмой.
И кто услышит голос мой?
Как Мандельштаму, неспроста
Мне "кукиш кажет" нищета.
Всех прав лишенная навек,
Я просто — б ы в ш и й человек,
Давно ушла за ту ч е р т у,
Через Лубянку — "на Ингу".
Одно лишь в дар досталось мне:
Подумать о с в о е й вине...

Декабрь 1994, январь 1995.
Израиль.

* * *

С поднятой высоко головою
Мне бы по свету ходить
И душой, бесхитростной, живою
Мила друга молодить.

Ан не кстати, ан не нужен свету
Слезный, грозный сердца жар.
Для чего мне — бабке и поэту
Дар любить — великий дар?

От меня в наследство — только внучка:
Ни брильянтов, ни мехов.
Да еще — простая авторучка
И — гора моих стихов.

Строчки — как в тюрьме, а не стареют.
Если протяну ладонь
К грудам папок, странно-сильно греет
Этот запертый огонь.

Ворохом в углу моем пылится
Труд ненужный долгих лет.
Знает, горбясь, каждая страница:
Ей не выбиться на свет.

Выйти на пустырь да чиркнуть спичкой?
Сжечь архивы? Но — к чему?
Только с арестантскою привычкой
Губы горькие сожму.

17.1.95. Израиль.

К ЛЮБВИ

Якову Хромченко

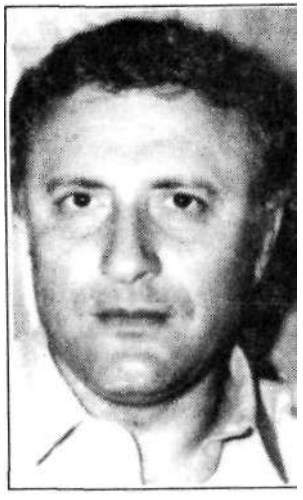
Не смотри, любовь, с укоризною,
Острым взглядом, мне сердце ранящим:
Ты ль не стала моей отчизною
И последним моим пристанищем?

Ясноглазая, вечно новая,
Ты — печаль моя необъятная,
Ты — дорога моя суровая,
Ты — вина моя неоплатная.

Ты к другим потянулась, милая,
Жизнь моя, моя память снежная.
Ты — равнина моя унылая,
Неоглядная и безбрежная,

Ты — заря моя, заря чистая
И река ты моя широкая...
Что ж молчишь, с другими речистая,
Моя нежная и жестокая?

18.1.95. Израиль.



Андрей ГРИЦМАН

ГЛУХИЕ ВРЕМЕНА

ВЕРМЕЕР

Повисшей ветви льнущая струя,
глухая дверь, грусть непрямого света.
Ни одного, ни одного лица,
но девочка в чепце и небо где-то.

Смолистый дух прибрежных городов,
безлюдных фабрик слюдяные окна,
кирпичных стен окаменевший слух.
Но из глубин прозрачные волокна

поверхностью зеркал отражены,
наметив в лёте: голубой и серый.
Замедленность струи и гвоздь в стене,
застывшая струна другого мира.

Гул тишины, прохлада полотна,
и облака плывут, как лодок днища.
И по краям воды зима видна,
И Брейгель маленький коньки в чулане ищет.

1993 г.

* * *

Бараки — заскорузлый рафинад.
Народ саднеет, свадьбу отгуляв.
Округа умерла. Или оглохла
от самовыраженья естества.
Зияют воплощеньем ремесла
провалы: ночью выбитые стекла.

Там известковый маетный раствор
сочится долго. Квелый разговор:
прописка, бюллетень, нарыв, посадка.
И письма, приходя издалека,
просты, как эта мелкая река,
пусты, как продуктовая палатка.

Сухих старух редеющий кружок
у рыбьей чешуи, наискосок
от голубятни с метами помёта.
Здесь небо остановленное ждет —
а может быть, чего произойдет:
звезда иль борозда от самолета.

1994 г.

* * *

И снова я ушел в родную речь:
Сыр, Хлеб, Оргтехника,
Кинотеатр "Керчь".
Туда, где жизнь свернулась на краю,
там, где конечная,
где я тебя люблю.
Где я стою на ветреном углу

с брюнеткой ветреной,
товароведом Женей,
что ведает неведомый товар
с романом Шелдона.
Короче говоря, другая эра.

Странные картины
застыли в павильонах февраля.
Чужие имена, дойдя до половины,
вдруг замерзают.
Гулкая земля звенит.
И ржавая имперская заря
трепещет вымпелом
над очередью длинной.

Но сделай шаг,
и наполняет грудь
гарь честности на пушкинских снегах,
что светятся по далям околотка,
и берендеев лес забором четким
плывет в окне автобусной зимы.

Грохочет дверь. Закончена посадка,
и глохнущие близких голоса
едва ли различимы, далеки.
Родная речь из тьмы, и тьмы, и тьмы,
за слюдяным стеклом в утробно-донном льду,
где тщетное тепло моей руки
уже не оставляет отпечатка.

1994 г.

* * *

Дыханье привыкает жить без снега,
в согласье с нёбом, жить без разговора
Чего-то ждет под южным, влажным небом,
а планам детства где-то уж под сорок.

Кто где, и телефонных номеров
при случае друзья уже не помнят.
И ты на перекрестке трех миров,
в аэропортах толпою обнят.

Остывшие, глухие времена.
Распался круг, закрытый и привольный.
Нас упустили лагерь и война.
А в остальном... На этот век довольно

свечи, что принимает вид огарка.
Нас больше нет, и нет на нас Ремарка.

* * *

Есть групповой портрет, где были вместе,
тот, где друг друга все в кого-то прочат.
А почта в клюве доставляет вести
о пустыре. Что остается? Почерк,

как лыжный след на ледяных прудах,
где пар от переклички ночь туманит.
Мы ждем друг друга в разных городах.
И сердце успокоилось, но тянет,

и тянется к кому-то наугад
через пространство времени ведомо
неведомым чутьем, и до утра
во сне легко летит от дома к дому,

где никого. Пустой соблазн бумаги
и чудный шум потусторонней влаги.

1993 г.

Владимир ШЛЯПЕНТОХ

ПОСТКОММУНИСТИЧЕСКАЯ РОССИЯ: НОВЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ОРГАНИЗМ НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Тем, кто попытался предсказать будущее России в начале 80-х годов, прогноз не удался. Почти все из них сделали первый тип ошибки: они недооценили размах преобразований, перед которыми стояло общество. Хороший пример другого типа ошибок показали те, кто анализировал Россию периода 1918—1941 гг. Многие предсказывали гибель советской системы и не верили, что после Октябрьского переворота родилось новое общество, новый социальный организм, основные институты которого не изменятся радикально в течение восьми десятилетий.

Конечно, за это время в России произошли многие крупные события: коллективизация, индустриализация, массовый террор 30-х годов, вторая мировая война, ре-

формы Хрущева и Горбачева. Однако, вплоть до Августовской революции 1991 года советская политическая и экономическая система оставалась той же, что сформировалась сразу после большевистской революции.

Интересно, что тогда не нашлось мыслителя, способного осознать сущность нового коммунистического общества, как это сделал более 150 лет назад Алекс Токвиль, французский аристократ, относительно нового американского общества. Он сумел понять суть общественного строя, возникшего в Америке в начале прошлого века, во время своего короткого путешествия в 1831 году. Вместо того, чтобы фокусировать свое внимание на тенденциях развития нового строя, он выявил существенные элементы американского общества, которые сохранились до последнего времени. Можно представить, что если бы Токвиль совершил поездку по России 1991-1993 годов, то он увидел бы новый социальный организм и прогнозировал бы, что он будет функционировать, по крайней мере, несколько десятилетий. Именно потому, термин "переходный период" в отношении Новой России вводит в заблуждение, ибо ведь он предполагает, что Россия движется к либерального капитализму, или возвращается к тоталитаризму. Я же считаю, что переходный период от коммунистического к новому русскому обществу в основном закончился.

Феодально-индустриальное общество

Так же, как это случилось после 1920 года, в России в течение ближайших десятилетий произойдет много драматических событий, плохих и хороших. Но все, что случится в грядущие годы, будет определяться теми политическими, экономическими и социальными структурами, которые уже сформировались сейчас. Однако, существует радикальное различие между Россией, которая появилась в 1917—1918 гг., и Россией, родившейся в 1991-93 гг. Эти различия весьма важны для представлений о сути современного русского общества. Россия, родившаяся в

Октябре 1917 г. оказалась стабильным обществом, хорошо контролируемым политической элитой. Напротив, Россия, появившаяся в августе 1991 г. будет по сути своей нестабильной еще в течение десятилетий. Ее основной, определяющий признак — перманентное состояние высокой неустойчивости с периодами хаоса и частой сменой администрации в Кремле.

Естественно, что, как и любой социальный организм, сегодняшняя Россия не будет существовать вечно. Ряд тенденций, сформировавшихся в наши дни, приведут в конечном счете к исчезновению того общества, которое существует сейчас. В то же время, какие бы события не произошли в стране, какой бы режим не установился в Москве, Россия никогда не вернется к коммунистической системе, как не вернулась, скажем, Франция Бурбонов в 1815 году к дореволюционной Франции.

Как бы то ни было, сегодня Россия представляет собой вид социального животного, до сих пор в мировой истории неизвестный. Это общество, в котором политическая власть (наследие советского прошлого), частная собственность (институт Западного происхождения) и криминальные структуры оказались тесно переплетенными и в ближайший исторический период не видно никаких перспектив их отделения друг от друга.

Современная Россия вызывает различные исторические ассоциации. Ее ситуация напоминает раннее европейское средневековье. Именно тогда частная собственность на землю — основная ценность того времени — не была отделена от власти короля и аристократии. Именно тогда роль закона были минимальна в отношениях между феодалами, и грубая сила решала конфликты. Слова о единстве нации были пустым звуком, а каждый регион рассматривал себя как самостоятельное государство.

Тогда, как и в нынешней России, личные, чаще всего семейные связи, обещавшие лояльность королю, феодалу, епископу или в современных понятиях, президенту, министру, губернатору, директору банка или руководителю компании, — служили базой для формирования

разнообразных структур (в те времена военно-феодальных и церковных, теперь финансово-промышленных и бюрократических).

Тогда церковь, вместо того, чтобы служить Богу и своей пастве, была больше всего озабочена умножением своих богатств и как могла помогала власти. Теперь mass media также откровенно, как раньше церковь, работает на тех, кто гарантирует ей материальное преуспевание. Самое примечательное однако, что и тогда и теперь сильные мира сего не чувствовали себя в безопасности, а скорее ощущали себя временщиками, которые стремились использовать свое шаткое положение для быстрого обогащения своего и своих близких (феодал мог завтра потерять свой лен, придворный свой пост, точно также как нынешний директор банка, министр или всесильный начальник охраны президента может завтра оказаться в тюрьме или даже в другом мире).

Как возникла Новая Россия: гибель идеологии

В ближайшие десятилетия жизнь в России и ее социальные институты будут в большой степени определяться следующими четырьмя факторами: слабой центральной администрацией, отсутствием эффективной господствующей идеологии, влиянием Запада на все сферы жизни, пассивностью и отчуждением народа от государства. Рассмотрим каждый фактор отдельно.

Наиболее важным результатом горбачевской перестройки и Августовской революции 1991 года явилось существенное ослабление, а затем и гибель господствующей коммунистической идеологии, которая создавала ценностный консенсус нации, она была непременным условием (как и господствующая идеология в любом другом обществе, включая Америку) для функционирования любых социальных институтов. С гибелью этой идеологии, не замененной никакой другой, русская государственность пришла в упадок.

Только очень недалекие люди из числа русских демократов могут радоваться, ссылаясь на опросы, что население теперь не приемлет никаких идеологий и озабочено только условиями своей индивидуальной жизни. В действительности, это огромная трагедия России, преодолеть которую без жертв будет очень трудно. Социальная значимость гибели господствующей идеологии в условиях, когда она оказалась не замененной другой, можно как-то понять, если вспомнить Италию 15 века времен Борджиа, когда вера в Бога рухнула, даже в Ватикане, и когда было "дозволено все, потому что Бог умер". В 1991 в России также умер "бог" — вера в коммунизм, в его мощь и величие, в его превосходство над Западом, в его заботы о гражданах.

В то же время приватизация в условиях слабого государства и отсутствия сильной идеологии привела к фундаментальным процессам, которые еще больше ослабили это государство и порядок в стране. Чиновники, директора государственных предприятий, новые бизнесмены, взаимодействуя друг с другом и систематически нарушая закон, стали превращать государственную собственность в свое личное имущество, используя его не для инвестиции в производство, а главным образом для дальнейшего обогащения через внешнюю торговлю и финансовые спекуляции, а также для своей "красивой жизни". Незаконный характер приватизации в условиях слабого государства и всеобщей коррупции бюрократии, сделало неизбежным возникновение мощных криминальных структур, которые вошли как равноправный партнер в альянс чиновников и собственников.

Отсутствие разделения экономической и политической властей, а также слияние преступного мира с экономикой и политикой, привело к появлению политико-индустриальных клик как территориальных, так и "отраслевых". Наиболее известные из них контролируют производство, добычу ценных металлов, экспорт оружия, импорт потребительских товаров, финансовую систему. Поскольку эти клики не могут установить общих правил игры всех

участников, борьба между ними за перераспределение собственности, за контроль над природными ресурсами и над правительством становится ядром политических и экономических процессов в стране. Это борьба еще более ослабляет государство.

Само собой разумеется, в новой России проблема конфликта интересов различных социальных групп и лиц не беспокоит практически никого, включая тех, кто выступает в качестве активных поборников демократии. Премьер-министр не стыдится того, что владеет большим числом акций в подведомственной ему отрасли, видный журналист, анализирующий политику правительства в ведущей газете, является членом президентского совета и не стесняется этого, равно как его коллеги в другой популярной газете называют банкира, открыто контролирующего политику газеты, своим "боссом". И неизвестно, сколько пройдет времени, пока в России государственные чиновники не будут так откровенно использовать свое положение для обогащения и сохранения власти, а собственники будут остерегаться так открыто подкупать власть и СМИ, как теперь.

Разумеется, что в этих условиях координация деятельности различных институтов власти невозможна. Поэтому современное русское общество естественнее всего характеризовать как некое феодально-индустриальное образование, как бы не имеющее прецедентов в мировой истории. Возникновение частных армий у бизнесменов, вооруженных подразделений, с одной стороны, и специальных военных формирований президента, не входящих ни в одно Министерство (раньше охрана Кремля была частью КГБ) вызывает прямую ассоциацию с Францией или Россией до формирования национального государства. В то же время, обогащение новой знати за счет поставок сырья на мировой рынок и ее вовлеченность в самые современные банковские операции напоминают нам, что Россия находится в конце 20 века. Необычайно высокая роль преступных элементов в важнейших процессах страны напоминает также эпоху Елизаветы I в XVI

веке, когда власть охотно кооперировалась с пиратами и другими уголовниками.

В то же время происходит криминализация всех слоев общества, в Центре и регионах. Наиболее значительные области криминального поведения: рэкет в бизнесе, личные армии, коррупция в органах правопорядка. Переплетение политических с криминальными структурами стало важнейший чертой общественной жизни страны. Очевидно, что немалое число депутатов в российском парламенте поддерживает активные связи с преступным миром, который играет все большую роль и в избирательных компаниях. Не менее характерно взаимодействие тех же криминальных элит со средствами массовой информации.

Слияние бизнеса и преступных структур относится также к числу наиболее существенных явлений современной России. Значительная, если не основная часть российского бизнеса, который сейчас производит 60-70% национального дохода, находится под контролем различных криминальных групп.

Возникающая в связи с этим новая психология становится важным элементом ментальности русских, особенно она воздействует на умонастроения молодежи. Сотни тысяч молодых людей вовлекаются в криминальную деятельность или служат в частной охране. Неуважение, даже презрение к закону, сейчас в России, видимо, такое же, как в 1917 году, когда была свергнута монархия. Проникновение преступности во все сферы жизни таково, что значительная часть русского общества поддерживает мнение о необходимости соглашения между официальными властями и преступным миром. В этом ей видится наиболее эффективный путь в борьбе с анархией. Очевидно, что криминальные структуры будут играть в стране ключевую роль многие годы, даже если та или иная диктатура на короткий срок сможет временного ослабить как-то их мощь.

Время, когда Россия была сильным централизованным государством, ушло навек. Автономия регионов сейчас довольно высока и, хотя взаимоотношения между центром

и провинцией будут постоянно меняться — то в сторону усиления периферии, то в сторону ее ослабления, центр никогда уже не будет авторитетен для регионов.

Региональная элита, как когда-то в средние века, равнодушна к интересам государства и обеспокоена только сохранением власти и личным обогащением. Некоторые отдаленные регионы (главный пример — Дальний Восток) экономически больше тяготеют к странам зарубежья, чем к Европейской части России. Население регионов в сущности безразлично к событиям в столице, да и в целом в стране. Высокие тарифы на транспорте невероятно сузили контакты людей Сибири и Дальнего Востока с их друзьями и родственниками в других частях России. Подобные обстоятельства заставляют людей все меньше и меньше чувствовать себя гражданами большой, единой страны. Московские газеты, например, провинцией в основном игнорируются. Постепенно Москва утратила свое важнейшее значение как административный, экономический и культурный центр страны

Запад

Важный фактор, который определяет и будет определять ситуацию в стране на многие годы, — это Запад, вокруг которого вращается русская жизнь. Все ее основные аспекты — экономика, политика, социальная структура и дифференциация, культура, наука, образование и мораль — все связано с Западом. В ближайшие годы про- и и антизападные партии и группировки будут сосуществовать и конкурировать за влияние. При этом значимость про- или антизападной партий будет колебаться в связи с колебаниями в общественном мнении.

Но Запад оказывает на Россию (как и на любое другое развивающееся общество) двойственное влияние: конструктивное и деконструктивное. Разумеется, представляя кредиты, технологическую экспертизу и новые технологии, Запад помогает России построить новое процветающее общество. Но в то же время он действует, как

магнит, притягивая лучшие материальные и человеческие ресурсы, а также навязывает свою систему ценностей обществу, не вполне готовому для ее восприятия. Поэтому на этой стадии развития страны влияние Запада во многих отношениях является дестабилизирующим и деконструктивным. Парадоксальная комбинация антизападных настроений и огромного влияния Запада на жизнь страны — что отмечал де Кюстин еще 150 лет назад — одна из наиболее специфических черт сегодняшней и завтрашней России. Многие люди презирают и проклинают Запад, однако, не прочь воспользоваться его благами. Эта позиция любви-ненависти и сделает взаимоотношения западных стран с Россией в последующие годы исключительно нестабильными.

Отсутствие доминирующей идеологии

Роль обоих факторов, рассмотренных выше — слабого государства и растущего влияния Запада на сегодняшнюю Россию и будущую Россию определяется в большей степени отсутствием в стране, как уже отмечалось, какой-либо доминирующей идеологии. Теперь ясно, что большинство россиян до 1989 года глубоко верили в основные элементы официальной советской идеологии. Эта идеология успешно внедряла в сознание масс и бюрократии социальное и национальное превосходство России над Западом. В 1989-1991 гг. были сделаны попытки заменить советскую идеологию новой, прославляющей либеральный капитализм. Однако, эти усилия оказались тщетными. Либеральная идеология партии Гайдара поддерживается не более, чем 10% населения. Программа коммунистов с ее акцентом на реставрацию социалистических идеалов, государственности и порядка также разделяется лишь меньшинством. Чисто националистическая идеология поддерживается не более, чем 10-15% населения. Время от времени то одна, то другая идеология может восторжествовать. При этом наибольшие шансы сегодня у националистической идеологии. Даже чистый нацизм может

при определенных обстоятельствах рассчитывать на активную поддержку меньшинства и пассивное согласие большинства. Многое зависит от того, кто в данный момент будет командовать СМИ, однако не скоро в России выработается идеология, способная объединить нацию и создать условия, необходимые для успешного функционирования государства и его институтов.

Пассивные индивидуалисты

Психология и поведение русских, как они сформировались в 1991—1993, вряд ли серьезно изменится в ближайшее время. Лишившись господствующей идеологии и прежнего патерналистского государства, русские повернулись спиной к политической жизни. Они превратились в пассивное население, настроенное крайне скептически к любым институтам власти, включая демократические. Они избегают выборы и презирают своих политиков. Они поглощены своей индивидуальной жизнью и враждебно относятся ко всем видам коллективной деятельности, они игнорируют политические партии и насмехаются над их лидерами. Их отчуждение от собственного государства проявилось в их равнодушии к целостности России, в массовом стремлении избежать службу в армии (когда-то почетный долг каждого гражданина), в их безразличии к судьбам русских в бывших советских республиках. Очевидно, что этот климат пассивности в последующих десятилетиях предоставит массу возможностей политическим популистам и авантюристам.

В то же время русская нация проявила невероятное терпение и искусство выживания в очень жестких условиях 1992—1993 гг. Значительно увеличив приусадебные участки, многие русские превратили свои дома в фабрики по производству продовольствия и разных услуг. Сократив свои потребности, они сумели выжить даже тогда, когда не получали зарплату в течение многих месяцев подряд. Опыт 1991-1993 гг. свидетельствует, что русские

в состоянии пережить трудности, которые им предстоят в ближайшие годы.

Отсутствие достойной элиты

Общий эффект трех основных факторов, определяющих характер российского общества (слабое государство, отсутствие сильной идеологии и влияние Запада) породили один из наиболее важных феноменов современной России: отсутствие лидеров, способных объединить страну для строительства лучшего общества. Россия сегодняшняя (и судя по всему, также и завтрашняя) не будет иметь лидера, который бы пользовался моральным авторитетом в стране.

Радикально другой была ситуация после Октябрьской революции 1917 года, когда большевики пользовались моральной поддержкой значительной части активного населения. Даже в брежневское время в России были люди, служившие моделью поведения для многих граждан. Между тем, новая элита, политическая и экономическая, и даже "контрэлита" — оппозиция, поглощены собственным благосостоянием, открыто пренебрегают законом, готовы прибегнуть к любым методам, даже преступным, для сохранения приобретенной власти. Пожалуй, никогда в истории России у власти не стояли деятели столь равнодушные к национальным интересам страны, как нынешние политики и бизнесмены.

Значительное число людей, принадлежащих политическим, экономическим и культурным элитам, не связывают свою судьбу, особенно судьбу своих детей, с Россией. Они помещают деньги в западные банки, покупают недвижимость и посылают детей в западные университеты или же на работу за границу. Поразительно, что даже русские националисты едут на Запад, чтобы заработать деньги. Подобные действия вызывают гнев у их менее удачливых коллег по тому же патриотическому движению.

Безудержное потребительство, слабое государство и отсутствие сильной идеологии обуславливают вовлечение

членов всех элит в различные формы криминальной активности.

Поглощенные сохранением своей власти, политическими интригами и боясь наказания за коррупцию и свой стиль жизни, русская элита в то же время продемонстрировала исключительно высокий уровень некомпетентности. Чеченская война дала хорошую возможность оценить качество управленческой верхушки российской администрации. Вспомним знаменитое заявление Черномырдина "хотели как лучше, а вышло как всегда". Трудно ожидать, что моральный и профессиональный уровень русских элит изменится в последующие несколько лет. Напротив, их воспроизведение вместе с их нынешней моралью и профессионализмом будет продолжаться по существующей модели.

Обреченная российская экономика

В стране, лишенной эффективной власти, экономика не имеет шансов для значительного прогресса. Условия, необходимые для развития рыночной экономики и конкуренции, не могут быть обеспечены без сильного государства. Безопасность для бизнесменов, соблюдение правил игры с экономическими партнерами, эффективное правосудие, терпимый уровень бюрократической коррупции, действенные государственные программы поддержания ключевых ветвей экономики, контроль за вывозом капитала за границу — все это необходимо для экономического процветания страны. Этих условий сейчас в России нет и скорее всего их не будет в последующие десятилетия.

Приватизация, носящая характер "черного передела", вместо создания эффективного предпринимательства и сильной конкуренции, привела к появлению класса богатых людей, которые далеки от того, чтобы играть роль героев Драйзера и возглавить экономический прогресс в стране.

Даже на своем собственном рынке товаров русская экономика обречена играть подчиненную роль. Как бы ни

развивались рыночные отношения между Россией и Западом, можно утверждать, что западная экономика будет доминировать и в последующие годы. Русские электронные товары, автомобили и сельскохозяйственные машины никогда не смогут соперничать по качеству с западными. Более того, непохоже также, что российское сельское хозяйство сможет восстановить монополию на своем рынке.

Даже при оптимистическом взгляде на западные инвестиции невозможно предположить, что удастся в ближайшем будущем хотя бы частично сузить технологический разрыв между Россией и Западом. Скорее всего, этот разрыв будет расти. В то же время Запад сохранит большой рынок для вывоза российского сырья (нефть, олово, алюминий, различные руды, золото, цветные и ценные металлы, также некоторые виды сельскохозяйственного сырья). Другой сектор экономики, который процветает и будет играть ведущую роль в экономическом развитии России — это импорт и продажа товаров массового потребления. В экспорте капитала из России на Запад будут наблюдаться (колебания) приливы и отливы, но вряд ли какое-либо правительство, даже диктаторское, будет способно значительно сократить отток денег из страны.

Некоторые события в будущем

Упадок России как могущественного государства создаст благоприятные условия для попытки установления диктатуры военной или гражданской, через выборы или без них. Очень возможно, что армия будет использована для установления диктатуры с целью восстановления порядка, искоренения коррупции и попытки улучшить жизнь масс. Многие даже называют имена генералов, которые смогли бы сыграть роль Бонапарта (или же, в случае неудачи, Буланже). Очевидно, что большинство русских, также как и некоторые политико-индустриальные кланы, поддержат даже чисто военный захват власти. Нельзя

исключить того, что и нынешний Президент попытается осуществить сам что-то типа суррогатного переворота.

Однако, репрессивное государство, созданное военными или другими подобными силами, не будет в состоянии решить основные экономические и социальные проблемы страны. Даже если новый режим сократит преступность в первые несколько месяцев, он не будет способен обеспечить населению ощутимый рост уровня жизни. Скорее всего, жизнь станет хуже, и население будет вспоминать 1992-1995 гг. как "золотой век". Так что военная или другая форма диктатуры, не сумев разрешить ни одну российскую проблему, будет вынуждена демонтировать сама себя в относительно короткий срок.

Вместе с тем имперский комплекс будет оказывать долгие годы влияние на будущее страны. Хотя, отношение русских к реставрации империи довольно противоречиво, нынешние и будущие поколения русских политиков будут продолжать разыгрывать имперскую карту для захвата или сохранения власти. Германские князья после распада Каролингской империи несколько веков пытались использовать имперские настроения для достижения своих целей, а весь 19 век идеи реставрации то Бурбонской монархии, то Наполеоновской империи оказывали мощное влияние на всю французскую политику. В то же время ситуация в бывших советских республиках (за исключением Балтийских) будет нестабильной в обозримом будущем. Эта нестабильность будет усиливать надежды некоторых политиков на успешную политическую карьеру. Владея прессой, они могут увлечь за собой агрессивное меньшинство русского населения и использовать его в своих целях.

Огромная социальная поляризация общества, которая не имеет шансов ослабеть в ближайшие годы, а, возможно, десятилетия, и обещает также серьезные конфликты. Этому будет способствовать криминализация сознания, особенно у молодого поколения, постоянный рост числа люмпенов, людей, лишенных всяких социальных ценностей и отвергающих все социальные институты. При от-

сутствии идеологии, способной легитимизировать этот разрыв между богатыми и бедными, а также сильного государства, опасность мятежей, бунта и даже гражданских войн будет угрожать стране. Терпение русских, опирающихся на свой печальный исторический опыт (всякие попытки изменить строй силой только ухудшает положение вещей), их способность приспосабливаться к тяжелой жизни послужит, возможно, основным противоядием этой тенденции. Но все же, как показал Чеченский конфликт, даже относительно ограниченные по размерам беспорядки на территории России имеют огромные и непредвиденные последствия, усиливая опасность хаоса и дезорганизация общества.

Важно влияние на будущее России оказывают размеры страны. Даже при относительно развитой экономике, сильном государстве и эффективной идеологии сохранение целостности государстве таких масштабов, как Россия, очень трудная задача. Возможно, в конце концов, Москва потеряет контроль над Дальним Востоком, Калининградом и частью Северного Кавказа. Подобное развитие событий создаст новую геополитическую ситуацию в Азии, последствия которой сейчас невозможно предвидеть.

Заключение

В России нет и не будет много лет сил, способных осуществить отделение политической власти и собственности, радикально ослабить преступность, которая влияет на все стороны русской жизни. Для создания общества, в котором политическая и экономическая власти были бы отделены друг от друга, хотя бы так, как на Западе, а криминальные структуры существенно ослаблены, нужна кровавая революция, которую никто в России не хочет, включая обездоленные массы. России нужно сильное государство. Однако то, которое могут создать коммунисты или националисты, будет еще худший монстр, чем советское государство. Здесь-то и находится порочный круг,

из которого Россия может выйти только путем длительной эволюции, формируя такую социальную и национальную идеологию, которая может создать консенсус ценностей для большинства населения, особенно для ее активных слоев, интеллигенции, в первую очередь.

Безусловно, Россия как нация не исчезнет и преодолеет этот тяжкий период своей истории, несмотря на локальные конфликты, политические кризисы и экономические потрясения. Где-то в будущем появится новая Россия, четвертая по счету (после предреволюционной коммунистической и новофеодальной). В конце концов, страна приобретает опыт рыночной экономики и демократических институтов, появляются поколения молодых людей, стремящихся жить в современном обществе, и эти обстоятельства сыграют свою роль в будущем. Новая Россия будет, вероятно, меньше нынешней, но это будет более стабильная страна с политическими институтами, скорее демократическими, нежели авторитарными. Остается надеяться, что это произойдет не в очень отдаленном будущем.

Лев НАВРОЗОВ

КАКОЙ КАПИТАЛИЗМ ХОТЯТ РУССКИЕ?

И каков он в Америке

В марте 1992 года я послал в российскую газету "Известия" мою очередную колонку-эссе, которая начиналась так: "В Нью-Йорке это называется дискуссионный завтрак. За столом — Сергей Красавченко и Александр Починок, главные российские законодатели в области экономической реформы. Они — "председатели соответствующих комитетов парламента России". Справа от меня Василий Леонтьев, русский гений-эмигрант, получивший Нобеля за один из первых шагов на пути к планированию экономики. Слева — доктор экономики и бизнесмен Джордж Кендалл. А напротив — миллиардер Сорос."

Дискуссионный завтрак посвящен развитию капитализма в России. Мы сидим посередине зала за столом, вкушая завтрак, словно на сцене, и выступая, а журналисты расположились по стенам кругом. Ниже я излагаю одно из соображений, высказанных мной на этом завтраке.

Явлинский обещал создать капитализм в России за 500 дней, но вместо Явлинского к власти пришло правительство Ельцина-Гайдара, которое обещало создать капитализм к осени текущего года. Капитализм формировался в Соединенных Штатах три столетия. Что он дал Америке? Допустим, правительство Ельцина-Гайдара сумеет сжать эти три столетия до 10, 20, 30 лет. Ясно, что капитализм не может дать России в 2002, в 2012 или в 2022 году больше того, что он дал Америке.

Но этого ли ожидает население России от капитализма? Возможно, оно не знает, что может и чего не может дать капитализм. Возможно, оно ждет от него совсем другое!

Те, кто жили в России в 1992 году и читали российскую прессу, могут предположить, что большинство российского населения ожидает от капитализма то, чего он не дал Америке после трех столетий своего развития и чего он, естественно, не может принести России. А то, что он дал Америке, население России не ждет и не желает!

Что же в силу этого заблуждения произойдет? Допустим, в России создан капитализм, как он существует в Америке после трех столетий развития. Большинство жителей скажет: "Да это не капитализм, как мы его себе представляли! Это — возмутительное безобразие! Нас обманули!"

А подобное разочарование может означать либо падение правительства Ельцина и приход к власти нового Гитлера или нового Сталина, либо вынужденный переход правительства Ельцина к диктатуре, что может означать в конечном счете то же самое. Тогда, в условиях диктатуры, население не будут спрашивать, что ему нравится, а что ему не нравится. В 1936 году даже такие изощренные деятели культуры, как Пастернак и Чуковский, искренне восторгались Сталиным, как это ясно из дневников Чуковского, опубликованных в России.

Итак, необходимо прежде всего установить, каким представляет себе капитализм большинство граждан

страны, в частности, работники печати и деятели культуры, и чего они ждут от своего воображаемого капитализма.

Дешевизна при воображаемом капитализме

Вскоре после захвата власти в ноябре 1917 года Ленин учредил общество, в котором не было денег, а все товары бесплатны. Задним числом пишущие в советской печати утверждали, что на все это он пошел из-за войны. Это — вымысел, придуманный задним числом. Да и денег по случаю войны никто никогда не отменял. Отмена Лениным денег свидетельствует о его крайней наивности, которая привела страну к страшнейшему голоду, когда голодная смерть угрожала в одном лишь Поволжье 25 миллионам жителей, согласно газете "Правда".

Но если кончивший университет, поживший на Западе Ленин был столь российски наивен, то что же говорить о менее образованной части населения?

В 1929 году было объявлено, что всеобщая "бесплатность" будет достигнута в результате пятилетнего плана. В антисоветском анекдоте того времени спрашивали: "А что будет после пятилетнего плана?" Ответ: "Второй пятилетний план", Слушатели хохотали: вот так поддели советскую власть — в т о р о й пятилетний план! А в 1986 году пошел д в е н а д ц а т ы й пятилетний план. В результате пятилетки в 1933 году предполагалось выпустить 150 миллионов легковых автомобилей, то есть достигнуть изобилия, при котором машины станут бесплатными. Как соль в московских столовых. Никто не будет сыпать себе в суп в столовой больше соли, чем ему нужно. Точно так же никто не будет брать себе второй автомобиль, если он уже взял себе один в этом году. Ведь 150 миллионов в год — это ежегодно по автомобилю на каждого, исключая детей.

Стоит указать одну из причин, по которой эти 150 миллионов автомобилей так и не были выпущены в 1933 году. Дело в том, что советские экономисты (а, между прочим, они считались не менее знающими, чем в 1992 году Гайдар или Явлинский) ориентировались на автомобиль Форда "Модель Т": дешевая, выкрашенная черной масляной краской, коробка с простейшим дешевым мотором. Но пока советские экономисты думали, судили и рядили о "великом плане" (см. "Рассказ о великом плане" Ильина, брата Маршака), "Модель Т" вышла из моды. Над ней уже смеялись. Сам Форд едва успел сменить ее на более современную модель, а в 1932 году он произвел восьмицилиндровый мотор.

Но я помню, как московский таксист в 60-х годах сообщил мне, что в Америке автомобиль стоит 1 доллар. Какой автомобиль? Автомобиль! Таксист, видимо, слышал, что в Америке старый автомобиль, который уже слишком дорого чинить, был продан за символическую цену в 1 доллар, чтобы увез его на свалку покупатель, а не продавец. В сознании таксиста сложилось мнение — если не о безвозмездности всех товаров и услуг, как было обещано при коммунизме, то во всяком случае об их дешевизне, граничащей с бесплатностью. Капитализм в сознании этого шофера такси — это коммунизм, где царит всеобщая дешевизна, граничащая с бесплатностью, причем не только таких товаров, как хлеб и соль, но и таких, как заграничные автомобили.

Следует указать в этой связи на разницу в историческом развитии Восточной Европы (включая Восточную Германию и Россию) и северо-западной Европы, включая ее заморские поселения и, прежде всего, США.

Восточная Европа — это поздний абсолютизм, позднее крепостное право и деревенско-городская нищета. Хотя Маркс написал критику на книгу Прудона "Философия нищеты" и едко назвал свою критику Прудона "Нищета философии", сам-то Маркс как раз и был философом нищеты. Мечта живущих в нищете — это получать бесплатно или, хотя бы, очень дешево определенный набор товаров и услуг, паек "предметов первой необходимости". Христос призывает верующих жить, как "птицы небесные", которые "не сеют и не жнут, однако же сыты". То есть — Бог должен давать хлеб даром. В Восточной Европе XX века богом был Маркс, и предлагаемый им коммунизм. В 1992 году коммунизм превратился в капитализм, при котором автомобиль стоит 1 доллар, а уж хлеб-то наверняка раздается бесплатно. Ведь даже в

брежневской России черный хлеб стоил 12 копеек кирпич, а уж в Америке, небось, еще и приплачивают тем, кто берет хлеб.

Но население Америки ждало от капитализма и получило совсем не то, чего ждет от него большинство населения России на март 1992 года, когда правительство обещало создать капитализм уже к осени. Да и килограмм хлеба в Америке не стоит дешевле по отношению к средней зарплате, чем стоил килограмм ржаного хлеба в брежневской России. Чего же достиг капитализм, если он не сумел снизить стоимость даже хлеба насущного по сравнению с брежневской Россией! Все дело в том, что Америка искала не дешевизны товаров и услуг, а высокой меры их разнообразия, свободы выбора, и капитализм ее дал — с лихвой!

Вот пример из моей жизни в Нью-Йорке. Моя жена спросила у меня, как я хочу отпраздновать свой день рождения. Я сказал, что я хотел бы пригласить близких друзей семьи на французский обед. В то время я носился с мыслью, что человечество создало только две великие кухни: французскую и китайскую. Но французская кухня победила с помощью вин и сладостей. Кроме того, на китайский обед мы приглашаемся ежегодно по случаю встречи китайского Нового года тайваньским Институтом китайской культуры. Словом, желаю французский обед.

Оказалось, что в Нью-Йорке есть французский ресторан, где с каждого посетителя берут 90 долларов (средняя дневная зарплата), и за эти 90 долларов он пробует 700 французских блюд XIV-XX вв. Мы, однако, сочли, что такая трапеза лишена застольной теплоты общения, и справили мой день рождения в другом недорогом французском ресторане. Мы пришли туда заранее и составили с помощью чрезвычайно милых французов — владельцев ресторана, обед, который бы заказал на свой день рождения француз со средним достатком, но с изысканным вкусом. Владельцы ресторана были увлечены составлением меню такого обеда и спорили между собой, переходя на французский язык, какое вино будет пить француз

со средним достатком, но с изысканным вкусом, какими закусывать блюдами и т.д.

Что же сказал бы Маркс или марксист по этому поводу? Прежде всего, что мы купаемся в буржуазной роскоши, а в Нью-Йорке около ста тысяч бездомных. Надо было отдать бездомным те деньги, которые мы заплатили за обед. (Меня лишь утешает то, что я не помню случая, когда Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин или кто-либо другой, называвший себя коммунистом, отдал бы конкретным беднякам свои личные деньги).

Другое направление марксистской критики этого французского обеда заключается в том, что этот обед — глупая трата времени и денег. Маркс создал свой образ Человека с большой буквы, в основе которого лежит личность самого Маркса. Все, что думает, чувствует и делает Человек, — это прекрасно, а все остальное — это буржуазная, то есть мещанская трата времени и денег. Экономика для общества, член которого Человек, — проста, как выдача пайка крепостной армии, и те, кто жили в нищете веками или тысячелетиями, желают именно хорошего пайка. Должен Человек иметь автомобиль? Если да, то произведем 150 миллионов автомобилей и выдадим каждому по автомобилю бесплатно или за один доллар штука.

Цель трех столетий развития капитализма в США — не удовлетворение примитивных потребностей Человека, а продажа тех товаров и услуг, за которые платят деньги. Почему? А это уже дело каждого покупателя. Я решил заплатить деньги за французский обед. Почему? А это мое дело. Если хотите, мой личный каприз. А так как капризы различных людей бесконечно разнообразны, то возникает бесконечное разнообразие товаров и услуг.

Дороговизна при настоящем капитализме

Высокая мера разнообразия товаров и услуг уже сама по себе означает их дороговизну. Представьте себе, что производится 100 миллионов тонн товаров, но в одном

случае производится 100 товаров (1 миллион тонн каждого товара), а в другом — 1 миллион товаров (100 тонн каждого товара). Хотя в обоих случаях производится по 100 миллионов тонн товаров, легко себе представить, насколько более дорогим является производство, хранение и продажа одного миллиона товаров.

Поскольку западная экономика занималась сравнением уровня жизни западных стран с сопоставимой мерой разнообразия, ЦРУ никак не могло понять, что советская продажа в основном двух видов алкоголя — водки из отходов древесины круглый год и "Советского шампанского" по праздникам, — это не то же самое, что продажа 700 вин и водок в маленьком винном магазинчике у нас, в Нью-Йорке на углу, хотя по весу, объему, валу советская продажа алкоголя превышает американскую, а по стоимости по отношению к средней зарплате водка из отходов древесины даже дешевле. У ЦРУ выходило, что советский уровень жизни выше американского. Поэтому Лондонская школа экономики и политологии попросила меня написать статью о ложности показаний ЦРУ Конгрессу, каковая и была ею издана. Чтобы пояснить меру разнообразия, я рассказал в статье, что когда я зашел в Нью-Йорке в наш маленький винный магазинчик на углу и спросил, есть ли у них "Асти спуманте", потому что, перечисляя былую аристократическую роскошь до 1917 года ("Я пью за военные астры..."), Мандельштам упомянул в конце стихотворения "Асти спуманте". А продавец мне сказал: "Сэр, у нас три вида "Асти спуманте". Какой вы имеете в виду?"

Разнообразие дорого стоит и потому, что производить, хранить и продавать приходится и то, что, возможно, никто не купит. Мой друг, глава одной из крупнейших фирм мира по изучению спроса на товары и услуги, утверждает, что 80% новых американских товаров, поступивших на американский рынок, не продаются и изымаются из производства и сферы обслуживания соответственно. Об этом писал Ильин еще шестьдесят с лишним лет назад в своем "Рассказе о великом плане", как об одном из пороков капитализма. Как бы он обрадовался, узнав такую цифру! Даже ему она не приходила в голову шестьдесят с лишним лет назад. Какая растрата производственных сил общества! Вот что такое капитализм!

Если бы можно было собирать квартиры на заводском конвейере, как Форд собирал "Модель Т", то как дешево они бы стоили! Но строительство стандартных домов запрещено во многих городах США. Общество внедряет разнообразие в законодательном порядке.

Когда советская печать уверяла советское население, что квартплата в Америке поглощает одну треть средней зарплаты, это было не совсем точно. Если говорить о средней зарплате после вычета налогов (а налоги — это треть и более зарплаты), то плата за хорошую (по московским понятиям) квартиру для семьи из четырех человек в районе Нью-Йорка (с невысоким уровнем преступности) поглощает добрую половину средней зарплаты.

В то время как одной из причин дороговизны жилья является желание, чтобы квартиры строились без стандартизации, заводского конвейера и других научно-технических достижений XX века.

Когда-то для образования решительно ничего не было нужно, кроме устной речи. Сократ говорил ради собственного удовольствия, а ученики ему внимали или спорили. Теперь же даже для школьного обучения нужны библиотеки, компьютеры, лаборатории. Мой американский знакомый получает в виде твердого оклада 9 тысяч долларов. Это вчетверо выше средней зарплаты. А он рвет на себе волосы: "Как жить?". Конечно, житель России может смотреть на него, как крестьянин сто лет назад на барыню, которая бесится с жиру. Но я спрашиваю у него, куда он девает деньги? Куда? У него вид загнанного зверя. Куда! У него трое детей получают высшее образование, а это — 60 тысяч долларов в год. Его зарплаты едва хватает после вычета налогов, чтобы платить за их образование. А на что жить?

В Америке без высшего образования для многих американцев нет культуры. Только в университетах они изучают право, медицину или науки, и в то же время узнают, что жил-был на свете Бах, Бетховен, Бизе, Достоевский,

Чехов, Маркс (молодой), Прудон, Ницше, Ибсен... Без высшего образования для них будут существовать лишь ревущие белугами рокеры, дискотеки, наркотики... В рабочей семье дети часто идут по стопам родителей безо всякого высшего образования. Они женятся и выходят замуж, покупают дома в рассрочку, растят детей. В этой среде можно услышать: "Обойдемся и без науки". Но в семье интеллигенции дети жаждут для себя необыкновенного. Не получив высшего образования, они ищут это необыкновенное в наркотиках и погружаются в трясину "вечной молодежи", если не кончают жизнь самоубийством.

Есть, однако, область, где нельзя сказать: "Обойдемся и без нее". Эта область — медицина. Утверждение, что "каждый должен иметь право на квалифицированную медицинскую помощь ради спасения своей жизни" — это такое же утверждение, как утверждение, что каждый из 5,6 миллиардов жителей земли должен иметь право на полет на Луну. Увы, полет на Луну стоит дороже, чем, скажем, прогулка на лодке по озеру (в детстве у меня была лаковая открытка, где эта прогулка очень красиво изображалась). По этой же причине визит к врачу в конце XX века стоит дороже, чем он стоил в XIX веке, когда врач исследовал больного, приложив ухо к его груди, а ныне в Америке появилась машина, анализ с помощью которой стоит 2 тысячи долларов. Никакие страховки, национальные программы, социализмы, капитализмы, коммунизмы не могут устранить рост дороговизны медицины в силу развития науки и техники, как они не могут устранить рост дороговизны передвижения с помощью космического корабля вместо лодки на веслах.

Три года спустя: "И это — капитализм?"

Все изложенное было сказано мною, в частности, в колонке-эссе для газеты "Известия" в марте 1992 года. Что же "Известия"?

Владимир Надеин, заместитель главного редактора Го-

лембиовского, прислал мне факс 14.4.92 г. с просьбой не печатать в "Известиях" эту колонку, поскольку она подрывает престиж правительства Ельцина и льет воду на мельницу его врагов. Факс кончался так: "Ради Бога, простите меня за вторжение в политическую ткань Ваших колонок. Но будьте снисходительны: у нас так мало места на страницах газеты, что в наше раскаленное время каждое выступление воспринимается как голос редакции".

То есть модой в демпрессе тогда была вера в правительство Ельцина-Гайдара, обещавших создать в России капитализм к следующему году, и моя колонка была немодной, ибо объясняла, что может и что не может дать капитализм населению страны, и, таким образом, подрывала веру в капитализм и, следовательно, в правительство Ельцина-Гайдара. А что может и не может капитализм, не знал и сам Гайдар, не говоря уж о Явлинском. Да и откуда же Гайдару или Явлинскому было знать это? Всемирно известными гениальными экономистами, вроде Леонтьева, их не назовешь, главное, при капитализме они сами никогда не жили.

Не публикуя мою колонку-эссе и другие подобные статьи, чтобы не ослабить правительство Ельцина-Гайдара, демпресса поддерживала ложное представление населения о капитализме.

Но вот прошло три года. Откроем любую из российских газет. Где мы все это уже читали? Да это же советская пресса, обличающая капитализм! Только теперь уже не в Америке, а в России. Но, разумеется, демпресса верит, что она обличает не капитализм, а, наоборот, бывшего коммуниста Ельцина, родимые пятна коммунизма, бывшую партийную номенклатуру. Ведь капитализм-то — хороший, при нем автомобиль стоит 1 доллар за штуку, взгляните на Америку! А в России разве капитализм? Да тут вместо капитализма творится сплошное возмутительное безобразие!

Мне сказал американец (только что из Москвы), что в смысле меры разнообразия "Мосторг" теперь не уступает

любому американскому магазину. А российская печать обычно представляет это разнообразие совершенно так же, как представлял его Маркс или Прудон до Маркса: это — кража, наглая роскошь грабителей-паразитов-богачей, издевательство над честными трудящимися!

Когда я опубликовал в газете "Российские вести" (27.11.93 г.) статью, где я говорил, что в сталинской России в магазинах часто не было ничего, кроме ржаного хлеба, соли и водки из древесных отходов, а у крестьян отбирали и хлеб, то я вызвал взрыв негодования в той же газете — возмущенный житель России не желал замечать, что в России теперь есть в магазинах не только ржаной хлеб, соль и водка из древесных отходов: он желал рыдать над дороговизной и другими ужасами капитализма в России, и хотел, чтобы весь мир тоже рыдал над ними.

Разумеется, при сопоставимой мере разнообразия, жизненный уровень, скажем, в Англии, — ниже, чем в США, а в России — еще ниже. В конце концов, капитализм в США развивался три столетия, а в России — только три года. По сравнению с Америкой или даже с Англией, Россия — нищая страна. "Россия, нищая Россия", — говорил Блок в начале века. Голодная смерть трижды косила миллионы советских людей. А к 1991 году Россия стала по сравнению с Америкой или даже Англией еще более нищей. Кто же в этом виноват? Правительство? Ельцин?

Но я не встречаю подобных соображений в русскоязычной прессе в России или на Западе. Все замечания по поводу нищеты в России обычно сводятся к ужасам нынешней дороговизны, причем я ни разу не видел сравнения цен по отношению к средней зарплате, скажем, в 1964 или в 1984 и в 1994 году. Называются с ужасом лишь нынешние цены, пенсии и зарплаты, словно Россия была три года назад богатейшей страной в мире, страной больших пенсий и высоких зарплат, а руководство страны ввергло население в голодную смерть, устроив умопомрачительную дороговизну.

Свобода — это и для мафии свобода.

Российская демпресса и отчасти эмигрантская пресса видят Америку так же, как в свое время советская пресса видела советскую Россию: изобилие, дешевизна, порядок и вообще полное отсутствие пороков капитализма. А Россию демпресса и отчасти эмигрантская пресса видят так же, как советская пресса когда-то видела Америку: нищета, дороговизна, беспорядок, проституция и все остальные пороки капитализма.

В каждой московской газете вы сегодня можете прочесть, что Россия — страна организованной преступности. Будто та же организованная преступность, мафии, криминализация общества, коррупция и другие формы попирания закона не занимают того же или еще большего места в США. По предварительным данным 1995 года в Америке произошло почти два миллиона преступлений с применением насилия, в том числе 24500 убийств. Начиная с 1985 года, ежегодно судами выносится свыше тысячи приговоров по обвинению в коррупции официальных лиц. Для былых советских собкоров в Вашингтоне эти цифры доказывали, что преступность охватила по существу всю Америку. Вычислялось, сколько преступлений совершается каждый день, каждый час и минуту, в связи с чем возникало удивление, что кто-то еще в США жив. Поскольку преступления показывались в телевизионных "Новостях" раньше всякой другой информации, то многие советские граждане, проживавшие в США и смотревшие телевизор, были искренне убеждены, что США — это одно большое криминальное логово, сборище преступников, край вседозволенности. Тогда как в советской, особенно в сталинской России, уголовные преступления были отдельными, частными, единичными случаями, о которых в 30-х годах сообщалось в крошечной заметке на последней странице "Правды" под заголовком "Происшествия". Затем и эта рубрика исчезла, видно, в силу отсутствия столь редких уголовных преступлений. Ныне, когда преступления стали новостями

номер один и в московском телевидении (равно, как и в российских средствах массовой информации), Россия, как и Америка, стала представляться как одно большое криминальное логово, сборище преступников, край вседозволенности.

А ведь организованная преступность — это следствие свободы и, в частности, свободы предпринимательства. Конечно, в Люксембурге, где чуть ли не все знают друг друга, организованной преступности мало. Но на больших пространствах она неизбежна.

Сколько веков развивалось право в странах английского языка! Суд присяжных возник еще в прошлом тысячелетии, или взять "Великую хартию вольностей", восходящую к римскому праву. А что в России? Разговоры о праве с 1861 по 1918 год? Поэтому полезно вспомнить организованную преступность не только в нынешней Америке после столетий развития права, но и в Америке прошлого, которой куда более соответствует сегодняшняя Россия.

В 20-х годах всемирно знаменитый американский гангстер Аль Капоне захватил пригороды Чикаго. Он разъезжал в бронированном автомобиле, весившем семь тонн, постоянно снимал в чикагском отеле 50 комнат (это был как бы отель в отеле), а двадцать пять его контролеров следили за его доходами от азартных игр, наркотиков, алкоголя и проституции, которые на современные деньги исчислялись миллиардами долларов. Американское слово "гангстер" вошло во все языки мира. В 20-е годы только в Нью-Йорке и Чикаго гангстеры совершили 2 тысячи убийств, с 1927 по 1930 годы — 227 убийств, а осудить удалось только двух человек!

Слово "мафия" стало широко известно в 1957 году, когда в городе Апалачине штата Нью-Йорк собралось на свой съезд 60 гангстеров южноитальянского происхождения. Оставив организованную преступность в бизнесе, профсоюзах и других малопрестижных сферах, мафия все сильнее проникала в высшие политические круги.

Так, лидер демократической партии города Нью-Йорка Вильям Твид стал диктатором партии и обобрал Нью-Йорк на более чем 200 миллионов долларов. Впрочем, разоблачения исполнительного комитета Демократической партии города Нью-Йорка начались еще в 1807 году. В 1938 году оказалось, что 250 главарей так называемой "машины Пендергаста" Демократической партии фальсифицировали выборы. Этой "машине" Трумэн был обязан своей политической карьерой, и в 1945 году, уже будучи вице-президентом, он явился на похороны самого главаря — Пендергаста. Уже в наше время одна из любовниц президента Кеннеди была любовницей гангстера. Такова организованная преступность даже на самой вершине общества. А что говорить о низах общества или его средних слоях?

То ли дело в упомянутой уже сталинской России после 1937 года. Какая была тишь и благодать! Какой порядок! Как все было чинно, честно, правильно! Потому что сам Сталин был мега-гангстер, то есть Аль Капоне, но не в масштабе пригородов Чикаго, а в масштабе России. Никакой организованной преступности не было потому, что вся. власть была организованной преступностью. Надо заметить, что и американцы, пишущие с ужасом об организованной преступности в нынешней России, забывают имена Твида, Капоне, Пендергаста и им подобных. Парадоксальным образом они воспринимают Америку, как советская печать воспринимала советскую Россию — как страну образцового порядка и всеобщего благоденствия.

Гримаса истории: российский капитализм — это детище коммунизма

Комментарий редакции

Трудно не согласиться с утверждением Льва Наврозова, что капитализм в России оказался совсем не таким, каким его ждало население. Кажется, жители страны вообще плохо представляли себе, какой будет их жизнь при новой системе. Прав Наврозов, когда пишет, что многие рисовали себе рай, где все будет дешево, товары в изобилии, совсем не так, как при коммунистическом режиме. Да и верхи, начиная со времен гайдаровских реформ, поддерживали эту надежду на лучшую жизнь. Хоть вслух этого не утверждали, но так получалось само собой — и Наврозов тут снова прав! — что капитализм — это тот же коммунизм, но с человеческим лицом. Иным свое будущее

не представляли — и тут отдадим должное коммунистической пропаганде, создавшей у людей такую систему верований, которую оказалось невозможным выбить, пока ее начисто не перечеркнула сама жизнь.

Как оказалось, капитализм — это такая социальная система, которая вовсе не обещает райские кущи — и уж во всяком случае никакого автоматического изобилия для всех и каждого, никаких дешевых и тем более бесплатных товаров. Система его ценностей основывается на том, что человеку, притом работающему человеку (без напряженного, добросовестного труда не может быть никакого капитализма), в качестве возмещения за его труд в противовес тяжкому и унылому однообразию тоталитаризма, предлагается выбор, бесконечное разнообразие возможностей. И в этом пункте мы также согласны с Наврозовым. Расхождения начинаются тогда, когда автор статьи, может быть, сам того не замечая, едва ли не ставит знак равенства между капитализмом американским и российским. Нет, он, конечно, признает различия (еще бы не видеть пропасти между американским изобилием и российской нищетой!), — но они, эти различия, проистекают лишь из уровня развития Америки и России. Де российский капитализм находится просто на более ранней стадии, но вот он подрастет, наберет силы, создаст изобилие товаров и совсем не исключено, что эти различия утратят значение. Важно, что Россия встала на новый, капиталистический путь, на путь Америки, и дело теперь лишь во времени.

Все вроде справедливо в предлагаемых рассуждениях, но, как когда-то говорили марксистские философы (что-то мы можем позаимствовать и у них) — в этих рассуждениях нет никакого конкретно-исторического анализа, события рассматриваются вне потока истории и потому правда об американском капитализме оборачивается полуправдой о капитализме российском, когда вне событий истории мы начинаем примерять американские мерки к российской действительности.

Американский капитализм, если вспомнить его историю, возник не будучи обремененным никаким наследием — он возник в условиях абсолютной свободы, где все решала энергия, воля, сила духа людей, стоящих у основания нового общества. Конечно, и в этом обществе полыхали конфликты и войны, совершались преступления, творилась несправедливость, но один негласный, а позже закрепленный в законе отцами-основателями принцип неуклонно действовал, принцип равных возможностей, равных для каждого, чья нога вступила на новый континент. Вероятно, не стоило бы повторять эти хорошо известные

вещи, если бы Лев Наврозов не поднял вопрос о сравнении капитализма в Америке и России.

Кто возьмет на себя смелость сказать, что российский капитализм был хоть основан на принципе равных возможностей? Кто кому был равен? Многомиллионное обездоленное — скажем жестче — околпаченное население и коммунистическая номенклатура, которая политически правила страной более семидесяти лет и потому так безболезненно совершила в свою пользу "черный передел", то есть, используя свою политическую власть, попросту, поделила между собой народное достояние. Поделила не для того, чтобы создать новую капиталистическую базу экономики (если бы это было так, еще можно было говорить о каких-то параллелях с Америкой!), а для того, чтобы просто присвоить себе собственность государства. В результате круг замкнулся, и народ, который после октябрьского переворота оказался в рабстве политическом, теперь был порабощен и экономически. Иначе говоря, капитализм исстрадавшееся население России получило не в результате социальной революции, сменившей систему собственности, а из рук перекрасившихся коммунистических правителей, ограбивших свой народ и провозгласивших этот грабеж как новый социальный путь развития общества. Что же тут общего с американским капитализмом? Общие только фразы демократических идеологов о возрождении России, которые, к слову скажем, на этом возрождении первые и погрели руки.

Когда мы говорим о двух разных капитализмах, речь идет не только о моральных категориях — мол, американский капитализм, по сути своей, явление справедливое и нравственное, а российский капитализм — один лишь грабеж и варварство. Конечно, эти нравственные категории для здоровья общества очень важны, но в данном случае речь о вещи куда более трагической — о неспособности русского капитализма двигать вперед общество — сотрудничество грабителей и их жертв вряд ли может привести страну к какому-то прогрессу, как по той же причине зашло в исторический тупик общество рабовладельцев — рабы оказались не способны поддерживать его жизнедеятельность. А ведь российские правители требуют, чтобы народ как-никак работал, создавал ценности, кормил общество, как кормит свою страну, скажем, американское население — но вот тут и наступает тупик — в развитии самого общества, в котором все вроде бы как при капитализме, да только оно не способно никуда двигаться, а лишь влачить жалкое, ничтожное прозябание.

Так же обстоит и с преступностью. На первый взгляд,

здесь мафии и там мафии, да еще похлеще наших, один Аль Капоне или Пендергаст чего стоят!

Как будто все так и есть — и в Москве убивают, и в Нью-Йорке убивают, и еще неизвестно, где страшнее жить человеку, и где большее число убийц и гангстеров. Но в том-то и дело, что цифры и формальная аналогия нас мало куда продвинут. А если взглянуть в суть, то ситуации совершенно разные. Даже если оставить в стороне то обстоятельство, что Америка — это высокоразвитое правовое общество, а в России правопорядок только в зачатке, то все равно не только этим исчерпывается разница. Дело в том, что в Америке, сколько бы в ней ни совершалось преступлений и сколько бы ни было преступников, у большинства населения здоровая психология, основанная на десяти заповедях, на уважении к закону, на признании равных прав каждого члена общества. Другое дело — Россия, где сам капитализм возник на безнравственной, преступной основе. Потому и родилась здесь совершенно иная, деструктивная психология, основанная на "беспределе" и "вседозволенности" — мы не случайно обращаемся к этим чисто российским понятиям, на Западе им просто нет аналогов. В России преступными становятся не только противоправные деяния, число которых растет с каждым днем, но и часто сама психология людей: если кругом, а особенно наверху, все крадут, стреляют друг в друга, грабят, раскрадывают страну, то, стало быть, это и есть норма жизни: с волками жить — по-волчьи выть! — вот какая симпатичная психология обретает форму массового сознания, которое вряд ли сегодня изменит даже самая жестокая, диктаторская власть. Слишком глубоко все зашло, и потому признаем, что все эти бесконечные указы президента, смещения виновных лиц, повышение зарплаты сотрудникам милиции — вся эта бюрократическая суета так и останется суетой, не способной хоть как-то задеть больное сознание этого тяжело больного общества, в котором не найти ни правых ни виноватых, где, кажется, наступил всеобщий паралич воли, и все погрузилось во тьму беззакония. Бессмыслен вопрос: кто виноват в случившемся. Сколько трагедий удалось бы избежать, если бы в истории так легко было бы выявлять провинившихся! Поэтому поставим на этом трагическом месте точку, но оставим в глубине надежду, что Россия, будучи великой страной, пройдет и через это испытание, через многие поиски, через муки и покаяние и в конце концов все же возродится, — вопрос только в том, сколько на это потребуется поколений.

Лорен АЙЗЛИ
ВЗМАХ КРЫЛА: РАССКАЗЫ И ЭССЕ

Подбор, перевод с английского, предисловие и примечания Д. Н. Брещинского

(Москва: Издательство Московского университета, 1994)

* *

Произведения Лорена Айзли (1907-1977), известного американского антрополога, натуралиста, эссеиста и поэта, получили самую высокую оценку разнообразнейших критиков:

«Казалось бы, поэзия и наука несовместимы - как масло и воду, их невозможно смешать. Однако есть исключительные ученые, которым это вполне удается. Лорен Айзли один из них... Это Пруст, чудесным образом преобразившийся в антрополога-эволюциониста».

Феодосий Добржанский, американский генетик русского происхождения («Американ антрополоджист»)

«Удивительная широта познаний, бесконечная способность удивляться и сострадательный интерес ко всему и вся во Вселенной».

«Филадельфия санди бюллетэн»

«Вряд ли кто-либо сказал больше о столь необъятном предмете в такой сжатой форме». *Джосеф Вуд Кратч («Сатердей ревью»)*

«Он был одним из первых ученых, заявивших во весь голос, что человек должен вновь найти свое место в мироздании. Его слова создали новый тип литературы, основанной на объективных научных данных, и его предостережение помогло положить начало новому общественному движению. Как и пророки всемирных религий 2000 лет назад, он учит наше поколение вновь обрести космическое чутье, которое свойственно только человеку».

Рэне Дубос («Смитсониян мэгэзин»)

«Произведения Лорена Айзли перевернули мою жизнь».

Рэй Брэдбери, американский фантаст

«Когда мы привыкнем к Лорену Айзли, такому непохожему на все, что читали, то поймем, какое чудо открыл нам Дмитрий Брещинский, и скажем от души: спасибо!»

Юрий Нагибин («Лепта»)

«Браво!» *У. Х. Оден, английский поэт*

Сборник «Взмах крыла» можно приобрести в любом представительстве «Академкниги», а также в магазине «Victor Kamkin, Inc.» (США)

Анатолий РУБИНОВ

ИНТИМНАЯ ЖИЗНЬ МОСКВЫ

Главы из книги

Кремлевка

Первые строки Анатолий Рубинов напечатал в свои двадцать лет будучи младшим сержантом — в 1944 году во фронтовой газете "Отвага". Самый плодотворный год жизни на редкость популярного сотрудника "Литгазеты" (за 28 лет работы в ней он получил от читателей около 500000 писем) — последний: за несколько месяцев вышли в свет три его книги. Дело не в привалившем вдохновении: стало возможным напечатать то, что считалось непечатным, написать то, о чем стало возможным написать. Из 18 книг Анатолия Рубинова наибольшую популярность приобрела "Интимная жизнь Москвы", которая в марте 1995 года была объявлена московским бестселлером. Это правдивые, художественно-публицистические, написанные с иронией очерки о будничной жизни города, которой не принято было интересоваться. Предлагаемые читателю новые страницы — из неопубликованной третьей части "Интимной жизни Москвы".

Известная в высшем свете Валентина Петровна N., супруга заведующего отделом ЦК КПСС, приехала на выходные дни в партийный Клязьминский пансионат с болью в животе. Софья Федоровна Г., очень авторитетный в здешних кругах человек, хотя она была супругой всего-навсего заведующего сектором, тут же нашла причину и высказала ее с презрением:

— Небось, городской колбасы поела...

Как в воду смотрела! Работала она в справочной городской газеты и знала о простонародной Москве все, спорить с нею было бесполезно, и Валентина Петровна призналась: действительно, была в прачечной на улице Вавилова, зашла с грязными рубашками мужа в кабинет директора, а там только Станислава Кондратьевна, сменный мастер. Пьет чай. Очень приветливая женщина! Это ей директор всегда отдает сумку с нестиранными рубашками. И та, бросив дела, сразу несет ее к "спецмашине", в которой стирается белье только избранных благородных клиентов. Потому можно было и не брезговать коммунальной прачечной. Станислава Кондратьевна пригласила выпить чаю с бутербродом. Неловко было отказываться. Могла подумать, что важничает. И вот попалась.

Нет, это не было только случайным совпадением, что мясокомбинат имени еще живого тогда Микояна придумал простенькую колбасу и назвал ее "городской". Рецепт новой колбасы долгое время хранился в тайне. Для экономии дефицитных в стране (тогда, раньше и позже) мясных продуктов министерство, с разрешения других высших властей, наконец, позволило добавлять в фарш костную муку. И "городская" колбаса, естественно, стала направляться только в уличные магазины. Крепкие, привычные ко всему народные животы попросту не заметили маленькой хитрости, давшей Родине существенную прибавку продовольствия. Вскоре вся столичная мясная индустрия стала щедрой рукой — тоннами добавлять в замес для любой "народной" колбасы незаметную глазу, ощутимую только на весах костяную пыль. Тогдашний блистательный директор самого передового колбасного

предприятия — "микояновского" мясоперерабатывающего комбината, всегда изысканно одетый, с очень мужественным баритоном, но с подозрительно высокими фиоритурами в верхнем регистре голоса, похвалялся двумя вещами. С одной стороны — импортными металлическими тиграми, которые могут вмиг сделать порошок даже из скелета древнего, зажившегося быка. И с другой — чем-то совершенно противоположным: дивными, ароматными колбасами своего "спеццеха", в которых даже придирчивый торговый инспектор под микроскопом не нашел бы ни единого компонента из рецепта, сделавшего государству мясную экономию.

Однако качество изделий "спеццеха" проверял вовсе не инспектор. Его туда просто не пустили бы. По той простой причине, что для него излишним было бы знать, чем занимается секретный отдел предприятия. Дело государственного торгового инспектора охранять здоровье народа, чтобы тот, не дай Бог, не съел чего-нибудь плохого. А "спеццех" выпускал продукцию для слуг народа, которые, сидя в высоких кабинетах и разъезжая в персональных машинах, вели его вперед, к коммунизму.

Почтенный человек Вениамин Иосифович Брюханов, высокий, почти не поседевший, стройный, ладный и прямой в свои восемьдесят, до сих пор восторгается продукцией "спеццеха" "Микояновки": "Она была отменной! Таяла на языке..." "Спеццех" удовлетворял любой вкус, его изысканными изделиями были довольны самые привередливые гурманы. За все годы ни одной жалобы: колбаса копченая, вареная, языковая, филейная, чайная с чесночком и балыковая, ливерная яичная, московская шейка, карбонат... Сто наименований!

Брюханов, конечно, припоминает Валентину Петровну N.! Знал не только ее, но, конечно, и ее почтенного мужа, многолетнего заведующего отделом ЦК, о котором говорили, что он вот-вот пойдет еще дальше вверх. Знал даже их шофера, потому что тот, как и другие начальственные доверенные водители, был допускаем в охраняемый двор, в котором раздавались "долговременные заказы".

Улица Грановского — узкая да тесная и вдобавок полна блестящими черным солнцем правительственными лимузинами, прибывающими всегда неожиданно. Ждать пассажира у вывески "Бюро пропусков" дозволялось не каждому. Перед недогадливыми появлялся улыбающийся милиционер и вежливо указывал рукой на библиотеку имени Ленина — дескать, там свободного места много.

Вениамину Иосифовичу Брюханову можно верить: больше сорока лет жизни он отдал распределению лучших в стране продуктов среди самых разборчивых и ответственных в стране социализма едоков. А предпоследние двадцать вообще находился на высшей должности в иерархии "Лечебного питания". То есть руководил Высшей, Главной в стране Столовой с вывеской "Бюро пропусков".

"Столовой лечебного питания" посторонняя публика интересовалась всегда, но открытого любопытства не проявляла — побаивалась. Сколько вокруг нее ходило легенд! Пока в конце восьмидесятых годов открыто не ополчились против нее и против привилегий вообще. Стали громко говорить на собраниях и митингах, гневно писали в газетах. По мнению Вениамина Иосифовича, сказано было много лишнего и неправдоподобного. От неведения. А скорее всего от зависти. Теперь некоторые прежние ораторы на своем опыте поняли, что в их речах содержалось много вздорного. Конечно, было бы очень занятно, внимательно глядя им в глаза, не спеша обсудить такой вопрос: как они и их домочадцы находят т е п е р ь продукцию, например, "спеццеха" той же "Микояновки", с которой они свели знакомство за своим семейным столом?

...Об истории "лечебного кремлевского питания" в революционных книгах написано немного, да и очень небрежно. Словно о сущей безделице. Понимаете, подменять разговор о задачах мировой революции болтовней о том, как в решающий момент истории кто и каким

образом питался, может только аполитичный человек, не знакомый с идеями марксизма-ленинизма.

Некоторые добросердечные люди легко попались на лукавстве слов: поверили, что Главная Столовая лечила самоотверженных тружеников Кремля исключительно правильным питанием. Самые сентиментальные люди до сих пор ужасаются тому, например, что народный комиссар продовольствия Александр Дмитревич Цюрупа, вагонами рассылавший продукты по разным городам, сам однажды упал — подумать только: в голодный обморок!

Об этом старенькая Лидия Александровна Фотиева когда-то подробно рассказывала молодому сотруднику столовой Вениамину Брюханову. Кажется, еще до войны. Она пришла, чтобы отовариться, как водилось в то время, с "сеткой-авоськой", емкостью легкой и принципиально прозрачной. И пока ей отмеривали продукты и аккуратно заворачивали их в пергамент, участница трех революций, личный секретарь самого Ленина, которая после ухода на покой, станет и Героем Социалистического труда, вспоминала, как она лично застала наркома ну просто умирающим. "Понимаете, он был совершенно неевши..."

Однако недавно всплыли ненароком в партийном архиве и уже намеренно кое-где напечатаны интимные, когда-то секретные документы, которые заставляют думать: не ошибалась ли Лидия Александровна? Но в ту пору, когда рассказывала, она была еще вовсе не дряхлой, чтобы оказаться столь забывчивой — к началу войны ей минул лишь шестидесятый год.

В архивах дряхлеет только бумага, становится желтой и ломкой, но слова иногда говорят на редкость живо. В рассказах почтенной Лидии Александровны, не только устных, но и печатных, было совершенно верно то, что восемнадцатый год в Москве оказался на редкость голодным. Но самоотверженный нарком продовольствия, рассылавший по стране поезда с продуктами, из-за скудного питания упасть в обморок, оказывается, не мог. Об этом свидетельствует сохранившийся в архиве

ордер №10780, выданный управлением делами Совнаркома.

В самый лютый голод марта 1918 года по ордеру №10780 предъявитель его товарищ Цюрупа Александр Дмитриевич получил 1 (один) пуд хлеба, 10 (десять) фунтов масла, 10 (десять) банок консервов, 5 (пять) фунтов мыла, 5 (пять) фунтов сыра, 2 (два) фунта кофе. Через месяц и несколько дней товарищ Цюрупа Александр Дмитриевич сдал другой ордер — №10916 и получил по нему дополнительный паек. Содержание его говорит о переменах на тот исторический момент в политической обстановке страны. Дела с хлебом, вероятно, оставались в прежнем трудном положении, поскольку наркому продовольствия на этот раз хлеба выдали не больше прежнего — 1 (один) пуд. К тому времени Сталин, наверное, еще не перестрелял людей на Волге и в Москву пока не пришел спасительный царицынский хлеб, про который потом так проникновенно напишет Алексей Толстой. А со сладостями дела, наверное, немного поправились: на этот раз в пайке наркома продовольствия числится сахар — 1 (один) фунт. Кажется, половина сахарной головки конусом. Определенно сильно улучшилось дело со снабжением населения икрой. Только не ясно, какой: черной или красной. Голодающий нарком продовольствия дополнительно получил 4 (четыре) фунта икры! Неизвестного цвета. Не мало ли для нее 1 (одного) пуда хлебушка? Так что Александр Дмитриевич в ту голодную годину мог, экономя на хлебе, сделать себе и своим домочадцам по доброму бутерброду с икрой. В дополнительном пайке наркома оказалось еще немало других деликатесов: 12 (двенадцать) банок сардин, 4 (четыре) фунта сыра, а также 10 (десять) фунтов мяса. На этот раз хуже стало с кофе. Его не выдали вовсе, а предложили всего лишь четвертинку фунта чая...

(Забегая вперед, скажу, что всегда в трудную годину страны, а их будет потом немало, своих лучших людей государство спасало почему-то именно икрой, главным

образом, черной, а также банками шпрот и сардин. Но об этом ниже.)

Сравнение ордеров, выдаваемых Управлением делами Совнаркома, выказывает Александра Дмитриевича руководителем скромным. Надежда Константиновна Крупская таскала тяжестей побольше — хорошо еще, что ей не надо было далеко носить: лавка "дополнительного питания" находилась тогда в самом Кремле, так что шофера Ильича — знаменитого потом Гиля — просить не приходилось, и вообще можно было не открываться перед ним в обстоятельствах довольно щепетильных.

Судя по доставшимся потомкам — для рассматривания и размышления — "Материалам Президиума ВЦИК", в которых перечислены все номера изобретенных В.Д. Бонч-Бруевичем продовольственных ордеров, Сталин в личных своих потребностях тоже был весьма скромен. Его список короток. Можно предположить вдобавок, что за пайком он ходил сам — там нет фамилии его супруги Аллилуевой. Если это так, то ходил он туда не с "авоськой" — просто потому, что не занимающая много места, умещавшаяся в кармане (взятая "на авось"), вязаная из ниток легонькая сумочка была изобретена позже, в тридцатые годы, когда население, наконец, приспособилось к неожиданным вулканическим выбросам советской торговли. И тогда же необыкновенное учреждение, которое долгое время было единственным на свете и просуществовало ровно 73 года, получило среди своих людей ласковое и в то же время маскировочное название "АВОСЬКА".

Вот что доверительно рассказывала молодому сотруднику этого ответственного заведения сама Лидия Александровна Фотиева, как появилась и развивалась "Авоська".

Идея ее пришла на ум Владимиру Дмитриевичу Бонч-Бруевичу. Он убедительно обрисовал Владимиру Ильичу Ленину бедственное положение людей, самых нужных стране и партии. Они горели и сгорали на работе. Чего стоит один пример с Яковом Михайловичем Свердловым!

Не ходит к врачам, не лечится, вовремя не поест, и вот выглядит — в чем душа держится — стариком в свои 33 года. Правильно говорил Владимир Дмитриевич Владимиру Ильичу: черед год Яков Михайлович умер. На руках врачей и сестер созданного незадолго до этого "Лечсанупра Кремля", несмотря на заботливое лечение и правильное питание. Поздно подоспело оно.

Это сам Бонч-Бруевич и придумал, и дал название учреждению — "Лечебно-санитарное управление Кремля", в котором соединили две разных, однако по существу неразделимых для поддержания здоровья вещи: там людей, самых нужных стране и партии, лечили и питали.

Таких сначала насчитывалось всего 30...

Какое ведомство командовало Высшим медицинско-кормежным заведением? Наркомздрав, которым руководил всеми почитаемый доктор Семашко? Конечно, нет! Лучших врачей он бы набрал, но где ему взять "лечебное питание", которое находилось в руках чуть не погибшего от голода Цюрупы?

Осознав это, легко нашли ведомство, которое одинаково хорошо разбиралось во всем! И в медицине, и в продовольствии. И еще в чем-то самом важном...

Несколько десятилетий подряд ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ бдительно и чрезвычайно осмотрительно занимались одновременно Высшей Медициной и Высшим Столованием. И даже "дело врачей", "убийц в белых халатах", кончившееся всемирным конфузом весной 1953 года, не сразу заставило переменить двухголового хозяина, который в конце концов немного перебдел...

Уже через несколько дней после создания "Лечсанупра" поняли, что такой образованный и преданный делу революции человек, как Бонч-Бруевич, не учел, однако, простейшей психологии человека. Отдававшиеся всецело делу пролетариата руководители новой власти, но особенно их жены, неожиданно обиделись на то, что они не попали в главную тридцатку. В Кремле жило тогда гораздо больше, чем тридцать человек. Особенно, если считать с детьми. И получалось, что даже на первых порах самой

справедливой властью нарушалось равенство, за которое боролись сообща и каждый мучился по тюрьмам и ссылкам поодиночке. Тогда Бонч-Бруевич, нехотя и чувствуя всю вынужденность своего неправильного шага, собственной рукой вписал в список людей, на которых держалось все пролетарское дело, прибавил несколько фамилий. А потом еще пару десятков... Затем, уже без него, еще несколько сотен. Потом — несколько тысяч...

Этот процесс прибавления длился с маленькими перерывами все 73 года. После смерти Сталина скончался сам "Лечсанупр Кремля", но не окончательно — умер, разделившись на два огромных департамента. На Четвертое Главное управление Министерства здравоохранения СССР, которое занималось, естественно, только здоровьем и отдыхом самых полезных государству людей, и на "Столовую лечебного питания", которая их кормила хорошо, чтобы они могли думать только о Родине и приносить ей добра как можно больше.

Сейчас идет речь только о второй уцелевшей половине, которая к своему последнему концу невиданно развилась, неслыханно раздалась, сказочно расцвела. Скаредный Бонч-Бруевич, не по-марксистски упустивший в свое время фактор человеческой психологии, не поверил бы: в насчитывавшей некогда всего 30 едоков "Столовой лечебного питания" стало более 8000 (восьми тысяч) клиентов, людей очень заслуженных, однако, наверное, очень хворых, раз их здоровье надо было из года в год, изо дня в день поправлять и поддерживать, как дистрофиков, отменным и, добавим, исключительно дешевым питанием. А в закрытых для глаза народа столовых республик, областей, автономных республик, копируя все достижения улицы Грановского — сытно и чисто — кормилось еще 800 000 самых главных местных руководителей.

Нет никакого сомнения, что сейчас лучше всех знает про эту "кузницу здоровья" уже не раз упоминавшийся здесь Вениамин Иосифович Брюханов. Вся его жизнь, трудовая и домашняя, связана с таинственным для многих москвичей домом №2 на улице Грановского, на котором

десятилетия так и провисела скромнейшая вывеска "Бюро пропусков". Никакого "Бюро пропусков" там, конечно, никогда не было, хотя за порогом, внутри всегда стояли, не присаживаясь, несутулые, бдительные мужчины с настороженными взглядами. С суровыми неподкупными лицами они действительно проверяли пропуска (которые выдавали входящим отнюдь не здесь) и способны были живо светлеть, зажигаясь иногда энтузиазмом и нежностью всего лишь от знакомой фамилии, указанной в документе.

Сюда прибывали самые парадные в Москве лимузины. У них были прекрасные тормоза — останавливались внезапно. И превосходные шины — будто бы каменные. Набирая скорость без разбега, они, величественно отчаливая, угрожающе шуршали по асфальту и мгновенно скрывались. Чем-то схожие между собой мужчины, встречавшиеся перед вывеской "Бюро пропусков", коротко приветствовали друг друга знаками и улыбки гасили немедленно, как выключали.

Первый раз Брюханов явился на улицу Грановского пешком. Было это в 1939 году. Он уже был классным шофером, его дважды просветили. Один раз явно — врачи, второй — тайно. Кто-то другой, но гораздо основательней. "Столовой лечебного питания" нужны были работники совершенного здоровья и безукоризненной преданности. Брюханов прошел оба испытания и его посадили в кабину фургона с полностью закрытыми кузовом.

Первая поездка была короткой — в Варсонофьевский переулок. Поблизости от Лубянки. Там, проверив свежий пропуск и все поняв без слов, ему подмигнул незнакомый человек в халате: дескать, парень, не робей — все свои... И научил грузить прохладные ящики бережно, словно они были живые. В ящиках было съестное неземной свежести, которое надлежало отвезти на улицу Грановского к первому Дому правительства без промедления, чтобы оно не потеряло своего божественного запаха.

Собственно говоря, своей географией "Столовая лечебного питания" была обязана именно этому дому —

там первоначально жили почти все ее посетители, исключая тех, кто жил в самом Кремле. Наркомы и командармы, первые их заместители получали квартиры здесь как раз после того, как стала безудержно расти ошибочно установленная Бонч-Бруевичем квота из 30 главных персон. Но к тому времени, когда Брюханов появился здесь, к дому напротив уже стали относиться со смешанными чувствами: с нежным почтением и лютой ненавистью. В первом Доме Правительства (другой Дом Правительства, который грозной черной скалой возвышается на Набережной, был вторым по счету, он и появился позднее) половина квартир, барских, комфортных, отделанных старым, уже усохшим, скрипучим деревом, оказалась у врагов народа. Самих владельцев без всякого почтения первоначально отправили в другой Большой Дом — поблизости от уже упоминавшегося продовольственного склада идеально свежих продуктов в Варсонофьевском переулке. Другая половина обитателей продолжала по-старому бодро и самоотверженно бороться за победу коммунизма во всем мире и регулярно переходить на другую сторону улицы за положенным их посту пайком.

Именно в это время к "Бюро пропусков" машин стало приезжать больше. Главным образом, из нового Дома на Набережной. Прибывали все те же машины, но пассажиры в них, однако, менялись. По той же указанной выше причине...

Вениамин Иосифович Брюханов очень гордится столовой, которой он отдал почти всю свою долгую трудовую жизнь. Не напрасно он был замечен и возвышен. Сначала из кабины фургона его пересадили — в легковую. Не в какую-нибудь: в персональную машину самого директора Дмитрия Васильевича Окороченкова. Майора... Да, руководил ответственной Государственной Столовой майор государственной безопасности, потому что само заведение еще долгое время следовало за тем, что меняло название, но оставалось самим собой: НКВД-МВД-МГБ-КГБ... Еще долгое время у многих столовских работников было потайное звание. Даже у санитарного врача, который снимал пробы и следил, чтобы ни на кухне, ни на складе не было продуктов с просроченным хранением. Было соответствующее звание, наверное, и у Брюханова — благодаря надежности и безупречному труду его сочли достойным повышения в должности; он стал заведующим материальным складом "Столовой".

Обо всем, что делалось в ней, даже о мелочах, докладывали генералу Власику. Николай Сергеевич находился на самом ответственном посту — командовал в Министерстве-Комитете Главным управлением охраны, которое потом стало называться грозно и просто Девяткой. Перед Девяткой цепенели все — генерал Власик берег жизнь вождей, однако находил время, чтобы выслушать каждого работника Главной Столовой, даже самого незначительного, а то и неожиданно приехать, осмотреть подсобки и кухню своими глазами, во всем убедиться самому.

Между тем, контингент все время прибавлялся — возникали новые министерства, появлялись комитеты, Совнархозы, Главные управления. Становилось все теснее. Давно не стало хватать простора в перестроенном на манер лучшего в мире метро помещении на улице Грановского. В 1949 году открыли филиал в доме на Набережной, который назвали "Столовой Совета Министров", но обслуживали в нем, конечно, не всех, кто работал там. Для всех не напасешься хороших продуктов и даже приличной непромокаемой бумаги для завертки.

Указанный филиал, совершенно равный основному заведению, открыли специально ради уважаемых жен государственных деятелей и для их взрослых детей. Короче говоря, для членов семей или, совсем уж коротко, для ЧС. (Однако это сокращение часто не применялось, так как существовало еще более емкое, похожее краткое слово — ЧСВН — член семьи врага народа).

Достойных всяческого уважения — ЧС — законных супруг и подросших потомков, все-таки неловко было не пускать в здание на улице Грановского. И в то же время как-то непринципиально было бы и превращать "столовую лечебного питания", задуманную в высоких государствен-

ных интересах, в общий пункт кормления семей. В них, у себя дома, на кухне и за столом, все равно командуют жены — так пусть на Набережной сами выбирают продукты и перестанут попрекать мужей тем, что те непрактичны, не умеют выбрать продукты с умом.

Во дворе кинотеатра "Ударник", в непосредственном соседстве с Домом правительства, имелось все то, что подавалось на прилавок на улице Грановского. Пока государственные люди принимали участие в ответственных приемах, участвовали в конгрессах, представительствовали на съездах и симпозиумах, их жены, закупая продукты, мотались между Домом правительства и собственным домом.

Ото всего этого в доме на улице Грановского стало свободнее. Первым отметили это гости из провинции: находясь в командировке, они охотно столовались здесь, завтракали в гостинице, а на обед и на ужин приезжали сюда. Прибывший в Москву контингент — из числа республиканских Центральных комитетов и республиканских Советов Министров, первые секретари обкомов партии — часто говорили обо этом между собой. Правда, иногда немного завистливо — в их родном гнезде, к сожалению, не все так славно: надо поговорить в Управлении делами ЦК, спросить, почему, например, дают белорыбицу не всем. Теперь видно, что она еще не исчезла совсем. Приезжающие в Москву всегда начинали с Управления делами — с получения временного прикрепления. После этого гость получал все права высокопоставленного местного деятеля и обслуживался с такой же внимательностью, как и постоянный контингент. Может быть, даже еще бережнее. Часто случалось, что такие временные неожиданно становились в Москве Главными. Приходил ну совершенно незнакомый новый человек, манерами и одеждой провинциал, например, из Казахстана, мало кто слышал о нем, и не имел он в столице ни рабочего стола, ни семьи, а потом... Потом становился Генеральным Секретарем — Леонид Ильич Брежнев! До чего ж невидным казался сутулый, с подозрительным завистливым взглядом узких глаз человек — то ли с Алтая, то ли из Молдавии, а стал Первым Лицом страны — Константин Устинович Черненко! А человек с Украины, невидный собой, в костюме на два номера просторнее, смущенно улыбающийся всем, будто бы от слабости, стал Вторым — премьер-министром — Николай Александрович Тихонов!

Поэтому за семьдесят с лишним лет, конечно, не было такого случая, чтобы кто-нибудь из постоянного или временного контингента пожаловался на неласковость к себе, на грубость. В "Столовой лечебного питания" улыбались всегда, как за границей случайно столкнувшиеся прохожие. На всякий случай улыбались каждому. Таким не может похвастаться ни одно советское учреждение: чтобы за все годы своего существования его служащих ни разу не упрекнули за грубость или хотя бы за невнимательность.

Руководители Главного Распределителя лучших в стране продуктов умиляются тем, как выстояло их учреждение в годину самого большого его испытания. Это было в 1957 году. К 40-летию Великой Октябрьской революции вдруг вспомнили о тех, кому страна обязана своим счастьем: о старых большевиках. Люди, сделавшие советскую власть, и в каждый круглый юбилей ее славшие горячий коммунистический привет то вождю народов, то его хулителю и в то же время преемнику, стали старичками. Их кабинеты давно уже занимали другие люди, а на городских бульварах сидели сердитые, отощавшие женщины и мужчины слегка нищенского вида. Они громко толковали о **прошедшей и сегодняшней жизни и отчетливым шепотком, чтобы слышно было только своим, спрашивали друг друга: за что боролись?**

Будто бы подслушали шепот на бульваре: в честь сороковой годовщины Великого Октября решено было прикрепить к "Кремлевке" старых большевиков, кто им стал до 1917 года! К 40-летию революции, которая принесла свободу и равенство всему народу, было уже три степени различия, объединенных словом "Кремлевка". Две учредил когда-то "Лечсанупр": первую — право отдельно, лучше всех питаться, вторую — лучше всех лечиться. Это стало называться "двойной Кремлевкой". А третьей "Кремлевкой" был отдельный от всех телефон, по которому позвонит только свой человек и ни за что не пробьется посторонний.

Старым большевикам дали две "Кремлевки". Третьей

не дали, потому что — зачем они им, когда они сидят дома? Каждого вызвали в Управление делами ЦК КПСС и вручили на ноябрь 1957 года маленькую книжку беленьких талонов. 30 листов — по числу дней в месяце. Со словами "обед" и "ужин".

Привыкшие на бульваре говорить между собой откровенно, старые большевики теперь охотно обсуждали гастрономические проблемы в холле своего филиала "кремлевского" питания — вслух, в полный голос, потому что вокруг были только свои. Как на закрытом партийном собрании. В скором времени именно из их громких прений персонал стал узнавать самые последние и вполне достоверные новости о "спеццехах".

Оказывается, Госстандарту пришлось принять новую рецептуру колбасы, от которой она сильно пострадала на вкус и вид. Однако сделано оно было, конечно, в государственных интересах — ради самых широких масс трудящихся. В самом деле, в Москву под видом любознательных туристов стали съезжаться жители всех окрестных городов, которые просто хотели есть.

Но начиналась экскурсия в столицу не с мавзолея Ленина, не с Третьяковской галереи, которая находится тоже поблизости отсюда, а с ГУМа. Точнее — с его "Гастронома", который возбуждал приезжих, сводил их с ума одними смешанными запахами разнообразной колбасы.

Старые большевики — бывалые москвичи — раньше тоже возмущались опустошительными набегами провинциалов. Теперь же, находясь на Большом Комсомольском переулке, тоже поблизости от КГБ и Сорокового "Гастронома", они стали терпимее: поняли, что люди устремляются в столицу с сумками не из-за плохого воспитания — в их родных местах магазины совершенно пусты. Желая быть справедливыми к рядовым советским людям, старые революционеры, когда-то исколесившие по своим политическим делам всю Россию, знали, что там еще с досоветских времен есть предприятия, изготавливающие колбасу, но в магазинах этих городов вовсе нет самой колбасы, потому что всю ее отправляют в Москву или в Ленинград. Правильно ли это?

Живя в гуще народа, заслуженные большевики знали и о том, что все пригородные поезда, отходящие от Москвы, пахнут колбасой. Поезда в Рязань и Тулу, в Калинин и Смоленск стали делаться без полок —зачем там спальные места, когда ехать три часа или шесть? Сначала эти поезда так и называли "сидячими", а потом — "колбасными"... Самих же пассажиров, уезжавших из Москвы с полными кошелками, назвали "колбасными десантом".

Вот почему старые большевики в Большом Комсомольском переулке, отдавая себе отчет, что любимая еда советского народа — это колбаса, с пониманием отнеслись к намерению Государственного комитета по стандартам уменьшить колбасный дефицит. Госстандарт нашел способ увеличить общее количество колбасы из того же количества мяса: немного разбавить мясную основу колбасы кое-какими прибавками... Сверх прежней добавки в виде костной муки, полученной из бедер, позвонков и других частей скелета быков и переставших давать молоко коров разрешено было "применение при производстве колбасных изделий" "свинины в шкуре", "свинины, полученной при жиловке мясной обрези", а также "говядины жилованной, полученной при жиловке мясной обрези", всяческих "срезок от зачистки", "жилованной щековины", "мясной массы, полученной методом механического прессования говяжьей или свиной кости" и т.д.

На улице Грановского долго не знали о новшестве в колбасной промышленности — пока колбасу вдруг не стали спрашивать чаще прежнего. Потом поняли, почему: для подарка родственникам — колбасу из уличных магазинов "в рот нельзя стало брать". А в Большом Комсомольском переулке узнали немедленно, благодаря традиционной связи старых большевиков с народом. И остались очень довольны, потому что было бы неправильно, если одинаково могут питаться те люди, которые получили от партии все готовенькое, и те, кто не щадил себя в борьбе за лучшее будущее человечества.

В своих семьях старики с революционным прошлым, над которым молодежь начала было иногда посмеиваться, снова стали уважаемыми людьми: благодаря тем дивным сверткам и коробкам, которые они начали приносить несколько раз в неделю. Дети и внуки помогали немощным пожилым людям — несли домой, а те дорогой увлеченно рассказывали об услышанном и увиденном. Например, о том, что журналист из "Правды" Юрий Жуков на самом деле Георгий — ну, тот, который так складно разоблачает американских милитаристов и буржуазный образ жизни, — ходит за пайком всегда с женой, а та всем кондитерским изделиям предпочитает коробки такой незаметной фабрики — "Ударница". Сегодня и они попробуют: "Халва москворецкая". Внуки удивлялись: неуж-

то халву делают не на востоке, а в столице, на Москва-реке? Дома коробку с московским пейзажем развязывали — тесемка вся в золотистых прожилках, в коробке оказывались тугие шоколадки, похожие на подушечки. Удивлялись: внутри действительно — халва! Невиданной вкусноты!

В другой раз рассказывалось, что, оказывается, у Кагановича есть дочка. Майей зовут. Раньше, конечно, ее видно не было. "Им" все продукты домой привозили. Теперь вот приходится ходить самим. Ничего с ними не сделается — некоторые тоже ходят, не ждут, когда кто-то привезет. И все-все из антипартийной группы, которые противопоставили себя Никите Сергеевичу. В том числе примкнувший к ним Шепилов. Но только не все показываются, детей вместо себя присылают. И вообще это непринципиально, что оставили "кремлевку" тем, кого по заслугам вышибли из Кремля. А, может быть, это правильно. Возможно, Никита Сергеевич показывает всем, что он не мстителен, как Сталин, и не так жесток — помнит прошлые революционные заслуги.

И еще говорят, что в столовой во дворе "Ударника" можно встретить членов семей всех бывших членов политбюро, снятых, сброшенных секретарей — кроме тех, кого репрессировали. Да никто из тех и не выжил. И, конечно, приходят из семей тех, кто похоронен в Кремлевской стене. Это правильно. Чем виновата семья, что он умер так рано? Вот до сих пор аккуратно приходит мальчик в очках, совсем молоденький — сын бывшего идеолога Александра Сергеевича. Тот умер сразу после войны — сам по себе, а сынок без отца вырос. Рассказывают, что очень способный юноша, в газете работает, прогрессивные статьи пишет, возмущен культом личности Сталина и антипартийной группой... Только толстенький и тоже сласти любит. Знаете, что он берет? "Лесную быль"!

Взрослые дети старых большевиков и маленькие их внуки до сих пор знать не знали, что за чудо эта "Лесная быль". Оказывается, продукция того же "спеццеха"

"Ударницы": мелкие вафельки-пластиночки со сладкой фруктовой прокладкой. Изделия того цеха не пускают по простым магазинам — только в "Кремлевки"!

Фабрика "Красный Октябрь" выпускает малым тиражом — для избранных — шоколадный набор "Олень". Его, разумеется, не встретишь даже в хваленом фирменном кондитерском магазине на улице Горького, возле Пушкинской площади: красная коробочка, а когда откроешь ее, появится рельефный рисунок оленя. А в углублениях — шоколадные фигурки: рыбки, зверюшки, цветочки, коричневые бутылочки с ликером. Их можно сразу съесть и выпить. Очень годится для подарка — интересный и совсем недорогой.

"Столовая лечебного питания" всегда была элитарным клубом. Но клуб этот отличался от дворянского собрания тем, что туда попадали не по породе, а по должности. А от купеческого клуба — тем, что каждый имел не свое собственное дело, от которого богател, а общее. Они совместными усилиями бестрепетно и уверенно вели страну к победе коммунизма.

Контингент был густо перемешан единомышленниками разных, но ближних исторических времен.

В трех магазинах-"кремлевках", в которых не только пахло возбуждающе хорошо, но еще и царила атмосфера улыбок, могли встретиться и дружески раскланяться бывшие противники: те, кого "подсидели", и те, кто "подсидел". Их иногда связывал тот же стул: раньше один сидел на нем, потом — другой. Теперь их связывал общий стол. Он, обильный, аппетитный, дешевый, объединял главного редактора журнала либеральных убеждений с лютым противником — главным редактором журнала совершенно другого направления. Возможно, что честный в своих прогрессивных убеждениях главный редактор стыдился этого — в "Авоську" (получившую потом название "Ларек") ходил по большей части не он сам, а его супруга. Так ли ошибался Ницше, считавший, что миром правят две вещи: любовь и голод? Вокруг "Кремлевки" голода

все-таки не было — значит, любовь была, но к вкусной еде?..

И к хорошей сигарете — тех, кто курил. Курящие западники и славянофилы, одни — открыто и с политическим вызовом, другие — тайно курили нездешние "Мальборо" и "Кэмэл", хотя нигде они не продавались. При всем уважении к социалистическому лагерю даже непримиримые борцы с американским империализмом, посвятившие всю свою жизнь его разоблачению, покуривали именно американские сигареты. Правда, поругивали их...

Где же они брали их?

Это очень интересная история. Начинается она с географии.

После того, как из Кремля вывели "Лечсанупр" и выдворили его на улицу Грановского, быстренько пообедать стало хлопотно, хотя столовую от Кремля отделяли всего метров сто. Для большей целесообразности было решено открыть поблизости нечто такое, что заменит столовую — как сказали бы позднее на Западе, "заведение быстрого питания". Одним иностранным словом — буфет. Там, когда трудишься над срочным документом и времени на разносолы не хватает, можно было проголодавшемуся коротко чего-нибудь перехватить. Это была счастливая мысль, потому что во всех партийных и советских учреждениях документы всегда составляются срочно, и самоотверженные люди, отдающиеся всецело делу, остаются голодными.

Так, служебные буфеты "быстрого питания" расцвели в нашей деловой стране. Но их сразу пришлось поделить на две части, потому что вместе с самыми ответственными людьми торопились быстренько поесть и менее ответственные, которые отвлекали буфетчицу своими просьбами налить еще стакан чаю, мешали ей разговорами: терялся предусмотренный деловой темп.

Пришлось отделить самых ответственных товарищей от общей массы. Это дало прекрасную возможность лучше заботиться о наиболее ценных кадрах — компенсировать их затраты умственной энергии усиленным питанием.

Поэтому **в** каждом почтенном учреждении появились спецбуфеты. Конечно, сначала в самых возвышенных. Уже не только для самых избранных руководителей, но и должностью чуть поменьше.

Отыскали приятных женщин с безукоризненной биографией, чистеньких, ароматных, нескандальных. Первым делом, где надо, установили, что они никогда не состояли в других, враждебных партиях, не находились на оккупированной территории, не состояли под судом и следствием, а потом научили их содержать себя в безукоризненной чистоте, не прибегая к заглушающим все запахи модным духам "Красная Москва".

Главным в служебном облике эти женщин, поставленных близко к руководящим товарищам, был кокошник. Ему надлежало всегда светиться, гореть надо лбом постоянно. Как бенгальские огоньки.

Ранг начальственного буфета легко определялся по степени сверкания кокошника — как узнается уровень комфорта по количеству звезд на вывеске заграничного отеля. В зданиях ЦК КПСС были десятки буфетов — на Старой площади, улице Куйбышева, в новых зданиях, незаметно для москвичей выросших во дворе, которым вследствие захвата стал бывший проезд Владимирова. Там все кокошники светились, но разным накалом. Но не всякому человеку, пропущенному сюда бдительными часовыми, суждено было сделать сравнение. В буфетах даже среднего уровня кокошники буфетчиц сверкали августовским светом ослепительного солнца над Черным морем. Как же они светились на самом Высоком уровне? Может быть, там применяли вместо распущенного сахара алмазный раствор?

Отменная посуда всюду различалась по качеству — тарелки, ножи, ложки, вилки, маленькие чайные ложечки, крохотные кофейные. В металлических приборах ценился блеск и вес — его не было в простонародных алюминиевых столовых приборах.

Различались служебные буфеты и по столам: в заведениях низкого звания — прямоугольные и квадратные, в высокого — фигурные.

Но, конечно, главное отличие содержалось в меню. В учреждениях самого высокого ранга оно ничем не отличалось от списка, висевшего в большом зале на улице Грановского, где были расставлены столы, тоже покрытые отменно накрахмаленными скатертями, но без стульев к ним. То было помещение для упаковки полученного пайка

методом самообслуживания. На столах аккуратными стопками лежала нарезанная оберточная бумага и тонкая веревка: чтобы садиться в машину без канители.

В "спецбуфетах" высокого ранга весь ассортимент был распределен на малые аппетитные порции. Здесь громоздких свертков не предусматривалось. От колбаски до штучных конфет "Красная шапочка", от горячих настоящих сосисок, в естественной оболочке, с горчичкой и маринованным огурчиком-корнюшончиком — до воздушного маленького эклера, который фабрика "Большевик" выпускала специально для крупных большевиков. И непременно — сливочный сырок в шоколаде, еще тепленький, не ночевавший в холодильнике.

При всем своём сходстве между меню в столовой на улице Грановского и предложением блюд в любом спецбуфете различие между ними все-таки имелось. Различие было в ценах. В спецбуфетах любая колбаса и конфетка, московская шейка и сливочный сырок в шоколаде, белорыбица и мандарины, сыр эдемский, швейцарский, эмментальский, икра паюсная, зернистая, красная, даже летом простые помидоры из Подмосковья, а осенью кайса из Азейбарджана стоили вдвое (вдвое) дороже!

Однако цифры они не называли... Невинно, немножечко хитрили: утаивали то одно маленькое обстоятельство, что во всех их трех "Столовых лечебного питания" цены были одинаково половинные от так называемых единых государственных. Теперь бы сказали, социально защищенные. Государство надежно защищало партийных, советских функционеров, управителей самых больших предприятий и активистов творческих союзов из числа самых активных (но отнюдь не лучших — писателей, композиторов, архитекторов, художников, артистов, которые получали самую высокую в стране заработную плату и гонорары). Для них существовала скидка в 50 процентов — за отменные, лучшие продукты, которые имели общее название с порченными, продававшимися в магазинах, да и то с постоянными перебоями. За 70 рублей там можно было купить

на месяц съедобных товаров, которые обыкновенным гражданам страны обошлись бы в 140 рублей.

И удивительное дело, того количества продовольствия на столь малую сумму хватало на вкусную и сытую жизнь семьи из четырех-пяти человек!

Продукты для одинаково привилегированных столов, оцениваемые по-разному, приходили, однако, из одного места: с легендарной, загадочной базы №208.

Никто не знает, почему она получила такой номер. Не из соображений ли конспирации? Во всяком случае, этот номер не порядковый. В Москве не было такого большого количества продовольственных баз, чтобы прибегнуть к трехзначным цифрам. Даже в потайном справочнике — "для служебного пользования" — не значилось базы №207, даже №107. Как не было и в главном универмаге страны — в ГУМе секции 199, даже 99, а секция №200, тоже легендарная и загадочная, была. В нее приходили хорошо одетые замкнутые люди с пропуском — для того, чтобы одеться еще лучше. Жившей своей потайной жизнью, просуществовавшей несколько десятилетий 200-й секции уже нет, но до сих пор даже не все кадровые продавцы магазина знают, в каком месте она была расположена.

Советского человека почти отучили от любопытства, если оно может быть кому-то нежелательным и потому опасным. Казалось бы, что один из подъездов в самом центре города должен был бы стать просто знаменитым, как квартира певца Собинова или артистки Яблочкиной. Спросите любого коренного москвича, и он назовет вам адрес дома и скажет, что там делается, хотя никогда туда не входил. Мало кто из городских старожилов входил и в этот подъезд во дворе, соединяющем Новую площадь и столь знаменитый Большой Черкасский переулок, и мало кто ответит на вопрос, что за странный популярный подъезд, который вечно окружен "каблучками" — так называют легковую машину, переделанную для доставки некрупных грузов. В помещение, как в здание вокзала, то и дело вносят чемоданы — обыкновенные, с которыми путешествуют небогатые пассажиры, и точно такие же выносят. Если человек очень любопытный, то, присмотревшись, он мог бы на створках прямоугольного багажа разобрать знакомые слова... Названия самых уважаемых в стране

учреждений, исполнительных комитетов, творческих союзов, редакций! Крепкие и невидные собой чемоданы, однако, не их собственность, а только тара, защищающая содержимое от нескромных глаз. И еще здесь взад-вперед перетаскиваются металлические пеналы огромных, нешкольных размеров. Пеналы одной формы предназначены специально для перевозки рыбы. С крышкой, которая закрывается плотно: чтобы не слышен стал специфический рыбий дух. Другой формы — специально для нежной куриной тушки: хотя она и не пахнет, однако проникнуться соседним ароматом может. Третья форма — для парной телятины, вырезки...

Чемоданы и пеналы принимались и выдавались по рабочим дням. Только в аренду: в них без лишней огласки доставляли продукты.

Удивительно, но во всех спецбуфетах соблюдался один и тот же ритуал, форма одежды была одинаковой, как и надменная осанка буфетчиц, увенчанных сверканием. Похожесть была тем поразительнее, что женщины вовсе не принадлежали "Столовой лечебного питания". Их набирали для себя сами здешние начальники. Они числились сотрудницами того же ведомства, но очень редко значились буфетчицами. Некоторые осанистые поварихи и одновременно официантки, замкнутые и любезные только с начальством и шофером "каблучка", проходили по разряду инженеров, даже главных специалистов. Поэтому они были очень преданными, молчаливыми и получали немыслимые даже для какого-нибудь начальника сектора льготы.

Благодаря исполнению такого деликатного поручения, они быстро становились своими людьми. В редакции самой либеральной газеты женщины в кокошниках были уважаемыми больше своих самых известных публицистов. Они прибывали на работу на легковой машине. Утром на "каблучке", вечером — чтобы дурно не подумали о них соседи — на обыкновенной, так называемой разгонной "Волге", но не черной, потому что буфетчицы в гордыне своей могли вообразить, что они вообще равны заместителю главного редактора. При каждом удобном случае тружениц спецбуфета отмечали — премиями, иногда довольно щедрыми. Например, к юбилею газеты.

Имена редакционных женщин в кокошниках невозможно было спутать. Обе звались Тоня. Завистливые публицисты, которые обедали и пили кофе в общем затрапезном буфете, называли обслуживающее их заведение "Бедная Лиза" — не столько в честь писателя Карамзина и его знаменитой повести, сколько из уважения к буфетчице по имени Лиза — Елизаветы Артемьевны.

Публицисты вообще люди злые — наверное, сказывается влияние ремесла, которое побуждает их вечно язвить по любому поводу. Два раза случилось нечто такое, что показало этих, **с** виду интеллигентных людей с самой неприглядной стороны.

Однажды спецбуфет ограбили. О, нет — не завистливые журналисты: неразумные воры.

...В подъезде соседнего с редакцией дома заметили кошку, которая грызла, не могла откусить колбасу, копченую очень старательно. Жители онемели от удивления. Кто это кормит на лестнице кошек целыми колбасными неразгрызаемыми батонами? У кого воровка украла такое богатство? Вместо того, чтобы мучиться поисками ответа на эти трудные вопросы, одна престарелая безработная пенсионерка полезла на чердак и чуть не сошла с ума, пораженная увиденным: под крышей были свалены, как дрова, заготовленные на зиму, батоны разнообразной колбасы высшего качества! И еще — разнообразные баночки: разного цвета икра, севрюга, лосось, шпроты...

Сообразительная милиция быстро нашла виновного. Им оказался несовершеннолетний мальчик Сережа К. Для того, чтобы повествование было убедительней, лучше было бы, конечно, назвать его фамилию полностью, но очень не хочется этого делать. Тем более, что Сережа за этот проступок, который ему в его ранней юности казался благородным, как незабвенному киногерою Деточкину свои кражи, отсидел в тюрьме, а теперь он честный человек и вполне понимает, что никакому гражданину не позволено наказывать виновных без суда.

Над Сережей К. состоялся суд. Свидетельницами выступали обе Тони. С печальным видом они подтвердили, что батоны твердокопченой колбасы — собственность их буфета, что вообще буфет жестоко разграбили. Унесли не только копченую колбасу, но и мягкую шейку, колбасу чайную, докторскую, языковую, ливерную яичную, копченый окорок, ветчину различных сортов.

Почему этого не оказалось на чердаке? Никто не сомневался, что все эти вкусные мягкие вещи были съедены

кошками — они своего никогда не упустят. Странно только, что сын одинокой уборщицы не отведал этого сам, как и невиданной красоты копченой колбасы, которой ни в каком магазине не увидишь.

На суде вор признался, что от кого-то узнал, что в редакции передовой газеты сохраняется отсталое неравенство. Как в буржуазных странах — имеется дворянский буфет, в котором вкусно и сытно питается начальство, и народный — для простых людей.

Парень решил бороться с несправедливостью своими средствами. Он позвал самого маленького мальчишку со двора, объяснил ему все про буржуазные пережитки в сознании советских людей, и они оба залезли на крышу соседнего дома, чтобы их искоренять. Малыш без затруднений пролез в буфет через оставленную открытой — для свежести — форточку. Не было особых затруднений и перенести конфискованное имущество на чердак. Другого подходящего помещения не нашлось, так как воры боялись своих неразумных матерей, которые в своей беспринципности наверняка бы не одобрили самовольную реквизицию. Сами мальчики считали недопустимым есть незаработанное, краденое и потому к добыче не притронулись.

Сотрудники "Столовой лечебного питания" работали старательно и местом очень дорожили. Большой отрадой было сознавать, что питаешься тем же, что и сами заведующие отделом ЦК КПСС или, скажем, министры. Здесь все продукты были только что рожденные и сроки хранения их были очень строгие — одним продуктам назначена жизнь сутки, другим — двое. Но бывало, что вдруг образовывалась нехватка. Чаще всего чего-нибудь мясного — из спеццеха комбината имени Микояна. Очень любили товарищи его карбонаты, колбасу, особенно — нежную, рыхлую, тающую во рту московскую шейку, подобной которой, говорят, нет ни в одном городе мира. Даже в Вашингтоне.

Тогда приходилось ехать к самому директору, очень солидному человеку, депутату сразу двух местных Советов разных уровней, обходительному **и** приветливому. Очень уважительно принимал гостей! Всегда при этом удивит, угостит чем-нибудь изысканным, чего даже в "Столовой" еще не встречалось: все время придумывали новенькое, вкуснее прежнего. И следили за литературой, выписывали зарубежные журналы — оттуда кое-что заимствовали.

Упомянуть директора "микояновки" будет не лишним, поскольку с ним стряслась история, которая при воспоминании до сих пор бросает в дрожь от ужаса.

Одним несчастным днем директор поехал к себе в обед домой. Конечно, не городским транспортом — с водителем, на своей персональной машине. И не вернулся... Его нашли в широкой, двуспальной супружеской постели. С отрезанной головой... На супругу подозрений, естественно, не было — она находилась в тот день далеко от Москвы. Кажется, где-то на юге, у моря. А на шофера персональной машины, симпатичного парня с фигурой атлета, следователи глядели молча и пристально, ожидая от него признаний. Вопросов к нему было много: почему шеф поехал обедать к себе домой, когда супруги не было, почему он не остался пообедать на комбинате и вообще, за какой надобностью он поехал, когда перед тем, как отправиться, секретарша принесла ему чай с любимой им московской шейкой, фирменным изделием комбината? Разве этим способом не отбивают себе аппетит?

Неизвестно, что отвечал следователям испуганный шофер. Только из медицинской части пошел секретный слух о том, каким способом от него добиваются правильного ответа: у молодого здорового парня, по его собственному признанию, подтвержденному анализами, почки вдруг стали сочиться кровью. А люди, близкие к приемной, которые в силу причастности к основному кабинету комбината были невольно в курсе частной жизни своего директора, стали подозрительно замкнутыми. Самым доверенным людям они, однако, прошептали, что не хотят вмешиваться в частную жизнь хорошего человека, тем более, когда его уже нет в живых. И они тоже не понимают, зачем ему надо было ездить днем домой, когда там приготовленного обеда нет. Они же ездили именно тогда, когда квартира оставалась без хозяйки.

Похоронили видного в Москве человека без всяких почестей. Без подобающих печальных церемоний, не произносили речей, гроб не открывали. Все наводило на подозрение, которых никто не пытался рассеять. Тогда в газетах не было принято писать о несчастных случаях. Только о происшедших в Америке. Подробности отечественных несчастий люди добывали сами.

В "Столовых лечебного питания" эту историю помнили долго единственно потому, что в них, со всех сторон оберегаемых, чрезвычайных происшествий случалось немного. Но они были...

Когда член Политбюро, а, следовательно, вождь Екатерина Алексеевна Фурцева перестала им быть — удалили ее портреты с праздничных домов и прекратили их носить через весь город на демонстрацию — она кое-что в свежей своей обиде рассказала. Конечно, в своем узком кругу. А руководителю "Столовой лечебного питания" совсем откровенно.

Екатерина Алексеевна рассказала, что вообще ей надоело есть из опломбированных судков. Улыбаясь, эта по-прежнему милая женщина сказала, что ей несносно питаться из проверенных рентгеном емкостей.

Рассказывая, она шутила и была весела. Снятие с портрета, говорила она, пошло ей на пользу: живет она на улице Грановского — в доме как раз напротив. Очень удобно приходить самой. В конце концов, она просто женщина и ей иногда очень хочется приготовить обед своими руками, посмотреть на прилавок, выбрать продукты, а потом посмотреть на мужа, на дочку — угадать, не забыла ли кухню. Екатерина Алексеевна, не теряя приветливости, действительно стала приходить сюда сама. Очень редко оставалась обедать — по большей части заказывала продукты, чтобы сварить из них то, *что* хочется. Но она оставалась очень занятым человеком (уже не член Президиума ЦК КПСС и даже не секретарь ЦК, но все же министр культуры!), чтобы можно было поверить, что у нее хватает времени самой готовить на всю семью. Тем более, что был замечен молодой человек, являвшийся с ее талонами... Наверное, зять...

...Бедная событиями, безупречно отлаженная жизнь "Кремлевской столовой" продолжалась более семидесяти лет. Ее берегли с обеих сторон. В августе 1991 года внезапно приоткрылось, во что обходилось государству потайное кормление. Оказалось, гораздо дороже, чем это представлялось. В упоении победой новые власти для подсчета трофеев неосторожно привлекли людей посторонних и временных. Все вместе они составили грандиозный список "хозяйства привилегий", поразивший всех тех, кто увидел его.

"Инвентаризационные описи" были тогда несекретными, в них включили перечень зданий, которыми безраздельно и бесплатно владела отныне распущенная партия. Не только на традиционно упоминаемой Старой площади — в Ипатьевском переулке, Никитниковом проезде, на улице Куйбышева, улице Разина, по проезду Владимирова, в Плотниковом переулке. Эти 28 зданий и еще 4 служебных дома были все-таки более или менее известны.

Новостью был "Перечень санаториев, пансионатов, домов отдыха и дачных хозяйств Управления делами ЦК КПСС". В нем упоминались санатории "Пушкино", пансионат "Клязьма" (помните, туда приехала отдохнуть на уикенд Валентина Петровна N., неосторожно поевшая городской колбасы?), пансионат "Поляны", дом отдыха "Успенское", дом отдыха "Кунцево", дом отдыха "Новые горки", дачное хозяйство "Кратово", дачное хозяйство "Серебряный бор", дачный поселок "Пушкино"...

Все эти заведения для поддержания хорошего здоровья номенклатуры и для ее бодрого настроения, естественно, были убыточными и содержались будто бы на партийные взносы рядовых членов партии. По тогдашним ценам годовая сумма дотации была фантастической: 8 147 400 рублей. Самый дорогой товар — автомобиль "Жигули" — стоил в то время шесть тысяч рублей, на него семья копила деньги годами!.. Для поддержания здоровья номенклатуры ЦК КПСС и хорошего душевного самочувствия, не считая врачей в поликлиниках и больницах, только в санаториях и домах отдыха трудилось 5 400 слуг.

На партийные (на партийные ли?) деньги в стране победившего пролетариата холили здоровье и номенклатурных детей. Их отдельно растили на счастье всей страны в яслях-детском саду с общей московской нумерацией 838 — при гостиничном комплексе "Октябрьский". Родители и профсоюзные организации платили за содержание и воспитание 460 маленьких аристократов все вместе 56 тысяч рублей. За год. За каждый маленький ребячий носик — десять рублей в месяц. Партия (партия ли?)

прибавляла своих 1 967 200 рублей — то есть на каждый ребячий носик еще немного — 4 267 рублей и 52 копейки. За детишками самого высокого ранга присматривали 637 штатных воспитателей, поваров и нянь.

"Перечень" слишком длинный, и в нем слишком много цифр, чтобы приводить их все. Тогда пришлось бы упомянуть партийную мебельную фабрику, предприятия бытового обслуживания, привести список очень авторитетных предприятий, научных учреждений, которые выполняли по необыкновенно дорогим договорам обыкновенные, всем понятные заказы и вместе с тем — деликатные, загадочные.

Не могут дать "Инвентаризационные списки" ответа и на множество вопросов, касающихся "кремлевки" — раздвоившихся ветвей "Лечсанупра": медицинской "кремлевки" и продовольственной. В этом нет никаких неожиданностей. Все расходы на медицинскую "кремлевку" были отнесены на счет министерств здравоохранения СССР и РСФСР — у каждого было свое Четвертое Главное Управление. Они брали деньги из общей кассы.

Например, "Кунцевская больница" и 67-я городская. Одна — респектабельная, с чистенькими палатами на каждого больного и с обедом по предварительному выбору из меню. В ней действовало бюро пропусков, туда не впускали никого из посторонних, даже если у прохожего случился сердечный приступ. И другая больница — с запущенными обширными палатами, похожими на общежитие на колхозном рынке. В них маялись, ссорились с персоналом обыкновенные, нечиновные больные, для лечения которых вечно не хватало таблеток и санитаров. Так вот, расходы на одну прибавлялись к затратам другой, это делилось пополам и получалась средняя сумма расходов пролетарского государства на содержание одного советского больного в больнице.

Что касается второй разросшейся ветви — "Столовой лечебного питания" — трех в Москве и тысяч поменьше в республиканских, областных городах — то, понимаете ли, они относились всецело к Министерству торговли и

областным, городским управлениям торговли... Их расходы исчислялись таким же способом: складывались из средних цифр. Из стоимости обслуживания "контингента", с его утонченными запросами, и обслуживания в заводской столовой, где всегда пахнет вчерашними щами и едят их гнущейся алюминиевой ложкой. Складывались, делились пополам. С той особенностью, что медицина у нас была бесплатной, а еда продавалась. Одним, щи и суп из рыбной головизны, — за их кровные, другим — белорыбицу и телятину — всего лишь за щадящую самый тугой кошелек половинную стоимость.

Кто же оплачивал другую половину? Ради нее открывал свой кошелек Бюджет. Его имя вполне правильнее было бы писать с прописной буквы — он был так могуч, загадочен, своеволен, каким бывают только очень крупные руководители, этот Бюджет.

Приведенный выше безмолвный "Перечень" оказался немного откровеннее многих бывших руководителей советской торговли. "Перечень", наконец, ответил: несмотря на вечерний моцион, элита полнела из-за того, что для поддержания жизненного тонуса ела безупречные продукты, выращенные на полях собственных "хозяйств". Там забывали, что "коммунизм есть советская власть плюс химизация всей страны", и удобряли поля "для своих" по-старинному, избегая вносить в землю и на корм животным очень выгодную для перевыполнения "Продовольственной программы" химическую отраву. Вот почему яблочки из пакетов "Лечебной столовой" светились, как личики счастливых детей на картинках, а сочные персики были столь пушисты, что приходила, наверное, мысль побриться.

Теперешняя самая большая загадка — какое высокое заведение хранит бывшую 208-ю базу которая несколько раз меняла свое название и каждый раз на все более туманное? И кого она в свою очередь бережет? Кого-то славно бережет! По-прежнему к ней из дальних и ближних мест прибывают контейнеры и рефрижераторы, как и раньше, от загадочной базы отбывают груженые фургоны.

А от филиала базы на полпути от площади, где стоял железный Феликс, к известному дому на Старой площади — во дворе, соединяющем Новую площадь и Большой Черкасский переулок — попрежнему бойко суетятся "каблучки" с именными чемоданами. По цифрам на машинах теперь ничего не определишь: государственная автомобильная инспекция поменяла номера автомобилей. Теперь не разберешь, государственная она или частная.

Только время раскроет сегодняшние секреты. Как показал самый свежий опыт истории, непременно раскроет, но, если заботиться об общественной пользе, тогда это будет, пожалуй, немного поздновато.

Каждого, кого эти загадки интересуют, обвиняют в низменной, процветающей во все времена зависти. Обвиняют те, кто заинтересован в том, чтобы касающиеся их тайны жили как можно дольше. И не отдают себе отчет в том, что такого рода секреты не вечны, а после их неизбежного раскрытия немножко страдают, если не они сами, то их потомки. Впрочем, эта неприятность переносится людьми легче всякой другой.

Зависть, конечно, не самое лучшее человеческое свойство, однако, по свидетельству Фрейда, самое распространенное среди людей и зверей. Оно разрушительное, разумный человек должен подавлять его в себе — в своих же интересах. И в самом деле, стоит ли, будучи все-таки сытым, завидовать тем, кто, прячась от других, не по достоинству, не по труду и таланту вкусно ест, сладко пьет, постоянно опасаясь, что все это временное. Может быть, некоторое возмещение дает наблюдение врачей, что среди больных геморроем больше всего тех, кто ездит на персональной машине (они потом лежат на операции на животе) и что люди, обласканные привилегиями, живут — тоже в качестве возмездия — немножко меньше, даже те, кто был окружен ласковым вниманием бывшего Четвертого Главного Управления.

Но самое главное в другом. В конце концов, так ли много было растрачено общих средств на потайные, незаконные привилегии, свойственные только советскому

образу жизни и непонятные для капиталистического? В них купалось в Москве всего 8 000 семей, а в городе тогда насчитывалось 9 000000 жителей — около 3 000000 семей. От каждого рядового человека, который питался "городской колбасой", самым зажиточным людям на "московскую шейку" и другую аппетитную гастрономию перепадало, наверное, лишь по рублю. Всего лишь по рублику! Так стоит ли переживать?

Однако вред привилегий совсем в другом. Иногда жизнь устраивает ситуации, которые похожи на евангельские притчи.

...Старенького председателя Совета Министров, члена Политбюро ЦК КПСС Николая Александровича Тихонова удалось Горбачеву выпихнуть на пенсию, когда тот уже полностью завершил восьмой десяток своей беспокойной и бесплодной жизни. Позади было даже самое крупное его свершение — составление "Продовольственной программы". Послушный и бесцветный, вскормленный и взлелеянный "Лечсанупром", он, находясь все время за широкой брежневской спиной, без одышки беспрерывно взбирался по крутой лестнице руководящих должностей.

После отрешения от должностей он проявил себя романтиком. В первый же день, когда больше не надо было ехать на казенном транспорте на совещания, заседания, он впервые за полвека вышел без сопровождения в обыкновенный магазин. И был потрясен увиденным! Полки оказались пусты, как у ограбленного склада, который предназначен на слом. Продавалась только колбаса. Он купил ее с любопытством, потому что не знал, что такое "городская колбаса".

Увиденное и попробованное потрясло старенького государственного деятеля. Только сойдя с "Олимпа", он разглядел страну, которой много лет с гордостью руководил, и увидел ее такой, какая она есть. Правда, сначала он очень осерчал на директора магазина. Потом прошелся по улице и убедился, что если снимать с работы, то всех директоров. До единого! Подумав, он сел за письменный стол и сочинил страстное письмо... Кому бы вы думали?

Ну, конечно, в ЦК КПСС, который обязан знать все, что делается в стране. И сообщил, что в продовольственных магазинах Москвы, оказывается, нет ничего! Ни творога, ни молока, ни мяса, и можно подумать, что коровы состоят только из костей и жира. А колбаса — городская колбаса совершенно несъедобна...

Из ЦК КПСС письмо бывшего премьера с самым серьезным видом направили в Министерство торговли СССР — "для рассмотрения и принятия мер". Там над ним смеялись. Громче всех — служащие низшего ранга, которые питались в своем вонючем буфете и среди работы незаметно выскакивали из-за столов, когда в магазине "Колбаса", на площади Ногина, неподалеку с министерством, "выбрасывалось " что-нибудь дефицитное. Потешаться над прежним премьер-министром теперь было безопасно.

1995

К вашим услугам любая информация о России.

Информационный центр при Научной библиотеке Московского университета имени М.В. Ломоносова предлагает самый широкий спектр информационно-библиографических, справочных услуг по E:mail.

Мы готовы ответить на любые вопросы, связанные с Россией. От простейших — адреса, телефоны, имена руководителей организаций, фирм, ученых, политических деятелей. До сложных — исторические, экономические справки, библиографические списки книг, статей по любой теме. На каждый вопрос вы получите содержательный ответ.

Если необходимо, мы также готовы направить Вам копии практически любых материалов когда-либо издававшихся на русском языке. Scanned image in the TIFF or PCX format no E:mail или бумажную копию по почте.

Запросы принимаются по адресу; inf@Iib.msu.su. Язык английский или русский по Вашему желанию. Ответ будет послан на том же языке. Через 24—48 часов (в зависимости от сложности запроса) мы по E:mail подтверждаем принятие заказа, сообщаем примерные сроки исполнения и высылаем счет на оплату в банке США. Стоимость зависит от объема работы, количества запрашиваемой библиографической информации, минимальная цена справки 25 USD.

О МЕРТВЫХ МЫ ОБЯЗАНЫ ГОВОРИТЬ ТОЛЬКО ПРАВДУ

Несколько слов о Василии Яновском

Признаться, мне нелегко писать об этом человеке — слишком хорошо я его знал лично. В Нью-Йорке мы жили по соседству, и всякий раз, когда я заходил к нему, он по обыкновению прежде всего предлагал мне дринк, после чего и начинались до полуночи разговоры — это был собеседник, каких я редко встречал в жизни (во время одного из дринков, кажется, и возникла идея издания его "Полей Елисейских '). Сказать, что он был талантлив — это значит ничего не сказать. Талант его был настолько пронзителен и оригинален, что даже профессиональные критики, обращаясь к нему, часто не могли найти верных слов. Но, наверное, всего труднее говорить о прожитой им необыкновенной жизни. Он был воистину последний из могикан, последний из крупнейших представителей первой эмиграции: писатель, врач, эрудит, многие годы проживший в Париже, затем в Нью-Йорке, являвшийся автором многих эмигрантских парижских изданий, одним из ближайших друзей знаменитого Одена. Но главное, пожалуй, в том, что он был неутомимым искателем ис-

тины, смысла бытия, как тогда говорили, искателем первооснов. Тема Божьего царства на земле была для него не просто тема литературы, но главным вопросом жизни.

В.С. Яновский родился в 1906 году в Полтаве, в 1920 году с отцом и двумя сестрами выехал нелегально за границу. Окончил медицинский факультет Сорбонны и в 1937 году получил звание доктора медицины. С этого времени становится еще более активной писательская деятельность Яновского. В 30-е годы он пишет повесть "Колесо", романы "Мир", "Любовь вторая" и "Портативное бессмертие". В 1942 году переезжает в Соединенные Штаты, где по-русски выходит его роман "Американский опыт", повести "Челюсть эмигранта" и "Заложник", а по-английски — "По ту сторону времени" (с предисловием Одена), "Темные поля Венеры", "Кимбал бряцающий", "Ересь нашего времени" и "Великое переселение".

В Америке он становится одним из самых известных русских писателей, тогда как на родине о нем ничего не знают — и в этом, может быть, была главная драма Яновского. Не случайно такую популярность приобрела книга его воспоминаний "Поля Елисейские", изданная несколько лет назад в России. Эпиграфом к книге взяты слова Вольтера: "О мертвых мы обязаны говорить только правду". Сам Яновский писал о "Полях Елисейских" так:

"Великая русская эмиграция вымирает. Один за другим ушли, "сокрылись", классики и эпигоны. Кладбища распростерли братские объятия. Кто успокоился под Парижем или Ниццею, кто за Нью-Йорком или в Калифорнии... Вот Бердяев в синем берете кусает толстый, пустой мундштук для сигар. Вот Ходасевич нервно перебирает карты больными, зелеными пальцами; Федотов пощипывает профессорскую бородку и убедительно картавит. Фондаминский, похожий на грузина, смачно приглашает нас высказаться по поводу доклада; Бунин, поджарый, седеющий, во фраке, с трудом изъясняется по-французски... Где они? А между тем, внутри себя, я всех вижу, слышу, узнаю. Правда, я не могу больше пожать их теплые руки, прикоснуться к плоти, ощутить их запах. Но нужно ли это? Ведь такой нежности, которую я испытываю в настоящее время, такой боли и жалости я тогда, в пору общения с ними, — в себе не обнаруживал. Значит, смерть и время, отобрав одно измерение, прибавили другое. И теперешний образ всех наших былых спутников, если и несколько иной, то отнюдь не менее реальный, не менее убедительный... Что остается на долю художника, продолжающего свою бесконечную тяжбу с необратимыми процессами? Он должен воплотить в своей памяти этих собеседников

вместе с вновь осознанным чувством боли и нежности к ним.

И пусть эти живописания часто искривляют предметы, подчиняясь закону личной перспективы! Чем больше таких откровенных, субъективных свидетельств, тем грубее, быть может, образ, но и пластичнее, полнее".

Это, мне кажется, ключ к пониманию моей книги.

Но если "Поля Елисейские" открыли читателям русский Париж, то еще слишком много пятен в их представлениях о русской эмиграции в Нью-Йорке, где почти полжизни жил и писал Василий Яновский. Этой теме и посвящена предлагаемая публикация, в заголовок которой вынесен все тот же девиз Вольтера: "О мертвых мы обязаны говорить только правду".

Григорий Поляк

ПОСЫЛЬНЫЙ В НОВЫЙ ГОД

В чем "литературная" тайна Георгия Адамовича? Ведь все мы, тогдашние молодые писатели, вероятно, написали бы те же книги, даже если бы Адамович не существовал... Но без него не было бы парижской школы русской литературы. Я говорю "школы литературы", хотя сам Георгий Викторович брал на себя ответственность (и то, неохотно) только за "парижскую ноту" в поэзии. Это недоразумение. Его влияние, конечно, перерастало границы лирики. Новая проза, публицистика, философия, теология — все носило на себе следы благословенной "парижской ноты".

Георгий Викторович знал, что у меня готова книга "Воспоминаний", и при первой встрече в Нью-Йорке выразил желание с ней ознакомиться. Часами, сидя в своем темном отдельном номере, он перебирал знакомые эпизоды нашего "необыкновенного десятилетия", и это его, как будто, развлекало.

— Вот вы три или четыре раза называете меня "капризным". Вы ошибаетесь, я совсем не капризный, — возражал он мне тихо, но убежденно.

Мы выходили вместе из отеля на 56-ой улице. Он

осторожно переставлял ноги. Было больно смотреть на эту осторожную (защищающую себя) походку. Учтиво улыбался, шутил, а глаза у него были "мертвые". В этой европейской шляпе и в темном, английском пальто он мне кого-то или что-то напоминал, но я не мог сообразить — кого или что! Только жалость охватывала меня, жалость до слез, и это — удивляло. Жалость к человеку, которому жизнь, в общем, удалась? Ведь его репутация установилась прочно и всерьез — во всяком случае, за рубежом. Полчища литераторов шли или ездили к нему на поклон. Из Советского Союза наведывались почитатели. Вознесенский объявил ему в Париже, что в мире есть только 5-6 человек таких "понимающих", как Адамович (предполагалось, что и Вознесенский в их числе). Евтушенко прислал длиннейшую поэму "Георгий Адамович": я видел это произведение искусства. Там черным по белому сказано, что во вселенной осталось только два "понимающих" существа: Адамович и Евтушенко. Странно, что эти шалуны находят нужным сообщать нам сюда такого рода сведения. Не лучше ли было бы заявить об этом во всеуслышание там, в "Союзе"?

Георгий Викторович интересовался поэзией Одена и, зная, что я с ним дружен, он несколько раз осведомлялся о нем. Мне оставалось только свести их: в день Благодарения они встретились у нас за столом. Английский язык Адамовича был немощен: Оден почему-то отталкивается от французского. И все же мне кажется, что они до какой-то степени сблизились.

Когда зашла речь об одном гастролере, который вздумал зажечь море, то есть читать свои поэмы десятку тысяч слушателей, Оден заметил, что по существу это ничего не меняет: сколько бы не было людей перед ним, 50 или 500, он все равно читает только для одного слушателя — иначе нельзя.

На это Адамович возразил, что он уже 40 лет тому назад пришел к заключению, что читать стихи нельзя никому, и поэтому он больше их не читает на собраниях.

В какую-то минуту (не помню последовательности)

Оден обратился к моей жене и попросил ее точно перевести, чтобы не было ошибки, что он считает себя и Георгия Адамовича принадлежащими к тем же корням, к той же культуре. А Георгий Викторович сидел за столом, осторожно жевал гуся; вина не пил, приветливо улыбался, часто шутил, но глаза у него оставались мертвые, повернутые назад.

Заговорили о Тютчеве.

— Ах, какая у него прелесть, — сразу откликнулся Адамович и прочел по-русски:

Вот бреду я вдоль большой дороги
В тихом свете гаснущего дня,
Тяжело мне, замирают ноги...
Друг мой милый, видишь ли меня?

И вдруг меня осенило: вот именно это стихотворение я силился вспомнить, когда мы шагали рядышком в отель или из отеля. Он в своей старомодной шляпе, с опаской переставляя ноги… Насколько я знаю, Адамович не терял любимого существа на манер Тютчева, и обращение его к "милому другу" и ангелу носит скорее метафизический характер. Удивляясь собственной слабости, болезни, одиночеству, он обращался к какой-то мировой совести, к мировому Разуму: видишь ли Ты меня теперешним ничтожеством, и можно ли это оправдать?

— Неужели вас может интересовать, что о вас скажут после смерти, — спросил он меня в связи с очередным некрологом, над которым я трудился. И, услышав ответ, добавил:

— А вот меня это ничуть не занимает.

Была у него толстовская жажда все "понять" своим умом, увидеть, дотронуться; (а если нельзя "понять", значит это все гиль). И многое в метафизике он и почитал за гиль.

— Как человек сможет летать к другим созвездиям, если свет оттуда странствует миллиарды лет? — этот довод ему казался неотразимым.

Надо ли объяснять, что наш спор не был о космонавтике. Тут что-то его парализовало: он искал рационального выхода из иррациональной ситуации.

Разумеется, были у Адамовича мелкие черточки, которые в молодости меня возмущали, и я часто подтрунивал над его "дипломатическим шарканьем". Увы, трудно провести четкую границу между врожденным тактом и оппортунизмом.

В своем последнем письме к нему я, шутки ради, цитирую популярную на старом Монпарнасе гениальную пословицу: "Как с бычком ни биться, молока от него не добиться".

На это он мне ответил уже из Ниццы:

...А о "бычке и молочке" поговорим когда-нибудь, при встрече (или в другом мире)… Письмо помечено 16-м февраля с.г.

Статью, посвященную Георгию Викторовичу, я начинаю и завершаю строфой его любимого поэта Иннокентия Анненского:

Вы — тот посыльный в Новый Год,
Что орхидеи нам несет,
Дыша в башлык обледенелый.

"Третий час" Елены Извольской

Я не помню, когда мы встретились в первый раз. Скорее всего, это произошло в конце 20-х или в самом начале 30-х годов. Во вселенной Русского Парижа чьи-то тропинки никогда не пересекались, в то время как других людей жизнь постоянно сталкивала. С Еленой, или Хэлен, как называли ее американские друзья, мы встречались часто, так как наши дорожки пересекались ежедневно или ежевечерне.

Как мне помнится, меня представили ей в доме Юрия Ширинского-Шихматова, основателя и редактора ежеквартального журнала "Утверждение". Название говорит само за себя: в 20-х годах мы уже не были удовлетворены

безоговорочным отрицанием большевизма, а пытались найти положительный выход из европейского кризиса. Бердяев, конечно, внес свой вклад в "Утверждение", его тезис о "первичности духа" мог быть ключевым словом для всего журнала и для всех эмигрантских групп, которые мало-мальски интересовались журналом.

Позже появились подобные издания, наиболее значительным среди них был "Новый град", основанный Ильей Фондаминским, Георгием Федотовым и Федором Степуном.

Кроме того, были встречи в странноприимном доме матери Марии, вдохновленные теми же самыми, перенесенными на практическую почву принципами. Хэлен и я сталкивались друг с другом всюду, на этих сборищах, в самом разнообразном окружении. Только среди эмигрантов (или, может быть, после землетрясения) возможно встретить такую невероятную смесь из разных социальных слоев, вдохновленных и объединенных одним духовным порывом.

Князь Юрий Ширинский был сыном царского министра религии, который обычно говорил про себя, что правее него только стенка. Юрий Ширинский, сын этого архикон¬серватора, был женат на вдове Бориса Савинкова, революционного анархиста, организовавшего покушения на Плеве, Великого Князя Сергея и многих других.

Мать Мария была русской православной монахиней, в миру известная как Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева. Она не заперла себя в стенах монастыря: была занята раздачей пищи бедным, странноприимным домом, а также писательством. В юности она сочиняла стихи и принимала участие в деятельности партии эсеров. У Фондаминского (другого эсера) вы всегда могли встретить Керенского, главу недолго жившего русского демократического государства, которое прекратило свое существование в октябре 1917 года.

Хэлен чувствовала себя дома во всех этих местах, со всеми этими людьми, на этом фоне и началось наше знакомство.

Она и Керенский были большими друзьями. Она помогала ему с его французскими и английскими лекциями, хотя он был тем человеком, который уволил ее отца (или принял его отставку).

Я упоминаю все эти детали, чтобы показать, насколько фантастичной была наша жизнь в Париже в предвоенные годы, как страстно мы жаждали нового и справедливого общества и какой у нас был свободный выбор. Едва ли кто-то из моего поколения, на вопрос о религиозной принадлежности сказал бы: "Католик", "православный", "протестант". В ответ вы могли ожидать: "Я хотел бы быть христианином".

По существу нас объединяла экуменическая идея, а также сильные социальные побуждения. "Третий час" Извольской был логическим продолжением того же самого в новых обстоятельствах.

С самого начала я был поражен ее привлекательной особенностью: воспитанная в чрезвычайной роскоши как дочь царского министра иностранных дел, Елена Александровна могла и любила работать. Она обеспечивала себя и мать случайными журналистскими заработками, сотрудничая во французских философско-религиозных журналах, таких как Esprit (Эммануель Мунье) и Temps Present (Станислав Фюме).

Чтобы заработать на жизнь, она бралась за разные работы. Так, например, она перевела несколько моих рассказов для французского еженедельника, который по каким-то неясным мотивам субсидировал печально известный Ставиский. Когда все это случилось со Стависким, мы с Хэлен долго смеялись над тем, что часть денег, очень маленькая часть, которые украл Ставиский, оказалась в наших карманах.

Конечно, я был не единственный, кого она переводила. Были другие, с громкими именами: Бердяева и Ремизова она переводила на французский, Мунье — на русский, речи Керенского — на английский и т.д. Объединить Мунье и Бердяева, Маритэна и Федотова или Керенского — вот была ее великая миссия в то время.

Тот факт, что она обратилась в католицизм, был абсолютно личным делом (который никогда не обсуждался). Ни одно русское религиозное движение не порицало ее. Я видел, что она чувствовала себя дома в русской церкви. Не зря она выбрала восточный ритуал в католической церкви, тот ритуал, которому следует русская православная церковь.

Такой была наша жизнь вплоть до великого исхода. Мы все покинули Париж за недели, дни или даже часы перед нашествием гуннов, впоследствии некоторые вернулись, чтобы погибнуть. Хэлен временно осела в По, я был в Монпелье, куда пришли несколько писем от нее. Она получила американскую визу задолго до меня. Когда я прибыл в Соединенные Штаты в июне 1942 года, я слышал, что она нашла приют на Толстовской ферме, где был обеспечен уход за ее больной матерью.

В 1944 году мы встретились опять в доме мадам Манциарли в Нью-Йорке. Ирма Манциарли родилась в Санкт-Петербурге в семье немецких протестантов, вышла замуж за франко-итальянца, жила после революции во Франции и Гималаях, знала нескольких Гуру, а также Ганди. Она была последовательницей определенных эзотерических учений и посвятила свои последние годы спиритуальным делам. Встреча, на которую я был приглашен, была посвящена новому журналу, который должен был быть экуменическим в полном смысле этого слова. Название уже было выбрано: "Третий час". Недоставало только материалов.

В первоначальную группу входили композитор Артур Лурье, католический новообращенный, и Казем-Бек, персона с очень сложной биографией. Его мусульманские предки служили Романовым и в конце концов присоединились к русской православной церкви. В эмиграции он возглавлял политическую партию Младороссы, которая видела будущее России в формуле "Царь плюс советы". К партии принадлежали патриоты, в основном, благородного происхождения. Когда немцы начали распоряжаться в Европе, Казем-Бек освободил своих последователей от

верноподданической клятвы и эмигрировал в Америку. (Младороссы так же, как коммунисты и евреи, сопротивлялись немцам во время оккупации). Казем-Бек после нескольких лет в Америке, присоединился к Московской патриархальной церкви и, оставив жену, детей и старого коккер-спаниеля, вернулся в Советскую Россию, где снова женился.

Такая пестрая компания должна была быть экуменической по определению: без предрассудков, лицемерия и предпочтения какой-то определенной церкви. В этом и была ценность "Третьего часа": настоящий экуменизм без всякого скрытого фаворитизма. Все, что имело отношение к христианской духовности, могло найти себе место в "Третьем часе". Скорее всего мы были первыми, кто опубликовал статьи Симоны Вейл, Эдит Стейн, матери Марии, Тейяра де Шардена, Мунье и Федорова. Такие теологи, как Бердяев, Маритен и Карл Барт, принимали участие в журнале.

На первой встрече у Манциарли я заговорил о Николае Федорове и предложил написать о нем статью для первого выпуска. Это предложение всех устроило.

Выпуск №1, увидевший свет в 1946 году, был по сути дела тремя выпусками: на русском, французском и английском. Мы пытались найти свою аудиторию, которая в конце концов оказалась американской. С самого начала я помогал Хэлен выпускать "Третий час", тем более, что многие основатели вскоре умерли или покинули нас. Всего было выпущено девять номеров. Но самым большим достижением были не выпуски, а наши встречи, на которых мы вели споры почти в русском духе, страстные и до самого конца, если не проблемы, то по крайней мере до конца ночи. Как-то незаметно и быстро наши встречи переросли в большие сборища, и мы перенесли их из дома Хэлен в более просторные помещения. Американцы, друзья из Англии, Франции и Германии присоединились к нам. Подавалось красное вино, которое стало отличительной чертой собраний "Третьего часа".

В те ранние дни и годы через редакцию прошли Оден,

де Ружемон, Урсула Нибур, Анна Фремантле, Керенский, Эйлин Эган, Маргарита Тьядер, Дороти Дэй, выдающиеся священники из Франции и Бельгии, Африки и Индии, все они внесли свой вклад в журнал и читали доклады на собраниях. Искала этих людей, организовывала дебаты, поддерживала связи, в основном, Хэлен. Правда, ей всегда помогали, но без нее мы не стали бы продолжать. Так постепенно и по праву это стало "Третьим часом" Елены Извольской. Она часто отчаивалась, с годами становясь старее и слабее, она грозилась закрыть предприятие, но на самом деле никогда не собиралась этого делать (только смерть могла отлучить ее от "Третьего часа").

Постепенно движение потеряло первоначальную интеллектуальную остроту, оно иссякало и становилось традиционным направлением. Возможно, в какой-то степени оно выполнило свою историческую миссию, и другие группировки, о которых мы даже не знали, продолжали борьбу на другом уровне. Но дух дружбы, экуменизма присутствовал до конца. И только когда юноши с горящими глазами восхищались нашими собраниями, мы, зная, что речь идет об увядшей красавице, восклицали: "Были бы вы здесь лет 15-20 назад".

Хэлен также изменилась, старалась избегать острой конфронтации и в политике, и в теологии. Возраст брал свое. Ее положение было нелегким: как дочь Извольского она всегда сочувствовала идее сохранения России в исторических границах, задача, с которой справлялись как-то Кремль и Патриархальная церковь. Для человека, сознающего себя русским эмигрантом, это влекло за собой массу противоречий.

Она обожала Соловьева; возможно, то, что он соблюдал обряд католического причащения, сияло для нее как вечный пример. Но читая лекции о нем, она под конец впадала в школьные банальности.

Жизнь на католической рабочей ферме была, несомненно, светлым периодом для нее: переезд в другие апартаменты представлялся ошибкой. Она была одинока. Время от времени какие-то люди приезжали и жили вместе с ней. Но это не было решением проблемы, она не была легким партнером.

И все же, будучи старой и, возможно, больной, она продолжала работать. Ее ум был ясным и острым, как всегда, ее интеллектуальная энергия не убывала. Прошлым августом она прислала статью обо мне и моем творчестве, которую она написала по просьбе редактора журнала Queens Slavic Papers, около тридцати страниц. Возможно, это был ее последний литературный труд на земле. Мы не всегда жили в мире и согласии: Толстой против Достоевского были постоянным поводом для битвы. Тем не менее нас связывало глубокое взаимное уважение, основанное на том, что в течение этих 45 лет ни один из нас не предал "первичности духа", который и свел нас вместе. Немногие среди первой волны эмиграции ни разу не склонили голову перед улицей Гренель (где находилось Советское посольство), не помогли немцам или японцам "спасти" Россию (были и такие) и никогда не сотрудничали ни с одной шпионской организацией.

Я видел ее в последний раз за две недели до ее кончины. Было очевидно, что она тяжело больна, так тяжело, что не имело смысла обсуждать это. Затем я звонил несколько раз в больницу, она просила отложить мой визит до Нового Года, когда мы могли бы решить все дела, связанные со следующим выпуском. Я просил ее не беспокоиться, что бы с ней ни случилось, с журналом все будет в порядке. Мы оба знали, что это будет последний выпуск.

Она умерла в канун Рождества, сестрой Ольгой, послушницей Ордена святого Бенедиктина (1896—1975).

Перевод статьи с английского
Алевтины Ивановой.

Страницы об Одене

Из дневника

21 февраля 1958 года. Всякий раз я предвкушаю от общения с Уистеном столь многое, что в какой-то момент (в середине вечера) мне с болью приходит мысль: "Все кончилось, все уже кончилось. Больше нечего ждать... Завтра — работа, труды, дела, скучные и серые. Все". Те же чувства я испытывал, читая написанную обо мне статью Адамовича, которую я так долго хотел увидеть; где-то в середине текста очарование рассеялось, и грустный голос шепнул: "Все уже кончилось, ничего существенного больше не будет".

Я сказал об этом Уистену. Он, кажется обратил внимание только на вторую половину моего признания.

— Вам действительно так интересно читать о себе? — спросил он с присущим ученому серьезным (испытующим) взглядом. — Это же такая тоска, и притом никогда не напишут самого главного.

В ответ я рассказал ему о своем разговоре с Иваном Буниным (лауреатом Нобелевской премии 1933 года). "Даже теперь еще, — сказал Бунин, — а ведь столько этого было, как только увидишь свое имя в печати, и сразу вот тут, — он поскреб пядью свою грудь слева,— тут чувствуешь нечто, похожее на оргазм". И знаменитый старик с торжествующим видом пристально посмотрел мне в глаза.

Уистену это не понравилось:

— Русские уделяют слишком много внимания критике, они даже от ругательных отзывов получают удовольствие.

16 марта 1958 года. Уистен пришел на ужин... Разница между русскими и западными писателями; элемент личного; гражданственность, нравственность. Русский писатель — пророк или святой (или вынужден такого изображать). Англичанин не может по нашему оценить "Войну и мир". Уистен высоко ставит "Смерть Ивана Ильича". "Записки из подполья" потрясли его некоторыми деталями, странными и завораживающими, как из страшного дразнящего сна. Он говорил об этом много раз.

21 февраля 1962 года. День рождения Одена. Слишком много выпил шампанского. (Так как я бросил курить, алкоголь — единственное, что мне остается на вечеринках.) Уистен ходит взад-вперед по двум большим комнатам, из одного угла в другой, с рюмкой в руке — паузы все дольше и дольше, слов все меньше и меньше (его морщины стягиваются и разглаживаются от усилий что-то вспомнить). Он приветливый, грузный, отчужденный, отсутствующий.

— Это самая умная женщина в Нью-Йорке, — представляет он меня даме с кислой улыбкой.

Еврейская девушка (я никогда не видел ее — ни до, ни после) приоткрыла дверь в спальню Уистена (печальное зрелище), чем буквально привела его в ярость. Он закричал неистово и злобно. В этом приступе бешенства было что-то похожее на геноцид. Но Честеру очень мастерски удалось его успокоить.

1965 год. Ужин в ресторане с Оденом и двумя приезжими гомосексуалистами. На листочке меню Уистон написал:

Моя Эпитафия.
Он.....Да.
Поэт. Я полагаю.
Хороший. Ну а христианин ?
— У.Х. Оден

20 марта 1967 года. Звонок, рассказывает одни и те же истории (уже выпил мартини). Цитирует свои строки:

Америку благослови. Господь,
огромную, в достатке и богатстве.

11 апреля 1967 года. Мой роман "По ту сторону времени" вышел в Лондоне. Вечером пили с Уистеном шампанское. Он — очень оживлен. Утверждает, что имеет власть над слушателями ("Есть особые приемы, и не только Гитлер умел ими пользоваться".) Каким осторожным нужно быть, чтобы не использовать эту власть

во вред. Каким на редкость счастливым он был всю свою жизнь, да, всю свою жизнь. Как он благодарен судьбе, что его родной язык — английский. Однажды в юности он прогуливался с другом родителей и тот спросил, не хотелось ли ему когда-нибудь стать поэтом. И Уистена словно осенило: "Да! Конечно!" (И точно также, впервые увидев Честера, он сразу понял: "Да, это пришло на всю жизнь".)

Я спросил его, как бы он себя чувствовал, если бы ему пришлось уехать из Англии, но не в Америку, где все говорят по английски, а в Китай или в Россию. Он даже не смог себе представить такой подлой гримасы судьбы.

Вербное воскресение. 7 апреля 1968 года. Пошел попрощаться с Уистеном. Мы говорили о "воскресении на третий день". Уистен странно смотрел — куда-то в сторону. У меня всегда одно и тсже чувство, когда я говорю с протестантами: не верят они в воскресение Христа! В своих записках о Толстом Горький говорит, что Толстой "как будто опасается: приди Христос в русскую деревню — его девки засмеют". Я чувствую что-то похожее по отношению к протестантам, когда речь заходит о воскресении.

8 мая 1969 года. Письмо и несколько стихов. "Послание крестнику", "Цирцея" и "Новогоднее поздравление", которое он попросил "позволения" посвятить мне. Последний станс чисто оденовский (хотя он часто пытается замаскировать или даже вычеркивает такие типичные для него строки):

Тогда чуть позже иль раньше
День судный забрезжит,
и мой покров превратится
в такой холодный, протухший,
другим предназначенный зверям,
страшнее, чем ты, а я
останусь нагой, виноватый, без нимба,
без Прошлого, перед судом.

24 июля 1969 года. Письмо с описанием анекдотических случаев на Лондонском поэтическом фестивале. "Атташе по культуре Советского посольства в Лондоне, услышав, что мы пригласили Вознесенского, ответил просто: "Он заболеет".

В этом же письме несколько небольших эпиграмм:

...Лет в двадцать я старался досаждать
всем старшим, но уж мне за шестьдесят —
тираню младших...

8 марта 1970 года. Импровизированный ужин в китайском ресторане (куда мы иногда приглашаем Дороти). Я пришел в кожаном пиджаке. Оден: "Я думал, в кожаных пиджаках ходят только убийцы", сидящие за соседним столиком узнают его, выходят, возвращаются с книжкой и просят автограф. Он очень мило выполняет просьбу.

Я сообщил, что отказался от выгодной работы в клинике, потому что с легализацией абортов придется производить по двадцать пять таких операций ежедневно, а я не могу этого делать. Уистен внимательно на меня посмотрел и через минуту решительно заявил:

— Я бы, пожалуй, мог!

30 января 1971 года. Уистен попросил Изабеллу перевести на немецкий его "Оксфордскую проповедь" ("Карнавал")... вскоре ему предстоит ее читать в Мюнхене.

Потом мы говорили о загадке Гоголя (его половой жизни). По этому поводу я перевел Одену a livre ouvert* удивительный отрывок из Розанова:

"Он, бесспорно, "не знал женщины", т.е. у него не было физиологического аппетита к ней. Что же было ? Поразительная яркость кисти везде, где он говорит о покойниках. "Красавица (колдунья) в гробу" — как сейчас видишь. "Мертвецы, поднимающиеся из могил", которых видят Бурульбаш с Катериною, проезжая на лодке мимо кладбища,— поразительны. То же *утопленница* Ганна. Везде покойник у него живет удвоенною жизнью, покойник — нигде не "мертв", тогда как живые люди удивитель-

* С листа (фр.).

но мертвы. Это — куклы, схемы, аллегории пороков. Напротив, покойники — и Ганна, и колдунья — прекрасны, и *индивидуально интересны.* <...> И я думаю, что половая тайна Гоголя находилась где-то тут, в "прекрасном упокойном мире", — по слову Евангелия: "Где будет *сокровище* ваше — там и *душа* ваша". Поразительно, что ведь ни одного мужского покойника он не описал, точно мужчины не умирают. Но они, конечно, умирают, а только Гоголь нисколько ими не интересовался. Он вывел целый пансион покойниц, — и не старух (ни одной), а все молоденьких и хорошьников".*

Одена явно увлекли эти рассуждения (вообще он любил противоречивых русских — Розанова, Леонтьева, Чаадаева, Герцена), но после минутного раздумья его здравый смысл взял верх, и он объявил: "Написано превосходно, но я этому не верю".

7 марта 1971 года. Уистен вернулся из лекционного турне. Неприятный, в маразме. Говорил, что можно мочится в ванну, пукать — вполне представляет себе пару, обращающуюся таким образом, ковырять в носу, глотать сопли ("вкусно"). Что-то распадается в этом огромном, вылепленном из глины теле, — маразм.

21 февраля 1972 г. Празднование 65-летия Одена в частных залах ресторана в Рэндом Хаус. Уистен скорее мертв, чем пьян (сначала мертв, а потом, чтобы скрыть это, пьян). Чужеродное разбухшее тело, усаженное на диван или движущееся по залу. Несмотря на шампанское, мы все себя чувствуем как на похоронах. Шампанское, тосты, хвалебные речи. Я даже бросаю о стену бокал, он разбивается удачно с приятным мелодичным звоном).

Но ничто не может преодолеть этой мертвенной замороженности вокруг него. Он уходит от нас (и не просто в Оксфорд). И все-таки, несмотря на это, несмотря на всех жен зануд-академиков, которые жестоко осаждают

*Розанов В. В. Опавшие листья.

его, он нашел момент представить меня Хелен Вулф и рекомендовать ей (высоко оценив) "Темные поля Венеры".

12 апреля 1972 г. Хелен Вулф взяла книгу с самыми благоприятными отзывами. Я позвонил Уистену из ее кабинета, сообщил эту новость и пригласил его к ней 13 апреля (почти в день моего рождения). Кроме Одена пришли Макс Фриш с супругой и Фрэнсис Ланца. Оден явился в тапочках, очень озабоченный приготовлениями к надвигающему отъезду ("бегаю как цыпленок без головы"). Говорил, что пора бросить курить, но не ради здоровья, а потому, что в Оксфорде он не сможет себе этого позволить. (Я подарил ему одну из своих лучших трубок.) Очень скоро, часа через полтора, настоял, чтобы мы отвезли его домой. Шампанское у Хелен Вулф великолепное, но надо ехать.

Незадолго перед летним отъездом Одена я ему позвонил:

— Вы знаете, что в 1878 году Тургенев получал в Оксфорде doctor honoris causae* и произнес там речь? Вы могли бы поручить какому-нибудь студенту ее раскопать, она никогда не была опубликована.

Но, видимо, я позвонил в неудачное время.

— Меня это не интересует, — рявкнул он.

Было впечатление, что он целиком поглощен чем-то очень далеким и мне до него никогда не достучаться.

30 сентября 1972 г. Отвез Уистена в аэропорт Кеннеди. Его голая квартира, словно декорация для пьесы Беккета. Выбежав из нее, от споткнулся о ступеньку, как гигантский гном, спасающийся от лохматых чудовищ. Трое сели спереди, Орлан Фокс сзади (как ему удается складывать ноги?). Оден в поношенной одежде, издерганный, напуганный и притихший. Впечатление: похороны (и не очень-то торжественные). Но ведь не было никакого разумного повода чувствовать такую скорбь. Я

* Почетная степень доктора (лат.).

опрометчиво упомянул о предстоящем присуждении Нобелевской премии. Уистен буквально впал в неистовство... потрясая своими большими руками (с лицом как искаженная вытянутая географическая карта), он закричал: "Я не желаю об этом говорить, я не желаю об этом говорить!" Жуткое зрелище.

Мы вошли в зал ожидания, Уистен двигался ссутулясь, на полусогнутых ногах (гигантский гном), почти не глядя по сторонам. Мы выпили две рюмки в баре (Фокс позаботился об этом) и добрались до кафетерия — ресторан "получше", скорее всего, был закрыт. Я проводил Уистена до стойки буфета самообслуживания. Думал, что он заплатит сам, но он даже не сделал такой попытки. Мы вернулись к столу, а Изабелла и Фокс пошли взять что-нибудь себе. Естественно, что мы с Уистеном первые доели жалкий обед. "Вы так медленно едите", — упрекнул он Изабеллу. В голосе звучало холодное осуждение.

Решение вернуться в свою юность, в Оксфорд (к корням), которое он оправдывал чисто финансовой необходимостью, было ошибочным, роковым, патологическим! Оно было частью того процесса распада, который, в конце концов, привел его к "Колыбельной": "Спи, взрослый мальчик, спи крепко".

По дороге в зал ожидания для пассажиров первого класса он купил бутылку водки — примерно на доллар дешевле — и пошел с этой незавернутой бутылкой, которая ему совсем не пригодится в ближайшие сутки.

Я вспомнил слова Рембо, обращенные к Верлену, который пришел домой с покупками: "Tu as l'air idiot avec ta bouteille et ton hareng..."* — сказал Артюр, а затем последовала семейная сцена. Я даже хотел напомнить об этом эпизоде Уистену, но удержался — атмосфера была слишком накалена.

Мы вошли в зал ожидания первого класса. Стюардесса, похоже, знала, кто перед ней, и наблюдала, как Фокс и

* У тебя идиотский вид с этой твоей бутылкой и селедкой (фр.).

я налили в бокалы "Courvoisier". Уистен тоже сделал несколько глотков — так сухое бревно, лежащее у берега, раскачивается, опускаясь под воду и вновь всплывает на поверхность под действием невидимого прилива.

— Умереть лучше всего (правильнее всего) в семьдесят, — вдруг тихо произнес он. — Я знаю, что, конечно, проживу намного дольше, но мне бы хотелось умереть в семьдесят.

Мы пили коньяк, пытаясь поддержать разговор. Как он изменился за последние пять лет. Раньше, даже выпив, он был другой — веселый, доброжелательный. Теперь перед нами стоял робот, скопление распадающихся клеток. Время от времени он стряхивал свою апатию, как мохнатая овчарка, выпрыгивающая из воды, и произносил разумную фразу или пожелание. "Нет, нет, Василий, — восклицал он, — не надо так говорить, не будьте злым..." И снова впадал в оцепенение. Неожиданно он объявил: "Теперь вы должны идти". И мы ушли, поцеловав или сделав вид, что поцеловали, его массивную глиняную серую щеку. На обратном пути у всех троих было чувство, будто мы возвращаемся с похорон (и не потому, что partir c'est mourir*).

В Оксфорде ему было плохо, его игнорировали и даже оскорбляли. До нас доходили слухи, что он не получает должного внимания. Сам он писал, что в Нью-Йорке на него никогда не нападали грабители, и надо было приехать в Оксфорд, чтобы стать жертвой грабежа.

Наверное, он там по-настоящему страдал. Студенты, которые должны были приходить на занятия, заставляли часами ждать или не приходили вовсе. Кто-то ночью ввалился к нему в дом и устроил скандал. Чтобы от всего этого убежать, он планировал весной поехать с лекциями в Соединенные Штаты.

Но Уистен не забывал друзей. "Я думаю, — писал он нам, — вам будет приятно узнать, что рецензенты "Некого

*Уходить значить умирать (фр.).

мира" и в "Обсервере" и в "Санди телеграф" особенно хвалят эссе об "Анестезии"". Казалось, тогда мой успех был ему более приятен, чем собственный. На обороте письма он напечатал новые стихи — "Разговор с самим собой":

Время, мы знаем оба, разрушает тебя, и сегодня
Я боюсь расставанья: я видел ужасные сцены.
Запомни: когда Господь Бог скажет тебе "Уходи",
Пожалуйста, ради него и меня, не замечай ни за
что
Все мои жалкие "нет" и убирайся живее.

Праздник Вознесения, 1972 г. Уистен пишет о "Кимвале бряцающем", "который прочитал с упоением и восхищением вашей виртуозной техникой, но и замешательством". Он жалуется, что "часть 1 — это копание в себе a la Достоевский (что всегда несколько озадачивает англичанина)..." На другой стороне листа было новое стихотворение "Колыбельная":

Теперь о забвении: пусть
сознание живота захватит
все тело под диафрагмой внизу,
владение матери...
Спи, взрослый мальчик, спи крепко.

Эти стихи дали мне козырь против "озадаченного англичанина". Я ответил, что его "Колыбельная" как раз и есть "копание в себе" (именно в себе — в душе и теле), и, что еще хуже, копание окончательно и безнадежно инволюционное (этот биологический термин я употреблял несколько раз в наших дискуссиях).

5 июля 1972 г. Его письмо оканчивается смешным рассказом: ""Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень!" — не успел Христос договорить, как камень просвистел над его головой, Христос обернулся: "Мама!"" (На обратной стороне новое стихотворение "Непредсказуемое, но предначертанное". "Мое домашнее заглавие для стихотворения на обороте, — добавляет Уистен, — "Contra Monod"").

12 июля 1972 г. Уистен выбирает время сообщить нам, что Иосиф Бродский благополучно прибыл в

Вену и что Уистен помог ему получить стипендию Американской академии.

3 апреля 1973 г. Пишет, что Оксфорд сущий ад. Слишком много людей, и шум хуже, чем в Нью-Йорке.

Его последнее письмо датировано 3 сентября 1973 года: "... Я начинаю чувствовать возраст. Хотя моя голова, слава Богу, еще работает нормально, тело устает довольно быстро. Здешний доктор сказал, что у меня слабое сердце, если вы понимаете, что за этим стоит..."

Далее он пишет, что читает новую книгу. "Я дам на нее рецензию в "Нью-йоркере"... Это шедевр..."

На обороте: "Обращение к зверям":

...разные теперь, в конце концов мы будем вместе,
(как быстро трупы все становятся похожи), но я не
верю, чтоб вы знать могли о приговоре...

Я был встревожен и тотчас же ответил ему, опрометчиво процитировав в конце доктора Джонсона: "Больному человеку очень трудно не быть негодяем. Пожалуйста, скорее поправляйтесь..."

29 сентября 1973 г. В полдень, проезжая по скоростной автотрассе Лонг-Айленда, я включил радио, и первое, что мы услышали, было: прошлой ночью во сне умер У.Х. Оден...

2 ноября 1973 г. День всех святых. После реквиема, исполнявшегося в память Одена по инициативе Энн Фримэнтл в церкви Отцов павлистов в пятницу вечером, мне приснился сон: Уистен, Изабелла, Алексис с одной из своих подружек и, кажется, еще мой отец, сидят все вместе за кофейным столиком. Из-за чьих-то колен высовывается морда Бамбука: он слегка вертит свой золотой головой, как обычно в компании (он-то знает, что все в мире непостоянно — и дружба, и счастье, и богатство, и ничто не может это изменить). Изабелла чем-то занята на кухне.

— Ваше либретто приняли? — вдруг громко спрашивает она.

Уистен:

— Да, им очень понравилось.

— Так что же вы молчали! — восклицаю я и бегу к холодильнику за бутылкой. Мы все стоим около обеденного стола. Я открываю шампанское и думаю: "Одной бутылки на всех не хватит...", но Изабелла, словно прочитав мои мысли, осторожно, но твердо берет у меня из рук бутылку и разливает ее в очень мелкие рюмки.

С тех пор я только раз снова видел во сне Уистена. Он сидел на стуле, держа в руках нож, или скорее маленький кинжальчик, и вдруг полоснул себя по лицу между нижней губой и подбородком. Я протягиваю руку, чтобы остановить его, но он проводит лезвием мне по пальцам. Я так удивлен, что мне даже не больно.

— Что вы делаете? — кричу я.

— Мне плохо, — отвечает он с подавленным видом.

— Но мы ведь все будем там, — говорю я.

— Да, но я-то уже здесь, а вы...

Не шевелясь, я смотрю на его бледное, словно сделанное из глины лицо **с** глубокой сочащейся красной раной, а он медленно тает **в** воздухе, как в фильме ужасов.

Наверное, это была моя последняя возможность сказать ему в здешних широтах, как много он мне дал за все эти годы, как я счастлив, что был его другом, и как я был рад разделить с ним все ценное, что знал... Я часто хотел сказать ему об этом, но все откладывал, думая, что впереди еще столько времени, а теперь уже слишком поздно.

Сейчас нам остается только восстановить, воссоздать его лицо, взгляд, улыбку, голос, миллионы черточек, в которых отражается Уистен Оден —- в дополнение к его творчеству, пока Величайший Творец не соберет нас всех под новыми небесами и новыми звездами.

Я верую, Господи; помоги моему неверию!

("Нет-нет, Василий, не надо так говорить".)

Нью-Йорк

ЯБЛОКИ КАЛЬВАДОСА

Рассказ

В детстве я проводил каникулы в Кальвадосе, там тянулся сплошной пляж от Устриама до Omaha Beach, с ежедневно дважды промываемым песком, с отарами утесов, все, что очаровывало прихотливого туриста, не взирая на его возраст, пол или миросозерцание.

Наша вилла стояла в предместье Лион-сюр-Мер, недалеко от модного курорта Ривабелла с его гремящим казино, экстравагантными красавицами и ночными кабачками — предназначенными, разумеется, для взрослых. Я же, из своего окна, видел только Ла-Манш, убегающий во время отлива на тысячу шагов (я раз сосчитал), так что мы, дети, могли без помех часами играть на гладком пляже, заниматься гимнастикой, строить замки и соборы из песка весь день, или, вернее, от начала отлива до нового прилива.

В полнолуние, особенно весной и осенью, море уходило еще дальше, обнажая тайные излучины, ямы и зеленые скалы, где теперь гнездились большие спруты — у самой поверхности воды. И многочисленные моллюски, мидии, ракушки становились вдруг доступными. Тушеные, со стаканом вина или местного сидра, эти деликатесы привлекали гурманов, ожидавших с нетерпением сезона grande marée и потом жалующихся на "слабость" в печени.

Не знаю, как взрослым, но нам летний день казался чересчур коротким. Тьма опускалась рано на эти туманные берега, звезды едва мерцали, только далекие маяки английского побережья жалобно вспыхивали — на другой, сумрачной планете!

Мы лепили копии замков, аббатств и крепостей, украшающих берега Луары. Наши постройки гордо вздымали свои башни предопределенное время. Мы приносили воду в ведерках и освежали эти колокольни и арки, мы любили наши произведения и как истинные мастера старались продлить их эфемерную жизнь — хотя бы до очередного потопа. (Недаром мать по вечерам, перед портретом отца читала вслух Державина: "Река времен в своем течении уносит все дела людей"...)

В час прилива море здесь стремительно надвигается, поднимаясь могучими рывками. Неудачники, захваченные у гранитной стены, не находят себе прибежища, гласит молва, и все погибают. Но мы не думали о таких пустяках: для детей тогда наступала благословенная пора плавания и водных забав.

Нырять с высокого трамплина было для меня мукой и позором. Я изнемогал от атавистического ужаса. Кругом все знали о моем недуге и давали мудрые советы. "Надо напрягать мускулы зада", — советовала добрая, сухая дама: "Il faut serrer les fesses!"

Я послушно напрягал что-то сзади и падал, как полупустой мешок с картошкой, и поднимался назад с разбитыми в кровь губами, чтобы снова упрямо сверзиться, не сдаваясь: ибо такова была моя природа. Я страстно завидовал и тем, кто гармонично нырял, и тем, кто уже признал себя побежденным: только я мог вполне оценить победу и первых, и вторых.

Рано утром нам нечего было делать ни на мглистом пляже, ни в холодном море; единственным развлечением были ослики. Пяток этих животных пригонялись двумя парнишками, сыновьями местного фермера. Оседланные, разубранные цветами и лентами, они, казалось, жаждали доставить всем удовольствие и прокатить нас по мягкому грунту. Один ослик был впряжен в желтую повозку с синей надписью — "Mistinguett". Девочки, преимущественно, выбирали этот экипаж, где, судя по хохоту и визгу, они приятно проводили время.

Меня не прельщал пятидесятисантимный, монотонный круг верхом, нет. Я терпеливо ждал: вот старшему мальчику (Клоду-Лолю), наконец, надоедало тихо бродить за осликом и он великодушно передавал мне повод. Я вел кроткого ослика под уздцы, чувствуя силу его мускулистой живой шеи, чувствуя его теплое дыхание, его запах. В непосредственный близости к этому доброму и веселому существу с улыбающейся мордой и выразительными, плюшевыми ушами, мне часто казалось, что я приближаюсь к раю — возвращаюсь в него.

Среди девочек была одна, на год-два старше нас всех: элегантно одетая, как настоящая парижанка, даже с зонтиком, что мне, мальчику одиннадцати лет, представлялось бессмыслицей. Она считала "Мистенгет" годной для простонародья, так что я изредка вел ее ослика. Прижимаясь ногами к мохнатому животному, она всегда, случайно или нарочно, обнажала точеное колено, к моему удивлению, совершенно белое, без намека на загар. В том невинном возрасте вид этого колена меня ничуть не волновал. Я вел благословенного ослика с обычным вниманием, пока Клод-Поль, защищавший хозяйские интересы, не окликал нас.

— Могу я дать вам на чай, — осведомлялась обычно Нинет. (Я не догадывался, что она дразнила меня, пробуя свои силы).

— Нет, благодарю вас, — я отвечал.

И она ловко соскакивала на землю при загадочном смехе девочек. Однажды, правда, не дожидаясь моего отказа, она нагнулась с седла и поцеловала меня под аплодисменты своих товарок. Это меня рассердило, но я все-таки отметил (и запомнил), какие сладкие бывают у девочек губы.

Когда детские медные денежки иссякали, Клод-Поль развлекал нас захватывающими дух историями, прерывая их часто своими артистическими плевками: ошеломленный жучок или краб, получив накрытие, долго кружил и отряхивался на одном месте — что, разумеется, еще больше усиливало наше восхищение этим опытным подростком.

Темы Клода-Поля, разнообразные, были только отчасти связаны между собой. Начинал он, неизменно, с краткого описания половых повадок домашних животных (что, пожалуй, только мы, мальчики, ценили) и сразу переходил к рассказам о жизни нормандских рыбаков...

... Как они выплывают ночью на гребных судах и бросают в тумане сети, а на рассвете возвращаются с горой сельди и с несколькими страшными чудовищами, которых мы потом видим на пахучем рынке, где грудастые бабы, весело переругиваясь, рассекают их на тонкие полосы...

Клод-Поль повествовал о больших спрутах, что гнездятся далеко от берега, но их можно доставать в пору grande marée: надо выйти с отливом туда, где гряда утесов чернеет над самой водой, и прощупывать гарпуном дно...

Разумеется, он не забывал время от времени выпустить свой очередной плевок, и часто в самую неожиданную цель: например, под хвост дремлющей ослице (что, по-видимому, возмущало девиц).

Так что одна бескорыстная особа взяла на себя обязанность следить за нашим времяпровождением, не доверяя педагогической деятельности Клода-Поля — а именно, жена местного жандарма (Sergent de ville). Она и ее муж казались нам тогда стариками (вероятно, сорока лет). Похожие друг на друга, как два брата, они трудились весь день, хлопоча в своем каменном сарае, где гигантская бочка для сидра на шести козлах заполняла все пространство от стены до стены.

Наш полицейский Надзиратель владел именно такой драгоценной бочкой и — бездетный, беззубый — почитал себя счастливейшим смертным:

— Это как трубка, — он объяснял. — Хорошую трубку можно курить всегда с удовольствием, даже набивая ее дешевым табаком.

Его жена снабжала богатые виллы городка грибами, ягодами, вареньем и, разумеется, яблочной продукцией.

Вдобавок, она полагала своим долгом наблюдать за поведением детей избранных клиентов. Вот почему Клод-Поль бесплатно иной раз катал малышей, чтобы только эта полицейская баба не прогнала его домой, где его ждала тяжелая и скучная работа.

— Туристы исчезают осенью, — объяснял Клод-Поль, сердито сплевывая. — Некому больше продавать молоко и зимой у нас не хватает корма для скота.

Совершенно естественно, что я, наконец, задал ему такой вопрос:

—А как же ослики? Для них у вас есть сено? — и помню, я ласково кивнул в сторону беззаботно пережевывающих животных.

— Ослики? — мы никогда не видели Клода-Поля таким удивленным. Он даже на минуту прервал свою стрельбу. — Ослики? Зачем они нам зимой? — он ударил плевком червячка. — Мы их спроваживаем на колбасную фабрику, а весной покупаем новых!

На окраине нашего городка тянулся сумрачный парк, огороженный обросшей плесенью и мхом каменной стеной. Этот парк принадлежал частным владельцам, но по причине чьей-то смерти и судебного разбирательства оставался годами без надзора. Мы, дети, считали его — и сладкие, сочные ягоды, зревшие там в изобилии — общественной собственностью и часто наведывались туда.

В старину это был сад с фруктовыми деревьями, клумбами, аллеями; даже теперь десяток уродливых яблонь и вишен отворачивали свои сухие верхушки в сторону от океана. Кое-где высокие ели все еще сохраняли величественную осанку. Но преобладали буйные кусты дикой ежевики, под сенью которой прозябали полузадушенные чертополохом и крапивой анемичные цветы.

Я проник в этот заповедник и сразу нырнул под колючие кусты. В прошлом я всегда удивлялся, почему сладкие, шелковистые ягоды окружены дьявольскими, предательскими шипами. Но теперь, казалось, я начинал различать некий смысл в этом странном противоречии.

Я хватал, давил ветки и кисти без разбора, не собирая ягод, не лакомясь: только царапал, колол руки в слепой, мстительной ярости — перебегал от куста к кусту и ломал, душил их своими уже кровоточащими ладонями!

Внезапно я наткнулся на Нинет и опешил. Она стояла под перистой ветвью сосны — ее лицо было искажено взлизами фиолетового сока. Я замер; она бросила на меня свой обычный, дразнящий взгляд. Я прыгнул вперед и вцепился в нее. Она дала себя поцеловать. В исступлении (клянусь, это был не я, а кто-то рядом со мной) — я повалил ее на розовый войлок слежавшихся сосновых игл.

Она следила за мной спокойно, терпеливо, не сопротивляясь. Правда, однако, заключалась в том, что я не знал, как продолжать, так же, вероятно, не знала и Нинет. Теоретически Клод-Поль нам все объяснил. Но это всегда казалось нам выдумкой, фантазией, вряд ли применимой в повседневной жизни.

Однако я старался продолжать свои бессмысленные попытки. Но она поняла, что все это никуда не ведет (а может, была и другая причина), и вдруг завопила:

— Помогите, помогите!

Этот звериный крик испугал меня. Ее измазанное, синее лицо казалось до того безобразным, что я, не размышляя, опустил свою липкую, зудящую ладонь на ее рот.

Она догадалась укусить мой палец, и хотя я не почувствовал боли, но сразу отдернул руку. И опять она испустила истошный визг: "Au secours! Au secours!", слышный, вероятно, далеко на дороге.

Первыми прибежали девочки: ее подруги, оказалось, тоже паслись в разных углах парка. А затем появилась жена Надзирателя со знакомой корзиной; она здесь часто собирала ягоды для варенья. К тому времени я уже совершенно присмирел и она без труда осилила меня.

— Это он, это он! — Нинет продолжала орать, указывая на меня пальцем, как будто можно было еще сомневаться, кто преступник.

Ее лицо, опухшее и выпачканное разными красками, напомнило мне палитру инвалида художника, что приползал каждое воскресенье на причал писать маслом марины, и над которым мы посмеивались.

— В Мэрию, в Мэрию! — гремел хор девочек: они по-видимому знали, что полагается делать в таких случаях...

Нинет уже успела овладеть собой, хотя монументальные, цветные слезы продолжали катиться по ее щекам. Жена Надзирателя вскользь заглянула жертве под юбку и, обменявшись с ней несколькими словами, громко заявила, что самым правильным будет сперва отвести меня на нашу виллу (куда она во время сезона поставляла сидр, молоко и фрукты).

— Его мама примет необходимые меры, — объясняла она маленьким, разъяренным пчелкам. — Не следует компрометировать Нинет. Вы, надеюсь, понимаете меня. Такой инцидент может повредить ее репутации.

Девочки неохотно согласились.

— Теперь отправляйтесь по домам и помалкивайте! — приказала Надзирательница.

Держа меня за локоть, а Нинет за руку, она повела нас

через сонный, безлюдный в этот час городок. Ее рабочая лапа душила меня, как ошейник — собаку. Я чувствовал себя пленным зверем. Опустив голову, я пристально уставился в ее башмаки, в эту бесформенную обувь, одинаковую на правой и левой ноге. И, вдруг я усомнился: полно, не сам ли это Sergent de ville ведет меня на заклание?

Мы пробрались к нам через задний ход, вероятно, чтобы не привлекать внимания соседей. Нас встретила няня. Няни описаны, вообще, как преданные, любящие, всепрощающие сусальные мученицы. Но моя няня была иной. Жадная, злая старуха, она ненавидела меня с первого дня моего зачатия: подозреваю, что она даже знала час дня или ночи, когда это случилось, ибо в нашем доме ничего нельзя было скрыть от нее. Почему ее все еще терпели все эти годы, непонятно. Вероятно, по инерции; к тому же она не требовала никакого вознаграждения, якобы исполняя какие-то ответственные хозяйственные обязанности. Впрочем, по отношению к взрослым она вела себя с отменным подобострастием.

— Ага, наконец вы его поймали, — няня пропела торжествующе.

Меня оставили под присмотром этой мегеры, а Нинет с Надзирательницей прошли в комнаты матери. Я опустился на плетеный диван и, должно быть, вздремнул или потерял сознание. После какого-то неопределенного промежутка времени они снова появились: Нинет, освеженная, с кокетливой улыбкой; она помыла лицо и причесалась. У парадных дверей обернулась и четко пропела:

— Доброго дня!

В данном случае я был единственным возможным Мэсье, и я почувствовал себя униженным таким проявлением великодушия.

На этом кончается официальная сторона моего безобразного поступка; впрочем, мать Нинет в тот же вечер пришла с визитом и заперлась с моей матерью в кабинете.

Разумеется, мать пыталась расспрашивать меня, но мне нечего было отвечать: я тогда не знал ничего больше, чем жена "Сержанта" или Нинет. Мать смотрела на меня подолгу, вопросительно: рядом, но прищурившись, как бы издалека, из страшного далека, разрешая все ту же мучительную загадку прошлого — когда отец неожиданно оставил нас...

Как полагается в провинции, здесь ничего долго нельзя было удержать в тайне, и мои появления на пляже отныне вызывали двусмысленные, недоброжелательные возгласы. Но осень уже безжалостно вступала в свои права, солнечные лучи сверлили берег ярко и раздражающе; старый парк вдруг поредел и посерел. ("Гусей крикливый караван Тянулся к югу... "). Время — домой, в школу. И мы вернулись на зимние квартиры в Париж.

Предательски медленно все следы моего слепого, безрассудного поступка стерлись, уступая место новым проявлениям страстей и стихий. В начале сентября Гитлер обрушился на Польшу.

И моим каникулам в Кальвадосе наступил конец. Но десять лет спустя я встретил Нинет на Генеральной Ассамблее ЮНЕСКО, где она тоже работала переводчицей. И мы, походя, пересмотрели и предали наше общее прошлое.

Публикацию подготовил Григорий Поляк

Алекс БОРИСОВ

ПО ЗАКОНАМ КОЛОНТАЕВСКОЙ УЛИЦЫ

Как-то на днях я наткнулся на один многоумный журнал. Мой сын любит такие выписывать, и я, чтобы не отстать от него в интеллектуальном развитии, иногда их тоже просматриваю. Оказывается, совсем недавно произошло космическое событие, которое могло бы в корне изменить всю мою прекрасную жизнь. В Землю должен был врезаться гигантский астероид, но, к счастью, тот, кто его в нас запустил, не был ворошиловским стрелком и на несколько миллиметров промахнулся. А то я просто не знаю, чем бы все кончилось, землетрясение в Японии — это детский смех на лужайке по сравнению с тем, что нас ожидало. Я стал лихорадочно вспоминать, где я находился в ту роковую минуту, когда астероид просвистел мимо нас. Оказалось, что именно в тот момент мы с женой летели в самолете, направляясь к Гавайским островам. Если бы произошло столкновение, то мы, вероятно, до сих пор летали бы над жалкими обломками нашей планеты, не зная, где приземлиться. Но это еще не самое

страшное. Самое неприятное, что в багаже у меня находилась пачка номеров газеты "Новое Русское Слово", чтением которых я решил заполнить свой гавайский отпуск. И досаднее всего то, что я бы так и не сумел ознакомиться с развернувшейся на страницах газеты очень важной для судеб мира дискуссией на тему — имелись ли антисемиты среди классиков русской литературы. Это была даже не дискуссия, а разыгравшаяся на газетных просторах Бородинская битва, где каждая из сторон обстреливала позиции своих оппонентов тяжелыми словесными ядрами. Причем, к концу дискуссии, как это часто бывает в глубокомысленных спорах интеллигентов советской закалки, ее участники вообще перешли на личности и в амбициозном ажиотаже, забыли, из-аа чего, собственно, весь сыр-бор.

Лично я по возрасту от участия в активных боевых действиях освобожден и поначалу решил не нарушать своего железного правила: в чужие драки добровольно не ввязываться. Но на сей раз я не мог устоять, ибо когда-то родился в Одессе, на Колонтаевской улице, а у нас на Колонтаевской был закон: если кто-то обижал любимого человека, то мы тут же вступали с обидчиком в драку и били его до тех пор, пока он не извинится. Так вот, в этой дискуссии некто Богуславский Иосиф обидел любимого моего поэта Александра Сергеевича Пушкина, обвинив его чуть ли не в махровом антисемитизме только за то, что поэт в стихотворении "Черная шаль" употребил слово "жид". Иосиф Богуславский, судя по всему, человек начитанный, должен был бы знать, что слово "еврей" по-польски произносится как "жид", а так как евреи в те годы перебирались в Россию из Польши, то многие русские дворяне и называли их этим словом, которое вскоре превратилось в любимое выражение российских антисемитов.

Я знал одну красивую полячку по имени Ядвига, студентку нашей консерватории, которая, влюбившись в товарища моей молодости, по национальности еврея, по имени Эдик, отбила его у подруги молодости, затем вышла за него замуж и увезла с собой в Польшу, где молодожены поселились в городе Кракове на улице маршала Рокоссовского 13, квартира тоже 13. Через пару лет мы снова встретились, когда они приехали в Союз, чтобы познакомить родителей Эдика с их первым внуком и заодно вырезать Эдику аппендицит. И я отчетливо помню, как Ядвига говорила с красивым польским акцентом: "Понимаете, этот идиот Гомулка выгнал из Польши в Израиль всех наших жидов и теперь у нас в Польше не осталось

ни одного приличного хирурга, которому я могла бы доверить аппендицит Эдика". Так что же, я должен за слово "жид" считать ее махровой антисемиткой?

В "Скупом рыцаре" у Пушкина есть образ мерзкого ростовщика Соломона, которого поэт тоже называл "жидом" и к которому относился без должной симпатии. Последнее также обидело Иосифа Богуславского. Как будто, если бы этот ростовщик был не евреем, а цыганом или эфиопом, то Пушкин посвящал бы ему любовные сонеты. Пушкин, между прочим, как нас учили когда-то в школе, был типичным представителем образованных слоев русского дворянства 19-го века, которое, несмотря на свое образование, за милую душу эксплуатировало крепостных крестьян и полученные за счет этой эксплуатации деньги просаживало в карты, пропивало в кутежах с гусарами и проматывало с веселыми цыганками. А на женщин, вино и карты, по себе знаю, никаких денег не хватит. Вот и приходилось занимать их у еврейских ростовщиков, так как у других жителей России в те годы свободных денег не было. А у еврейских — были, потому что они их в карты не просаживали, с гусарами не кутили и строгие законы иудейской религии запрещали им внебрачные связи с цыганками.

Одалживать чужие деньги всегда приятно, и в этот момент кредитора хочется расцеловать в обе щеки. А вот когда их надо отдавать, да еще с процентами, то всегда возникает, по собственному опыту знаю, такое чувство, будто ты отрываешь от себя свое кровное. И требовать в такие моменты от должника глубокой симпатии к кредитору, с моей точки зрения, было бы просто наивно. Пушкин же, как известно, был страстным картежником, дружил с гусарами, любил цыганок и к тому же был женат на одной из самых красивых женщин Петербурга. Поэтому не удивительно, что он вечно был в долгах, как в шелках. Причем настолько, что после его смерти расплатиться с его долгами не хватило никаких семейных денег. Дабы спасти честное имя поэта и из уважения к его прекрасной вдове, сделал это царь из государственной, между прочим, казны. В общем, ожидать от великого поэта, чтобы он при жизни любил ростовщиков, со стороны Иосифа Богуславского уж совсем наивно.

Помню, как однажды в молодости я получил в одном издательстве гонорар. Через пару дней ко мне пришел знакомый редактор и спросил, что я с этими деньгами собираюсь делать. Я ответил, что, прочитав рекламу: "В сберкассе деньги накопил — потом "Москвич" на них купил", решил так с ними и поступить. Тогда он попросил одолжить их под тот же сберкассовский процент на пару

месяцев, так как подошла его очередь на "Жигули", и ему, чтобы их выкупить, не хватало как раз этой суммы. Ну, я человек не жадный, забрал их из сберкассы и одолжил их ему на предложенных им же условиях. Оказывается, он так за эти 2% обиделся, что за глаза обзывал меня ростовщиком и за истекшие 30 лет ни разу мне не позвонил, и долг до сих пор не вернул. А ведь этот редактор, между прочим, окончил Московский университет, состоял членом КПСС и даже являлся членом бюро райкома. Чего ж можно было ожидать от Пушкина, который Московского университета не кончал, никогда в партии не состоял и даже не был членом уездного бюро?

Читая однажды воспоминания современников о Чехове, я узнал, что Антон Павлович сначала дружил с художником Левитаном, а потом вдруг с ним раздружился. Один современник считает, что между ними пробежала какая-то черная кошка. Другой уверяет, что это была не кошка, а женщина. А третий намекает, что причиной всему было еврейское происхождение Левитана. Я не знаю, кто из них прав. Но даже если Чехову не нравились какие-то специфические черты характера Левитана, то это еще не повод считать писателя антисемитом. К чести участников дискуссии таких обвинений они Чехову не бросают. Так почему же, если Чехову можно было недолюбливать отдельных евреев и не считаться из-за этого антисемитом, то Пушкину нельзя недолюбливать ростовщика Соломона, не будучи при этом юдофобом? Чем Пушкин, в этом смысле, хуже Чехова?

Написал я все это и подумал: "А может быть, они, грешным делом, Чехова не считают Великим писателем, а писателем обычным и, как таковой, он попросту не является предметом этой интересной дискуссии?" И тут у меня возникло сразу два вопроса. Во-первых, кого из русских писателей следует считать Великим, а кого не очень великим и даже просто писателем? И во-вторых, почему предметом этой дискуссии стали только Великие, зачисленные в разряд классиков? А как насчет других, что рангом пониже? Им что, вроде бы, как в порядке вещей быть антисемитами? Это мне напомнило старый одесский анекдот, который я впервые услышал еще будучи школьником: в класс вбегает ученик и кричит: "Пацаны, на Дерибасовской новый транспарант вывесили: "Бей жидов и почтальонов!" И тут весь класс вскакивает и хором удивленно кричит: "А почтальонов-то за что?"

К слову скажу, что описанные дискуссии становятся этакой закономерностью. Не так давно, когда Солженицына объявили Великим и дружно ввели в пантеон классиков (после опубликования его последнего романа, кстати

длинного и скучного, как американские телесериалы из жизни несчастных богачей), на страницах прессы развернулась не менее оживленная дискуссия на ту же тему — антисемит ли он или нет? Я помню, что еще задолго до опубликования "Августа 14-го" кто-то робко заикнулся на сей счет. Но тогда еще он официально не был провозглашен классиком и потому никто этого заикнувшегося не поддержал, и в спор с ним не вступил. А чего спорить? Ну еще один русский писатель евреев не любит, подумаешь, невидаль! Кто-то даже вступился за Солженицына: он, мол, не любит евреев не за то, что они евреи, а за то, что спровоцировали несчастный русский народ на революцию, царя убили, надели кожаные тужурки чекистов и уговорили Сталина превратить страну в сплошной ГУЛАГ. Вот и Шафаревич так считает и даже разработал по этому поводу философическую теорию "малого народа". Ну, поговорили немного, повозмущались, однако никто шпаги скрещивать не стал и широкой дискуссии на страницах газет не случилось. Ибо кто такой Шафаревич? Он что, классик русской литературы? Какой-то там академик по математике, который в свободное от работы время еще обожает писать философские трактаты. Так что ж здесь странного, что он антисемит? Странно было бы, если бы он им не был!

Или взять, к примеру, писателя Владимира Солоухина. Я лично прозу Солоухина всегда любил и считал, что редко кто из современных русских писателей так владел русским литературным языком. Он был исконно русским человеком и, не боясь самого Суслова, демонстративно носил на пальце огромный перстень с портретом убиенного большевиками последнего российского императора. Никто его, правда, за это из Союза писателей не исключал, но и в Великие тоже не производили. И вот в последнее время вышли четыре интересные книги о Ленине, описывающие великого вождя в таких красках, что становится даже как-то неловко за бога, создавшего такую человеческую нечисть.

Два тома написаны генералом Дмитрием Волкогоновым и две книги — писателем Владимиром Солоухиным. Волкогонов написал свои книги на основе архивных материалов, оценивая Ленина взглядом беспристрастного историка, а Солоухин — взглядом махрового антисемита. Ибо все звериное в характере Ильича и всю его преступную натуру он объясняет только тем, что фамилия его матери была Бланк и в жилах ее текла еврейская кровь. Как будто, если в жилах Ивана Грозного, Сталина или Гитлера не было примеси еврейской крови, они были лучше. И хотя Солоухин является нашим современником, а не пушкинским, об этом на страницах наших газет почему-то широкой дискуссии не развернулось. Я это объясняю исключительно тем, что Солоухин до сих пор не вознесен в ранг классиков. Значит, ему, по-видимому, сегодня можно то, что классику не к лицу. Раньше, до революции, было по-другому. Тогда даже просто писателю, не говоря уж о классиках, считалось в высшей степени неприличным быть антисемитом. Не потому ли многие современники не подавали руки Куприну, который, судя по его личным письмам, страдал таким легким насморком?

Тут мне бы хотелось разобраться еще в одном вопросе, который меня давно мучает: кого из русских писателей по какому разряду проводить. Пора тут навести подлинно государственный порядок, исходя из которого можно точно установить: какому писателю дозволено быть антисемитом, а какому нет. А то ведь в этой области царит полная неразбериха, что создает огромные неудобства как для редакторов газет и журналов, так и для литературных бойцов. Первые не знают, кому предоставлять для дискуссий свои страницы, а вторые — из-за кого на этих страницах устраивать ледовые побоища.

У нас, например, в стране на момент моего отъезда было более трех тысяч членов Союза советских писателей, сокращенно ССП, который с развалом СССР тоже развалился. И теперь я просто не знаю, как быть с писателями, успевшими умереть до развала. Считать ли их по-прежнему советскими, или, скажем, Фадеева — русским, а Корнейчука — украинским? А уж тем более, что делать с акыном Джамбулом и всеми другими именами — считать ли их советскими писателями, казахскими, узбекскими или еврейскими? Потому что, как недавно выяснилось, все эти акынские песни писались поэтами-евреями, которые служили при местных отделениях ССП в качестве переводчиков и которым под собственными именами выступать не дозволялось.

На мой литературный вкус, из 3-х тысяч писателей, состоящих членами ССП до его развала, не было ни одного Великого, но было несколько талантливых, столько же вполне хороших, а остальные были просто членами. Но я недавно прочитал в газете интервью с сатириком Михаилом Задорновым, который периодически навещает нас в Америке, чтобы немного повеселить и развеять тоску по давно покинутой родине. Так вот он, например, всех писателей вообще делит не на четыре категории, как я, а всего на две: на талантливых и профессиональных. Как будто талантливый писатель не может быть профессионалом, и наоборот. От ответа на вопрос, к какой категории он относит Михаила Зощенко, Михаил Задорнов элегантно

ушел, а вот насчет Ильфа и Петрова прямо заявил, что относит их не к талантливым, а к профессиональным, и потому лично он ни одного их романа не мог осилить до конца — скука одолевала страшная! Вообще-то, насколько мне известно, Ильфом и Петровым было написано только два романа (которые вместе взятые куда короче, чем один "Август 14-го"). Не знаю, как там в Риге, на родине Михаила Задорнова, но у нас, в Одессе, все жители города, как только одолевали азбуку, так сразу оба этих романа не только от корки до корки зачитывали, но даже заучивали цитаты из них наизусть, как стихотворение Пушкина "Я помню чудное мгновенье". А подозревать одесситов в отсутствии чувства юмора может только человек, который не мог себя заставить дочитать до конца ни "Золотого теленка", ни "Двенадцать стульев". С другой стороны, мне жалко, что Михаил Задорнов, сатирик, с моей точки зрения, талантливый, а значит, по его же градации, не профессиональный, не смог дочитать до конца ни одного романа своих коллег по ремеслу. Потому что, если бы дочитал, то, может быть, у него бы прибавилось профессионализма и он бы переквалифицировал Ильфа и Петрова в другую категорию. Но это так, к слову. Я и интервью с Задорновым упомянул лишь для того, чтобы доказать, что любая градация писателей — дело чисто индивидуальное. Одного и того же писателя одни могут считать Великим, другие — талантливым, третьи — просто профессиональным, а четвертые, вообще, врагом народа и безродным космополитом.

Но вернемся к нашим баранам, т.е. к интересной дискуссии об антисемитизме некоторых Великих русских писателей. Вслед за Александром Сергеевичем Пушкиным под аналитический скальпель ее участников попал Николай Васильевич Гоголь, тот самый, который написал пьесу "Ревизор" и поэму "Мертвые души" в двух частях, перечитав которые, помешался умом, и на этой почве вторую часть поэмы спалил.

А недавно я прочитал в одной газете интервью с известным украинским писменником, который заявил, что пора перевести Гоголя из разряда Великих русских писателей и классиков русской литературы в разряд Великих украинских писателей и классиков украинской литературы, так как "Вечера на хуторе близ Диканьки" никакого отношения к русской литературе не имеют. Последнее серьезно бы облегчило мою задачу, ибо, таким образом, Гоголь автоматически прекратил бы быть предметом нашего спора. То же самое и с Достоевским. Достоевский по национальности был, как известно, не русский, а поляк. И поэтому вполне возможно, что польские интеллектуалы,

по примеру своих украинских коллег, вскоре объявят Достоевского Великим польским писателем и классиком польской литературы. И это тут же снимет с моих плеч непосильную даже для меня задачу доказать, что Достоевский был не убежденным антисемитом, а просто недолюбливал отдельных евреев.

В отношении Достоевского интересно отметить еще и тот факт, что он был, как известно, азартнейшим игроком, причем до такой степени, что просаживал в карты все, вплоть до последнего колечка своей жены. И от всех остальных Великих писателей (как русских, так и французских), страдающих той же неудержимой страстью, он отличался еще и тем, что в их произведениях все ростовщики были, как правило, евреями, а его старуха-процентщица, которую укокошил Раскольников, была явно христианского вероисповедания. Факт для меня совершенно необъяснимый. Если он был таким уж антисемитом, то что ему — жалко было сделать старуху еврейкой?

Сложнее обстоит дело со стариком Державиным, ибо Гаврила Романович был безусловно чисто русским человеком, без примеси как польской, так и украинской крови и, несмотря на это, не любил евреев в целом, как народ, причем до такой степени, что даже сама императрица, немка по крови, и та его однажды, хоть и шутя, но все же пожурила.

Вот тут-то мне и пригодился пример с писательской классификацией Михаила Задорнова. Спору нет, что екатерининский сановник Гаврила Державин был хорошо образованным для своего времени человеком и, будучи представителем русского классицизма, писал не только торжественные оды, восхваляя в них власть предержащих, но и в свободное от их написания время занимался размышлениями на различные религиозно-философские темы. Так же, как и упомянутый выше Шафаревич, в промежутках между математическим расчетами, писал философические трактаты. Но для меня лично это еще не причина зачислять Державина в разряд Великих русских писателей и классиков русской литературы. О мастерстве писателя я привык судить не по критическим статьям Белинского и Добролюбова, а только на основании своих собственных оценок. Ибо, например, Белинскому не нравился Пушкин, а Тургенев считал, что Лев Толстой писать вообще не умеет. На мой вкус, лучше Пушкина в русской поэзии до сих пор поэтов не было, но и Тургенев насчет Толстого тоже палку перегнул. И потому у меня нет никаких возражений против того, чтобы считать их обоих Великими русскими писателями и классиками русской литературы. Чего о Державине никак сказать не могу,

поскольку он писал на древнерусском языке, а я его никогда не понимал и даже понять не пытался, за что однажды мне влепили в дневник жирную двойку по литературе. Это очень возмутило моих родителей, и они, в наказание, заставили меня выучить наизусть державинскую "Оду на восшествие императрицы Екатерины Великой на престол". Я ее тогда хоть и выучил, но с древнерусским языком дело не сдвинулось. До конца суть поэмы дошла до меня только много лет спустя, когда появился ее перевод на современный русский язык, в котором были такие слова: "Сквозь тучи сияло нам солнце свободы и Ленин великий нам путь озарил". Поэтому писателей, сочинявших такие оды, к какому бы литературному направлению они ни принадлежали — к классицизму или соцреализму — относить к Великим меня просто душа не пускает. Но это, конечно, мое личное мнение. Другим, наоборот, такие всегда нравились, и они объявляли их и великими, и классиками, и награждали их и орденами, и лентами через плечо, и поместьями с крепостными, и дачами под Москвой. В общем, познакомившись со всей этой замечательной дискуссией, расплескавшейся на широких страницах "Нового русского слова", я сказал себе, как говорили когда-то в Одессе: "Кисло мне в борщ — любил евреев Гаврила Державин или нет! Он не любил евреев, а я его не считаю Великим русским писателем. И мы квиты. И нечего по этому поводу ломать копья." И я ввязался в эту драку не из-за Гаврилы Державина, а из-аа моего любимого Пушкина, потому что я родился в Одессе на Колонтаевской улице, а у нас на Колонтаевской был закон: с обидчиком любимого человека тут же вступать в драку.

Некоторые, правда, могут спросить: "Что же это за такая драка — без крови и телесных увечий?". На что могу ответить, что в разные времена люди дрались по-разному: и на кулаках, и на шпагах, и на пистолетах, а у нас на Колонтаевской вытаскивали ремень из брюк, наворачивали его на руку и дрались металлическими пряжками, от одной из которых у меня до сих пор сохранилась ссадина на ноге. Но с тех пор я морально вырос и настолько приобщился к цивилизации, что недавно сменил брючный ремень на резиновые подтяжки от Версаче, которые стоят столько, что ими не то что драться, но даже повеситься на них — и то жалко. И так как Пушкин, по не зависящим от него обстоятельствам, сам за себя постоять уже не может, то я и решил ввязаться в драку с его обидчиками, используя для этого такое цивилизованное оружие, как фельетон, рыночная цена которого в наше время куда ниже стоимости фирменных подтяжек.

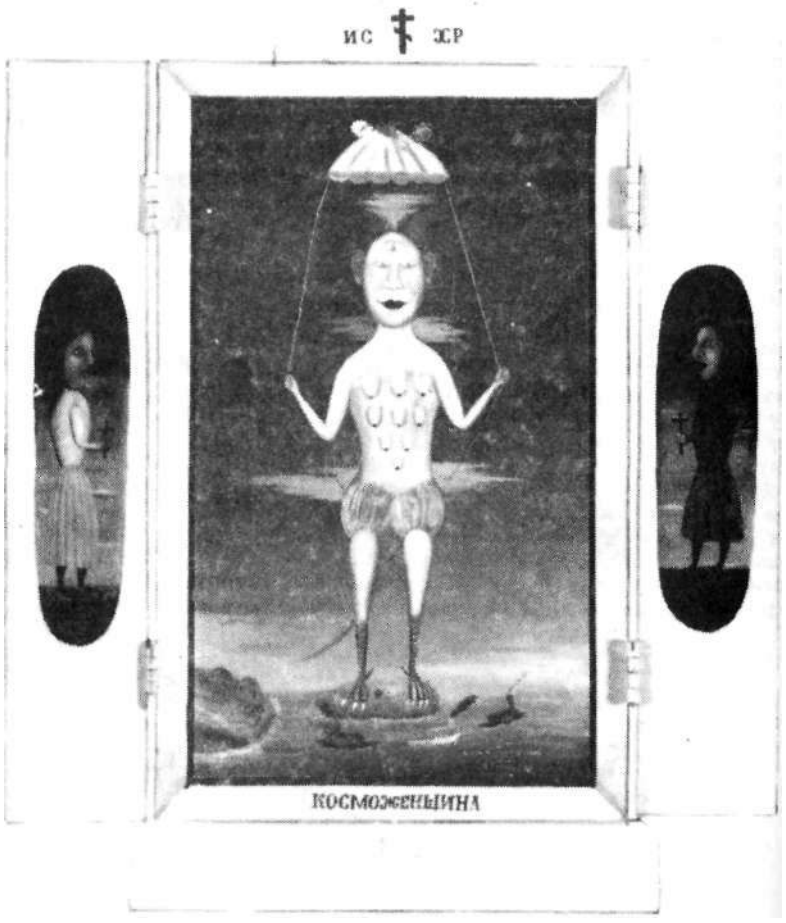
АБСУРД И АПОКАЛИПСИС ЛЕОНИДА ПУРЫГИНА

Сказать о том, что художник, которого мы представляем, нонконформист, — это еще не сказать ничего. С его современниками — Булатовым, Кабаковым, Лебедевым — Леонида Пурыгина, вероятно, связывает лишь эпоха перестройки, которая принесла российскому андерграунду воистину всемирную известность. Во всем остальном Пурыгин другой. Перед нами другая философия, другой метод, другой взгляд на жизнь и вследствие этого — совершенно другой художественный мир, открываемый живописцем. Что определило, вообще, его появление в России? За спиной Пурыгина нет блестящего художественного образования, и не так-то просто назвать традицию, в рамках которой он работает. Родился он в 1951 году, в подмосковном городе Нарофоминске. В 14 лет стал разнорабочим, в течение 8 лет безуспешно пытался поступить в художественное училище, и лишь в 1969 году стал заниматься в самодеятельной студии Нарофоминского Дома культуры. Далее нам известно, что с 1981 по 1986 годы он состоит членом молодежной секции при Союзе Ху-

дожников СССР, а начиная с 1986 года, начинает широко выставляться в Москве, Западном Берлине, Берне, Финляндии, Техасе и, наконец, одна из его наиболее известных выставок в галерее Эдуарда Нэхамкина, в нью-йоркском Сохо.

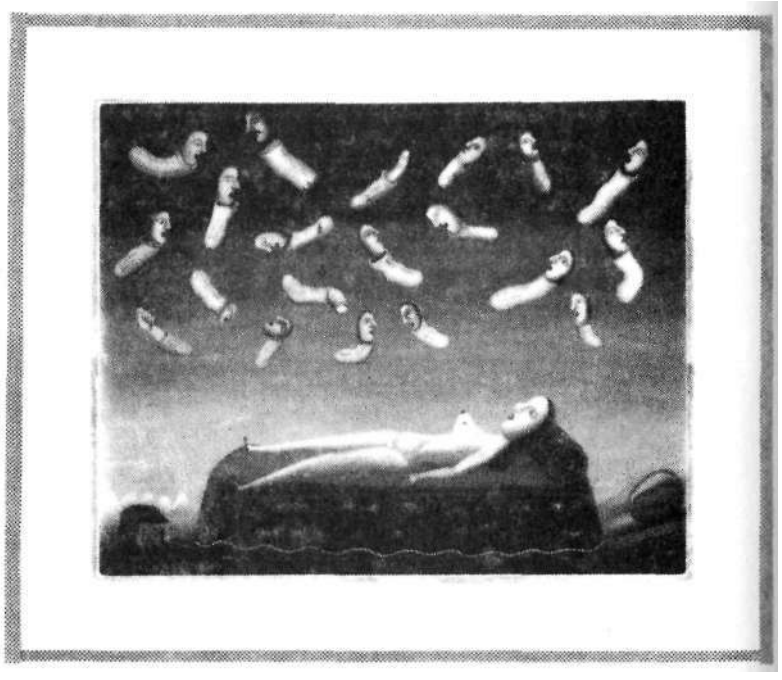
Почти с первых его шагов Пурыгина называют художником-абсурдистом, иногда представителем так называемого "наивного искусства". Разбирая его художественный язык, критики, при всем разнообразии мнений, сходятся на том, что в его бурлящей космической живописи, в отличие от диссиденствующих "русских", вообще нет никакой идеологии. Социальные аспекты мира вне его интереса. Поэтому правильнее говорить не о нонконформизме Пурыгина, а об альтернативном искусстве, если угодно, о совершенно отличном альтернативном видении жизни. Что можно сказать об этом видении? То, что мир нелеп и абсурден — звучит сегодня как трюизм, не нуждающийся в доказательствах. Но каков тот художественный метод, который помог бы понять хоть какие-то законы, если не суть нашего абсурдного бытия? Понятно, что на заданный вопрос нет однозначного ответа. Леонид Пурыгин предлагает нам свое, очень субъективное, гротескное видение мира, символы и образы которого вызывают поразительное многообразие ассоциаций. Что интересно — в его работах мы почти всегда встречаем реальные предметы и события — но это лишь с одной стороны, а с другой — сами эти реалии выглядят совершенно фантастичными. На этой амбивалентности и дуализме, кажется, и основывается его подход. В его абсурдном мире сдвинуты все пропорции, феерически-гротескно соседствуют разные эпохи и цивилизации, флора и фауна, реализм уходит в потустронние, трансцендентные миры, косможенщина и генералиссимус, умирающая гигантская бабочка рядом с распятым Христом, — и все это в гигантском плавающем макрокосме, населенном странными животными и еще более странными человеческими фигурками, никто как будто неузнаваем, и в то же время для зрителя, принявшего символы и условия игры художника, узнаваемо очень многое. Точнее, многое понимаемо. Живописец не задает зрителю шарад, но призывает думать и сопереживать. Что, впрочем, далеко не просто, особенно если художник отнюдь не намерен облегчить нам этот процесс. Одну из своих наиболее известных работ Пурыгин называет так: "Самосожжение льва любовью к девушке, которую он никогда не видел и ждал"; картина населена массой фантастических типажей: убивающий себя лев с человеческим лицом расположился на куске суши посреди океана, в окружении таких же, как он, человекообразных львов, на другом куске суши обнаженная девушка в странной компании людей с такими же, как у львов, лицами и двумя гигантскими деревянными крестами на плече, действо происходит в сопровождении музыки, темно-серые и грязновато-синие тона невольно наводят на мысль о конце этого уродливого мира, который вряд ли имеет право на существование. Герой "Автопортрета генералиссимуса в полном одеянии" — личность, наделенная взглядом явного параноика и облепленная множеством уродцев-парашютистов, в одной руке — нож, проткнувший крошечного человечка, в другой руке пистолет, и на глазах почему-то жутковатые очки... — ничего общего с его историческим прототипом, но мы узнаем его тотчас, абсурдное обличив лишь усиливает, заостряет в наших глазах реальный образ. Что объединяет все типажи Пурыгина — это взгляд, он один и тот же — у генералиссимуса, у голубой бабочки, переживающей смертельную агонию, у девушки, которую ждал и никогда не видел лев, и более всего у самого автора на "Автопортрете". Все смотрят одинаково, у всех в глазах пронзительно панический страх и ужас, словно под дулом пистолета или перед падением в пропасть. Порой кажется, что это апокалиптический взгляд самого художника, который предчувствует конец мира и ищет свой особый, гротескный язык, чтобы рассказать о нем на своих полотнах.

В. Петровский

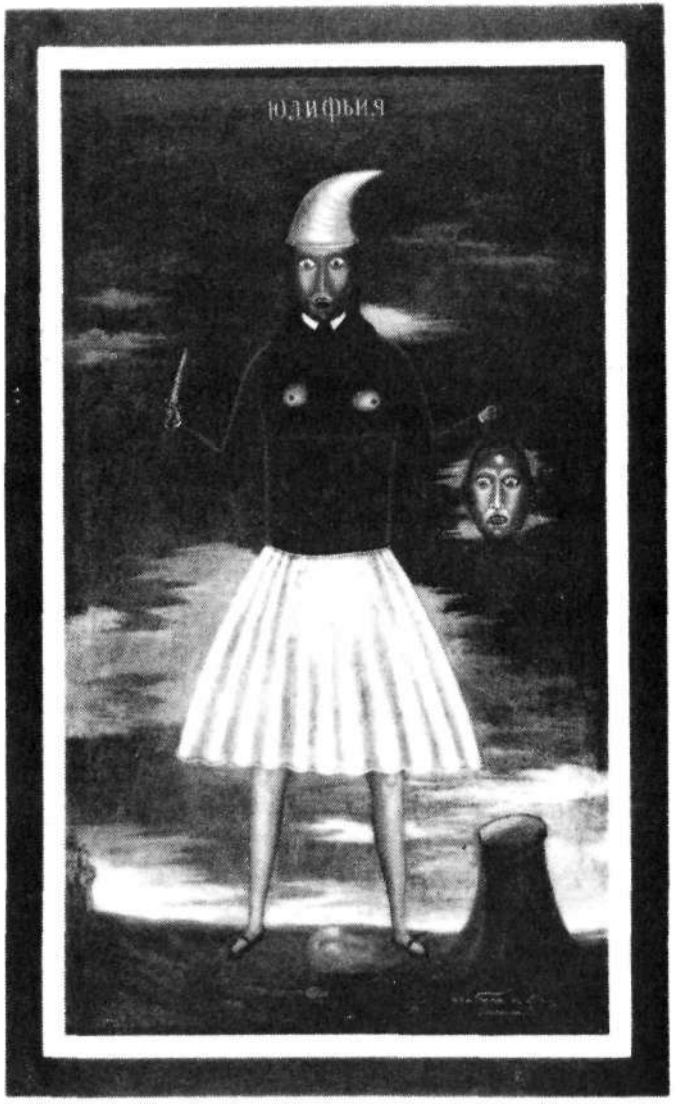


Косможенщина. Масло. На доске.

Автопортрет. Масло. Холст.



Воспоминания комиссара. Масло. Холст.

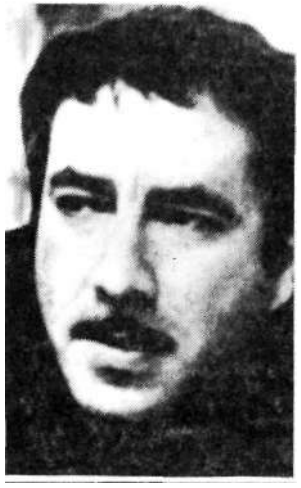


Юдифь. Масло. Холст.

Автопортрет генералиссимуса. Масло. Холст.

Голубая шляпа. Масло. Холст.

К ДВАДЦАТИЛЕТИЮ ЖУРНАЛА "ВРЕМЯ И МЫ"



РЕДАКЦИЯ — ЭТО Я, А О ЖУРНАЛЕ ПУСТЬ СУДИТ ЧИТАТЕЛЬ

Интервью Эдуарда Штейна с главным редактором журнала "Время и мы" Виктором Перельманом

Э.Ш. Если позволите, начнем с традиционного вопроса: что вы сами можете сказать о редактируемом вами журнале? Недавно в одной русской аудитории писатель Аркадий Львов назвал "Время и мы" чудом. Как вы думаете, что он имел в виду?

В.П. Думаю, чудо в его глазах — это то, что журнал выжил и, несмотря на перипетии судьбы, не отдал концы, как, скажем, "Страна и мир", "Ковчег", парижский "Континент".

Э.Ш. Вы готовы это как-то объяснить?

В.П. Готов попробовать, хотя, надеюсь, что ниже это станет и так ясно: 20 лет — это, действительно, срок, особенно, в эмиграции, где, как остроумно заметил один наш автор, год засчитывается за два. Интересно, что начав жить в одну эпоху, "Время и мы" оказался совсем

в другой, "пришелец" из другой эпохи. Мне уже приходилось рассказывать, как все начиналось: в Израиле, в Тель-Авиве, на улице Ибн Гвироль, поблизости от сефардийской синагоги. Как истинно советские люди мы прежде всего взялись за создание солидной редколлегии. Я позвонил заведующему русским отделом рабочей партии Шабтаю Калмановичу, который сразу же меня спросил, кого хочу я иметь в редколлегии: Голду Мэир? Моше Даяна? Абу Эвана? "Неужели, даже Голда?" — воскликнул я. — "Кого партия пошлет, тот и будет!" — ответил он. До Голды, правда, дело не дошло. Партия послала главу израильского представительства в ООН Йосефа Текоа и почему-то начальника израильской разведки Аарона Ярива. Первый вскоре стал ректором Беершевского университета, второй — директором института стратегических исследований, а наш добрый гений Калманович был арестован как советский шпион, засланный органами КГБ в Израиль, правда, через некоторое время выкуплен. Сейчас Калманович — в Москве, крупный бизнесмен на поприще культуры — но это уже заметки на полях.

Э.Ш. А как в те первые дни выглядели задачи журнала? Зачем он, собственно, появился?

В.П. Естественно, мы хотели перевернуть мир. Вот девиз, публиковавшийся на обложке журнала: "Среди неверия и суеты, в мире, где грубая сила и ложь становятся нормой отношений между людьми, мы исполнены одной лишь цели — помочь читателю лучше разобраться во времени и в себе". Странное дело — пришла другая эпоха, и все эти громкие слова о грубой силе, лжи и т.д. давно стали общим местом, но суть современного мира мы, кажется, уловили верно. С первых же номеров журнал делался безо всяких субсидий и дотаций, на голом энтузиазме, на неизбывной вере в будущее. Кто был тогда с нами? Виктор Платонович Некрасов, все его звали Викой, Александр Галич, Наум Коржавин. Позже появился Борис Хазанов, Горенштейн, Карабчиевский. Ныне вы можете прочесть, что журнал "Время и мы" вместе с "Континентом" сплотили вокруг себя писателей-изгнанников, ста-

ли трибуной свободной русской литературы. Все было куда проще. Память-то сохранила не лозунги, а живые картинки жизни. Вот идем мы с Викой Некрасовым по Елисейским полям... Почему я во Франции и какой точно был год, не помню, но помню, что дело было осенью, в октябре или ноябре. Стояла тоскливая дождливая ночь, от холода зуб не попадал на зуб. На Вике был — это я тоже запомнил — какой-то немыслимый, почти без пуговиц дождевик, который он, укрываясь от дождя и ветра, все время на себе запахивал и сквозь свист ветра гудел мне в ухо: "Дышится-то как, тезка? Дышится как! Господи, как хорошо! Свобода!" Потом оказались у него дома, в бедно обставленной, тесной квартирке, кажется на Тракэдэро, но точно не помню, — и Галина Викторовна, Викина жена, разогрела нам щи. Затем стали на память фотографироваться, у меня и сейчас сохранилась эта любительская карточка, как усевшись рядышком за письменным столом, сытые и счастливые, уставились мы в объектив фотоаппарата. А на обороте карточки размашистая его подпись: "Виктору от Виктора". Когда договорились, что он войдет в редколлегию, в тот ли вечер или в другой, опять же забыл, но перед моим уходом он извлек из ящика стола рукопись и сказал: "Вот, пожалуйста, это для "Времени и нас" — "Персональное дело коммуниста Юфы".

Э.Ш. Тогда и Галич передал вам свой "Блошиный рынок"?

В.П. Нет, с Галичем было по-другому — встретились не в Европе, а в Израиле, куда он приехал на гастроли, вместе с израильскими журналистами я ждал его в аэропорту Бен-Гуриона. Журналисты изводили его вопросом: с чего это он, еврей, вдруг вздумал креститься, а он, смахивая со своего большого спинозовского лба капли пота, лениво отбивался: так уж получилось, он ведь русский поэт, да и, вообще, извините, друзья, это дело совести каждого! Прилетел он из Мюнхена, с радио "Свобода", куда его год назад пристроили и где у него не прекращались конфликты с начальством. Наверх шли доносы, что "старший редактор русских программ Галич вечно опаздывает на работу и не вовремя сдает передачи", из-за чего он страшно переживал и много пил. Мы встретились в тель-авивском "Хилтоне", он был в превосходном настроении, расхаживал своей грузной, чуть шаркающей походкой по гостиничному номеру и, глядя в распахнутое на море окно, строил воздушные замки — как по приезде он подаст начальству меморандум, что в Израиле у "Либерти" обязательно должен быть собственный коррпункт, и он, Галич, будет готов его возглавлять — и тут же сам комментировал — на кой ляд ему, вообще, Германия? — Ему свобода нужна, ему море нужно..." Как ты думаешь, Виктор, примут они мой план или нет? Ни хера ведь не примут, кому что в этом мире нужно? Мы т а м нужны, и мы обязательно вернемся, попомни мои слова!". Потом стал говорить, что пишет шутовской роман "Блошиный рынок" — как раз для "Времени и нас": "Одесса, эмиграция, кругом жулики, которых, между прочим, родина тоже выпихивает, как нас с тобой!" Все тогда спланировали, но одного не предусмотрели. "Блошиный рынок" шел в 24 номере, готова была верстка, даже портрет автора, и вот однажды утром я ехал на машине в редакцию и вдруг услышал сообщение, что в своей парижской квартире от несчастного случая погиб известный русский поэт и бард Александр Аркадьевич Галич. Роман вышел с тем же его портретом, лишь успели обвести траурной рамкой, да написать под ним несколько слов некролога с его лучшим, на мой взгляд, стихотворением "Облака". Помните: "Облака плывут в Абакан, не спеша плывут облака, им тепло небось облакам, а я продрог насквозь на века..." Вот так было с Галичем. А Некрасов продолжал ездить по миру, в Японию, Австралию, и по возвращении печатал в журнале свои путевые заметки "Из дальних странствий возвратясь". Когда бывал в Нью-Йорке, мы с ним виделись, обычно в угловом кафе, около площади Колумба. Был он неисправимый оптимист, всегда сам над собой подтрунивал, не помню случая, чтобы он был в мрачном

расположении духа. Оба они так и не дожили до перестройки, это казалось величайшей несправедливостью судьбы, а с другой стороны, может быть, и к лучшему: по крайней мере не увидели, во что вылилась эта самая российская свобода, о которой мы все мечтали.

Э.Ш. Знаете, обычно говорят о ностальгии по Родине, а у вас получается ностальгия по времени...

В.П. Нет, нет, если уж ностальгия, то по несостоявшейся мечте. Помню, как первый раз я приехал в Москву, в 1989 году, через 15 лет после отъезда, как бродил по ее улицам и после всех чужестранных языков не мог наглядеться на вывески над магазинами, все по-русски: "Хлеб", "Молоко", "Овощи-фрукты", "Галантерея", "Металлоремонт", "Промтовары" — невозможно было поверить — весь мир по-русски! Казалось, что вокруг меня такие же пьяные от счастья прохожие, и все испытывают то же, что и я. О поездке в Россию я тогда написал путевые очерки, озаглавил их "Москва, день первый", и заканчивались они такими словами: "Я уезжал, так и не избавившись от ностальгии — и по той России, о которой пишу, и еще более по той, что появится в будущем". Прошло около пяти лет, и снова пишу заметки о Москве, после того как прожил там почти три месяца. Эти заметки — как бы продолжение тех, что были в первый раз. Но теперь уже другая песня и совсем другое заглавие: "Куда же несет тебя, Россия?" Поражала не только нищета населения — нищету, в конце концов, можно пережить. И даже не то, что в роскошных лимузинах разъезжали новые богачи. Россия строила капитализм — и это тоже можно было принять. Я был потрясен озлобленностью людей, всеобщей депрессией, люди, которых в ту первую поездку я видел с радостно-взволнованными лицами, разучились улыбаться, все человеческое куда-то испарилось, — никто ни во что не хотел верить, ни о чем вспоминать. Все будто потеряли память, да, да, атрофия памяти! Как у Милана Кундеры в его "Книге смеха и забвения" — он там вспоминает Кафку, называя его "Пророком мира без памяти", мира, в котором утрачена всякая преемственность с прошлым. Вы скажете, что Кундера писал о коммунистическом мире. Но в этом и заключается зловещий парадокс, что нынешняя Россия, которая пришла на смену коммунистической, была ничем не лучше той, прежней. Это был еще более бездуховный и кошмарный мир...

Э.Ш. Но вы же не считаете, что ничего не изменилось — ни демократии, ни свободы печати, ни рыночной экономики. Ведь так многое сдвинулось...

В.П. Ясно, изменилось, но важно в каких терминах мы ведем разговор, в терминах политической риторики или реальной жизни? Да, демократия! Но, положа руку на сердце: много ли проку в этой демократии, в парламенте, в свободе печати, в рыночном хозяйстве, если это так напоминает королевство кривых зеркал? Возьмите ту же приватизацию. Я сам верил, что с помощью этих несчастных ваучеров произойдет справедливое распределение народного достояния. Как будто я не был восемнадцати лет в партии и не знал, чего ждать обществу от правящей номенклатуры. Что дали населению все эти указы об акционировании, приватизации и прочем? Многие открыто говорят, что в стране произошел черный передел. (Простые люди языком попроще: "Господи! Куда коммунисты, туда и демократы: народ-то опять д о с т а л и !"). А суть ведь одна и та же: те, кто более 70 лет управляли страной, нынче присвоили достояние народа. Конечно, есть и такие, кто выиграл, кто-то устроился, кто-то ездит за границу. Но раз мы говорим, что в России сегодня делается история, давайте говорить на языке истории, на языке больших цифр и крутых поворотов жизни.

Когда-то рождение капитализма сопровождалось появление новой протестантской этики. Если угодно, это была нравственная революция. А что за этику несут с собой российские реформы? В одном из интервью журналу лауреат Нобелевской премии Милтон Фридман сказал, что для него неважно, кто окажется наверху, пускай даже коммунисты, главное, что в их руках частная собствен-

ность, и они начинают жить по законам рынка. Так-то это так, но ведь упомянутый "черный передел" задает населению новые нормы жизни, согласно которым все разговоры о честном добросовестном труде, да и, вообще, о чести и морали, становятся лишенными смысла. И то, что на улицах стреляют, и тайно вывозят из страны драгоценные металлы, мошенничают, перекачивают миллиардные суммы за рубеж, торгуют наркотиками, отмывают награбленные деньги, что по всему миру теперь русские казино и русские проститутки, — ничему этому больше не приходится удивляться. По инерции мы, правда, еще говорим о российской интеллигенции, российской культуре, российской литературе, но что за всем этим стоит?

Э.Ш. Раз уж вы затронули эту тему... вы что, считаете, что литературы, вообще, больше не существует? Это в России-то, про которую говорили, что литература в ней не просто литература, писатель не просто писатель!

В.П. Советская литература как раз первая и сдала позиции. Едва в стране что-то стронулось как тотчас стали распадаться союзы писателей, группкомы, а затем и толстые журналы. Иначе и не могло было. Настоящей литературы в коммунистические времена и не было, а были лишь "подручные партии", которые с легкой руки Горького провозгласили "соцреализм". На самом деле, они были лишь частью аппарата идеологического принуждения. В новой России должна была родиться новая литература, так, по крайней мере, казалось, но мы-то теперь знаем, что это за новая Россия. А какая Россия — такая и литература. Конечно, все это закамуфлировано, по радио и телевидению вы постоянно слышите о возрождении российской культуры, о ее прошлом и будущем, но на фоне массовой нищеты, на фоне бушующей на улицах преступности, на фоне всеобщей продажности и беспредела — кто в эти слова верит?

Э.Ш. Однако Россия слишком великая страна, чтобы исчезнуть на века, не чересчур ли рано ее хороним, да еще с холодным сердцем?

В.П. С холодным сердцем? Это я-то, проживши там 43

года? Я тоже хочу верить в будущее России и вечно ловлю себя на двойственном, амбивалентном чувстве — и разочарование и одновременно — боль! Что там не говорите — а другой родины у нас с вами нет.

Э.Ш. Но ведь и с литературой то же. Возможно, в эпоху великой трагедии она еще скажет свое слово. Даже в сталинские времена были Мандельштам, Пастернак, Булгаков, Платонов, Зощенко, Ахматова...

В.П. Глядя в будущее, я бы не стал выделять российскую литературу. Мир един. И литература тоже едина, хотя и обстоит с ней не так просто. Мы живем в век сокрушительного развития телевидения, я не случайно говорю "сокрушительного" — иногда кажется, что оно, подобно нейтронной бомбе, начисто уничтожит печатное слово. Еще одно-два десятилетия, и книга уйдет в область преданий. Однако я верю в будущее литературы, в ее предназначение. Она — там, где страдание человека, где голод, где смерть, где трагедия любви, где сапоги власти и насилия топчут страдающую душу. И тут, я думаю, бессильно телевидение, по крайней мере коммерческое телевидение. Ему просто не под силу проникнуть во внутренний мир человека в силу тонкости самой задачи. Другое дело маскарады типа процесса О'Джея Симпсона, где перед нами — голый театр, бой быков, щекочущий нервы телезрителям. До сочувствия ли тут к человеку? Помните слова Блока: "Душа мытарствует по России 20 века". Одинокая мытарствующая по свету душа — вот что должно занимать истинного писателя. Но увы, где они, истинные писатели, подобные Толстому, Достоевскому, Чехову, Бунину? Что более всего поражает — убожество нынешней российской словесности: раз появилась преступность и мафия, давайте про них и писать — про бизнесменов, мошенников, спекулянтов, уличных барыг — эко сколько тем подсказывает перестроечная действительность!

Э.Ш. Но, если конкретнее, о чем, по-вашему, должна быть сегодняшняя литература? Точнее, чем она должна быть? Не учебником же жизни, в конце концов? Тут я

хотел бы обратиться к вам не только как к редактору, но и как к писателю. Что значит ваш роман "Грехопадение Цезаря", недавно вышедший отдельной книгой? Или "Переселение души Милия Залевского", кажется 118 номер журнала?

В.П. Мои сочинения и литературная деятельность — для меня особая тема. Я бы сказал даже, в чем-то болезненная тема. Думаю, что это понятно. Как редактор журнала, я вправе писать или не писать, но, взявшись за перо, как-то не могу позволить себе сотворить некую расхожую пошлость, хотя оценки — это, конечно, дело читателя. Вы спрашиваете о "Грехопадении Цезаря"? О чем роман? Нет, не о римском Цезаре, а о московском литзаписчике Цезаре Семеновиче Морчике (была такая сфера творчества у инженеров человеческих душ?), и свой грех он совершает в хорошо известном москвичам Козицком переулке: напившись и потеряв голову, обольщает в подъезде семнадцатилетнюю школьницу Купцову. Грехопадение Цезаря так же абсурдно, как его превращение в известного диссидента, приехавшего на Запад и вскоре опустившегося на дно жизни. Однако время сказать, что автор всей этой одиссеи не я, а соотечественник Цезаря Аркадий Кролчер, выросший в том же Свердловском районе Москвы и также, как Цезарь, эмигрировавший в Америку. И вот на старости лет, окопавшись в подвале своего дома в Джерси Сити, престарелый Кролчер пишет "роман века", одновременно исповедуясь в собственной никчемной и несчастной жизни. Конец Кролчера достоин его жизни: умирая, он обращает "роман века" в донос на своего героя, который в инстанциях сжигают вместе с ненужным хламом. И все бури жизни, эмиграции, Израиль, Америка — все превращается в ничто, в пшик. Роман о Цезаре — это роман о пшике. Есть, от чего сойти с ума его автору Кролчеру. Есть над чем и задуматься читателю. Близка к этому и судьба у Милия Залевского, известного режиссера, который бежит из Москвы в Нью-Йорк, чтобы найти себе место под солнцем. Он бьется, как рыба об лед, но кому в Нью-

Йорке нужен советский режиссер? Все в этой жизни против него. Под тяжестью невзгод и потеряв рассудок, он взбирается на подоконник манхэттенского небоскреба и, пытаясь разом отомстить человечеству, мочится на крыши нью-йоркских домов.

Да, как всякому литератору, мне трудно судить о своих сочинениях. Но кажется, именно деградация личности есть главная трагедия, с которой мы вступаем в третье тысячелетие. Источники трагедии в душе человека, дьяволы, раздирающие его душу. Человек слаб, и происходящее с ним — не обязательно результат его вины. Часто это гримасы жизни, жертвой которых он становится. Наша жизнь — это, в сущности, театр абсурда. Когда-то я так назвал свои воспоминания об Израиле, имея в виду, что и журнал, и я, и окружающие меня люди (теперь добавлю, и главные мои герои) — все те же персонажи этого театра. Случившееся с Россией меняет весь облик планеты. Рушатся границы, раскалываются нации, сливаются народы, меняется психология людей, которые все чаще не способны себя идентифицировать. Все это заставляет новыми глазами смотреть на человека — то ли изгнанника со своей родины, то ли пленника чужой страны, то ли космополита и гражданина мира, то ли изгоя общества. Человек в поскоммунистическом мире — это бесконечное разнообразие тем, которые из номера в номер поднимает в своих эссе Лев Аннинский. Даже сами их заголовки наталкивают на мысли о гримасах жизни. Помните: "На чем душа успокоится?", "От охломона до Рафаэля", "Псевдонимы русской души", "Бред полукровки", "Мысли маргинала"...

Э.Ш. Но ведь в них разговор не только о России — обо всем мире. Чем радует нас этот мир? Наркомафии, преступность, эпидемии спида, терроризм. Какова все-таки роль журнала в этом сумасшедшем мире, пускай даже ограниченная роль, пусть это только русский журнал?

В.П. Было бы просто нечестно утверждать, что у меня готов ответ на этот вопрос. Человеку становится как будто

все легче, а на самом деле все тяжелее. Вспомните, как то же Кундера назвал один из своих романов "Непереносимая легкость бытия", не тяжесть, заметьте, а непереносимая "л е г к о с т ь" бытия. Не задумывались над тем, что это значит? Отчего 20 лет назад, хоть и существовал коммунизм и была холодная война, но в чем-то было легче, была цель, были идеалы — такое старомодное нынче слово "идеалы". Говорят, что в России пришли к власти молодые, которые бунтуют против отцов-шестидесятников. Трагедия в том, что молодые во многом переняли психологию отцов, рожденную коммунизмом, их двоедушие, всю их усталость, 37 год, войну, всю горемычность старшего поколения — вот вам и почва для цинизма и преступности. Мне все чаще кажется, что болезнь общества генетическая, не поддающаяся или почти не поддающаяся лечению. Верхи не устают твердить о возрождении веры, над городами и весями России плывет звон колоколов, но послушайте: в душах-то людей пустота и Бога, за ненужностью, выкинули за борт. Какой уж Бог в эпоху великой криминальной революции, как говорит о происходящем Станислав Говорухин? На Западе, конечно, по-другому, но ведь тоже кризис. Это же о Западе — кундеровская "Непереносимая легкость бытия". Все у нас есть — дома, машины, целый мир изобилия, единственно, чего нет, все тех же старомодных идеалов и — что самое ужасное — мы прекрасно без них обходимся. Тяжелое признание, но нам от него никуда не уйти. Что же делать журналу в этих условиях? Задача более, чем ясна: утверждать идеи гуманизма, добра, человечности, чем он и занимается на протяжении 20 лет. Сформулировать не сложно, но как нам вылезти из трясины противоречий? С одной стороны, человек с его богатствами могуществен, но с другой — глубоко несчастен, потому что не знает, что с этими богатствами делать и для чего, собственно, жить. Отсюда и наркомания, и нарастающий террор. И телевизионные шоу типа суда на О'Джей Симпсоном тоже отсюда. Так бездарно и скучно в современном мире, что хоть чем-то себя занять, как-то

о себе прокричать! Что касается литературы, то ведь она не делается по заказу, литература — это всегда чудо. Но это чудо исчезает из современного мира, а почему исчезает, невозможно объяснить. Я не сентиментальный человек, но всякий раз, когда почтальон мне вручает папку с рукописью, у меня странным образом сжимается сердце. Для Белинского и Некрасова чудом явилась рукопись "Бедных людей", для Твардовского — "Один день Ивана Денисовича". Когда-то, на заре журнала мы восприняли как чудо рукопись хазановского "Часа Короля", опубликованного в 6 номере. Чудеса случаются редко, но они случаются. Однажды я говорил по телефону с писателем Игорем Померанцевым из Лондона — говорили о многом, и уже в конце я спросил — не знает ли он какой-нибудь стоящей прозы. "Прозы не знаю, но знаю одну киевлянку, мою однокашницу, она художница по моделям кукол, и иногда пишет..." Вот так у нас появилась Инна Лесовая, чья стереоскопически тонкая, кружевная проза в каком-то смысле тоже в чудо. Это она привела в журнал совершенно нового героя — задавленного тяготами жизни русско-еврейского (или украинско-еврейского) провинциала. Проза Лесовой вся в запахах советских коммуналок, в их истериках, склоках, переругивании — родная наша российская жизнь! Однажды в минуту откровенности Борис Хазанов воскликнул: "Вырваться бы из литературы". Добавим от себя: в живую жизнь. Но сколь непроста задача! Спросите меня, чем я все эти 20 лет занимаюсь — ищу авторов! Нередко — это интересные, иногда захватывающие сюжеты. Сюжетом были мои поездки в дом престарелых, к бывшему секретарю Троцкого, Марии Михайловне Иоффе, которой он перед отъездом из России передал свое политическое завещание. И ее же воспоминания о первых днях революции, о Ленине, Радеке, Бухарине, Раковском, мало-помалу вылившиеся в документальную повесть "Начало", напечатанную в 19 номере. Сюжетом были мои разговоры с бывшим секретарем израильской компартии Микунисом. Уже умирающий, он рассказывал о своей жизни в Кремле, с множеством

живописных деталей (например, признание в Кунцевской больнице Молотова, почему он дал арестовать свою жену Жемчужину). И снова воспоминания — о встречах с Мао Дзе Дуном, Хрущевым, Тольятти. Или неожиданное явление в редакцию Леопольда Авзегера, бывшего тайного цензора МГБ и опубликованные в 57 номере его сенсационные очерки — "Я вскрывал ваши письма".

Э.Ш. Может быть еще о писателях, как, например, появился Алэф Бэт Иогошуа и его "Любовник", самый знаменитый израильский роман?

В.П. Для нас это было уже "второе рождение" Алэф Бэт Иогошуа. Первый раз его открыл наш незабвенный Миша Ледер, библиофил, полиглот, человек из легенды, однажды подлетевший ко мне в читальне Тель-Авивского университета (Миша никогда не ходил, а всегда летал, не говорил, а почти кричал), и, потянув меня за рукав, воскликнул: "Вы Перельман? Сам вижу, что вы!" Оказывается, он задумал перевести с иврита одного израильского гения. Что вы сказали, Алэф Бэт Иогошуа — не гений? Ну тогда идите к черту!" — в этом был весь Ледер. Вскоре он привел в редакцию совсем еще молодого человека, с нависшими густыми кудрями, в сандалиях на босу ногу, в белой рубахе-апаш — человек подал всем по очереди руку и сказал: "Будем знакомы, хаверим, — Авраам Иогошуа!" Затем Ледер перевел две его удивительных повести: "В начале лета 1970 года" и "Затяжной хамсин: жена и дочь". "Любовник" появился уже в Америке, после смерти Ледера, когда позвонила из Беер-Шевы незнакомая нам Наталья Вольберг, и, представившись воспитательницей детского сада, предложила присылать переводы израильских писателей. В Израиле она жила 15-й год, в России кончила ленинградский университет, как изучала иврит, неизвестно, да и не это было важно, а то, что вернулся к нам лучший израильский писатель, а может, один из лучших в мире, Алэф Бэт Иогошуа с его романом "Любовник". Странным образом, на четырехстах страницах романа почти ничего не происходит. (Жила-была в Хайфе семья владельца гаража

Адама, рядом с ним стареющая жена Ася и еще дочь Дафи, школьница, превращающаяся в женщину. У Аси появляется любовник, приехавший из Франции, который явно не в себе и который бесследно исчезает на войне и Адам отправляется искать его...) Самое удивительное в романе — голоса героев, голоса, которые мы слышим почти физически и которые все вместе вызывают неповторимое ощущение живой жизни, ощущение самого воздуха страны.

Что побудило нас опубликовать "Любовника"? Израильский писатель. Израильская жизнь? В литературном русском журнале? Помню, как в незапамятные времена Войны Судного дня, я (в те времена корреспондент газеты Ал Гамишмар) возвращался с группой журналистов с Голанских высот, из кибуца "Эйнзиван", где в те дни шли упорные бои, и вдруг сидевший в автобусе корреспондент Би-би-си словно бы в воздух произнес: "Какая странная страна, все воюют! У всех есть цель жизни. Нигде ее нет, а здесь есть и такая без нее тоска..." Кругом рвались снаряды — и тогда я пропустил эти слова мимо ушей. А сейчас, по прошествии эпохи, думаю: возможно, в этом все дело — от тоски по другим началам жизни мы и обратились к роману Алэфа Бэт Иогошуа?

Э.Ш. А теперь, если можно, о редакции, о кухне, что представляет собой ваша редакция и как вы ею руководите?

В.П. Помните слова Людовика XIV: "Государство — это я!" То же самое и у нас: редакция — это я.

Э.Ш. Браво! Но что это все-таки значит? Все делаете сами?

В.П. Обычно я не распространяюсь на эту тему, боюсь, за реноме журнала! Что значит — "все сам"? Сам — главный редактор, сам — ответственный секретарь, сам — корректор, сам главбух, сам — кладовщик, сам шофер, сам — грузчик! Приятно, но и очень несерьезно: какая-то художественная самодеятельность! На такой журнал и подписываться страшно. Другое дело, если есть секретариат, отделы прозы, поэзии, писем, корректура,

производственный отдел, бизнес-департмент, бухгалтерия... Недавно позвонил мне один американский собкор, с которым мы сто лет назад сотрудничали в одной центральной газете. Я только распаковал папку с толстенной рукописью, даже заголовка не успел прочесть и тут звонок. "Виктор Борисович? — услышал я трубку довольно напряженный голос. — Ни от чего не оторвал? Редкол¬легия? Совещание? Втык кому-то делаем?" — Последнее меня развеселило. — "Вот именно, втык! Как в воду глядели — первому заму ответственного секретаря за то, что никак не удосужится вызвать завмашбюро и выяснить, чем они там занимаются." Юмор мой понят не был. — "Виктор Борисович, а вы все заму поручите, что это редакторское дело с каждым мудозвоном возиться. (Ах, великий, могучий русский язык!) Замы-то все бездельники, по собственному опыту знаю, как зам — так лентяй." — Когда он положил трубку, я снова принялся за рукопись. Это было "чудо" эдак страниц на четыреста, у меня трещала голова, и я грешным делом подумал, что тут совсем не помешал бы какой-нибудь... — как бы поизящнее выразиться (во мне ведь тоже не рыбья кровь!) — в общем, какой-нибудь редактор художественной и политической литературы. Как видите, нет правил без исключения, даже, когда чувствуешь себя Людовиком XIV и с гордостью заявляешь, что "редакция — это я!".

Э.Ш. Но, если вы — Людовик XIV, то еще интереснее, как делается "Время и мы"?

В.П. Но, уж если я Людовик XIV, нам явно пора заканчивать! Итак, для быстроты давайте общие места опустим. В разделе как работаю над материалами пишите, что хотите, переговоры с авторами, редактура, сокращения, — 99,9 десятых процентов графоманов давно из меня вытрясли всю романтику. Мысли у меня человека дела: откуда достать деньги на очередной номер? И сколько заплатить авторам, чтобы хватило денег на очередной номер? И кого осчастливить подпиской? Но и эту прозу опущу, а поделюсь лучше странностями своего сознания. Проявляются они, как правило, ночью, после

отсылки номера в Россию. Именно в разгар таких ночей моя память с точностью компьютера принимается вылавливать пропущенные ошибки, которые обязательно грубые и почему-то чаще всего в заголовках или обязательно говорят о моих пробелах в грамматике. Кстати, и этой ночью, перед тем, как давать вам интервью я проснулся в холодном поту, вспомнил, что в подзаголовке у Померанца вместо "неопубликованное эссе" проскочило "необу-пликованное эссе". В подобных ситуациях я проявляю такую заботу о своем детище, из-за которой по ту сторону океана по-моему меня тихо ненавидят. Итак прямо ночью (благо в Москве разгар рабочего дня) я шлю факс, чтобы немедля, бросив всю работу, заменили на стр. 117 "необуп-ликованное" на "не-опуб-ликованное", то есть "бу" на "пу", а "буп" на "пуб" и, чтобы срочно доложили исполнение. После этого я до утра продремал в кресле, пока из факса не вылезла встречная колбаса с сообщением, что все исполнено. Я бы, конечно, мог сказать, что новый номер — это всегда творчество, нужны искания, вкус, шестое чувство. Все это так, но что дальше? Ну напечатали Нагибина, а перед этим Зиника, а перед ним Дона Аминадо или Газданова — простая свалка кирпичей! Вопрос, как все выстроить, увязать? Прозу Нагибина, где столько страстей и секса, с платонической прозой Померанца, эссе XXI века Аннинского с "Рассказами старого художника Нюрнберга", (как он при царе Горозе рисовал местечковых мадонн) и все это с обложкой Вагрича Бахчаняна. Он-то варит свое собственное блюдо, про которое вы от него тоже ничего путного не добьетесь.

Э.Ш. Интуиция? Шестое чувство? Так что ли?

В.П. Из этого и вырастает журнал, — почему именно такой, а не другой (с точки зрения критиков в сто раз лучше) — это уж вопрос совершенно праздный. Какой ответ хотите, такой и давайте.

Э.Ш. А теперь "Время и мы" в России. Что значит: вы его стали там издавать? Неужели надеетесь выдержать конкуренцию с толстыми журналами, да вот с тем же "Новым миром" или "Знаменем" с их многолетними ред-

коллегиями, правительственными субсидиями, где у вас такие деньги?

В.П. Знаете, в Лондоне живет один очень мудрый человек — профессор Александр Пятигорский, блестящий исследователь литературы, знаток Востока, парадоксалист, хотя человек не без чудачеств. Так вот, когда к нему попал первый номер журнала и я предложил ему войти в редколлегию, знаете, что он ответил? "При одном условии, если вы не будете брать субсидий!" Буквально взмолился: "Ради бога, не получайте субсидий, посылайте всех доброхотов, подальше!" Позже я понял, какой смысл был в этом милом заклинании. Деньги — это, конечно, прекрасно, но ведь они расслабляют вам мышцы в борьбе и конкуренции. Это же понятно! А без конкуренции какой может быть журнал? И все эти разговоры о редколлегиях, о коллективном творчестве и прочем — их хорошо было вести в Союзе писателей, попивая кофе с коньячком и любуясь ножками секретарш. А не оставаясь один на один с рынком. Я как-то слушал по телевидению главного редактора "Нового мира" Залыгина, и поражался, как он боялся оборонить лишнее слово. И знаете о чем подумал? Что может он, Залыгин, редактор всемирно-известного "Нового мира" и что могу я, редактор эмигрантского журнала "Время и мы". Может, например, Залыгин опубликовать "Псевдонимы русской души" или "Бред полукровки" Аннинского или "Любовника" израильтянина Алэф Бэт Иогошуа? Ясно может! Но ведь подумает — даю голову на отсечение — подумает "А что скажут спонсоры?" И что значит "полукровка" — полуеврей, что ли? Это ли нужно российскому интеллигенту в эпоху перехода к рынку? И почему Алэф Бэт Иогошуа? И при чем тут "Любовник". Что у нас нет своих, новомирских авторов?

Э.Ш. Не кажется ли вам, что в вашем редакторском облике есть что-то скучноватое, машинное что ли — все одно и то же: авторы, заголовки, проза, мемуары? Неужели у вас нет другой жизни? В Нью-Йорк поехать: "Метрополитэн-опера?", "Театр на Бродвее?" Или просто закатиться в какой-нибудь "Русский самовар" или "Тройку" и от души посидеть — живем-то один раз, как учил нас большой жизнелюб писатель Николай Островский.

В.П. Ну, уж это ваша фантазия, кто-кто, но я никак не машина. Ни по темпераменту, ни, вообще, по складу характера. Что меня побуждает 20 лет делать все то, что я делаю? А ничего, сам журнал — вот что! Вы, конечно, не верите, про себя ведь думаете: что-то тут не то. Многие обо мне так думают, особенно, когда жалуюсь, что нечем платить авторам. "Нет денег? Если б не было денег, — не выпускал бы журнала!" Где-то здесь зарыта собака! Вопрос об этой тайной собаке уже давно изводит моих доброжелателей, скорее всего потому, что нет у них на этот вопрос ответа — хоть убейте! — нету.

Итак, что значат для меня эти 20 лет работы? Ночных бдений в типографиях? Баталий с авторами, войн с таможнями? Сейчас начнете удивляться. Если хотите — это род игры! Конечно, это не Лас Вегас и не Атлантик Сити и даже не американское дерби. Игра эта — особого рода, и я не уверен, что сумею внятно объяснить ее смысл. ...Вот еду я по Хайфскому шоссе в Дом престарелых, "Бейт-Ширена", к моей незабвенной Марии Михайловне Иоффе, — 40 градусов жары — она обещала наконец, подписать свои мемуары, которые я месяц записывал на диктофоне и месяц расшифровал. Еду в предвкушении близкого хэппи энда. Было из-за чего огород городить: мемуары личного секретаря Троцкого! Мария Михайловна не в настроении, — это уже у нас случалось, но сегодня, к моему ужасу, она не хочет подписывать собственных мемуаров. Нет и все! Почему бы вам самому не подписать? По ее старческим щечкам текут слезы. Ночью у нее был сотрудник КГБ, сторож Авраам и вытащил из ее чемодана 100 долларов. КГБ теперь не оставит ее в покое.

Марии Михайловне — 80 лет, двадцать из которых просидела в сталинских лагерях, просто не верится, какая у этой горемычной старухи память, но с этой минуты я больше не журналист, не редактор, а психиатр, психолог, с этой минуты я б о е ц . (У меня есть в жизни цель и нет другого личного секретаря Троцкого!). Охваченный

азартом, я бросаюсь в атаку, клянусь Марии Михайловне, что за гебешником Авраамом мы с Мосадом установим слежку, сживем Авраама со свету! Она полна мучений, высматривает кого-то в дверную щелку, требует от меня честного партийного слова, пока, наконец, в два часа ночи, свет не побеждает тьму и на последней странице мемуаров появляется вожделенная закорючка. И вот я уже везу из топографии 19 номер журнала — на обложке Ленин и Троцкий, а в нижнем правом углу его личный секретарь Мария Михайловна Иоффе. Троцкий — в военной шинели, Мария Михайловна в панамке, выданной ей в Бейт-Ширена — очередной трюк нашего художника Ларского, на который я смотрю сквозь пальцы, и, не в силах оторвать глаз от журнала, чуть не совершаю аварию — ничего не поделаешь — за удовольствие надо платить. И так всю жизнь: когда я приходил к Микунису и его жена из кухни кричала: "Микунис, ты даешь интервью уже десять минут, хватит, пускай приходит завтра!" И когда Авзегер, пыхтя и потея, часами вычерчивал специальный станок для вскрытия писем. Станок — гвоздь программы, чудо МГБ. "Да, поймите, я ж не художник, а цензор, нельзя ли без станка." "Никак нельзя, кто же вам без станка поверит, что вы вскрывали чужие письма." Азарт — черта моего характера и, вообще, я люблю рисковать — когда-то в Израиле вложил все деньги журнала в акции и, знаете, выиграл: хватило нам почти на три года жизни. Мне нравится штурмовать небо, делая журнал в одиночку, нравится печатать на обложке творения Бахчаряна: Грозного, убивающего сына, и советских генералов в клоунской одежде, и Наполеона с мухомором на голове или, например, гипотезу Александра Лациса о происхождении Троцкого от одного из потомков Пушкина. Даже нравится получать по этому поводу письма читателей, один из которых предложил меня и Лациса прилюдно четвертовать — в том самом доме, где Меркадер прикончил Троцкого. Вот так и живу: весело или не очень, судить не мне. Игра это или что-то еще — опять не мне. А о журнале пусть судит читатель.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

АРКАДИЙ ЛЬВОВ. Писатель. Учился в Одесском университете. В 1946 году исключен с мотивировкой "За клевету на советский народ и еврейский буржуазный национализм". Лишен был права продолжать учебу в высших учебных заведениях, в дальнейшем, однако, добился возможности закончить университет.

По окончании университета работал в средней школе преподавателем истории и русской литературы. Опубликовал в СССР шесть книг, кроме того, в журналах, альманахах и газетах — более 200 рассказов, очерков и статей. В настоящее время живет в Нью-Йорке. После эмиграции вышло 12 книг, в том числе роман "Двор" (русское, французское и американское издание), американские рассказы, "Опыт исследования еврейской ментальности" (Бабель, Мандельштам, Багрицкий, Светлов и т.д.), мемуары "С Симоновым наедине" и др.

ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА (ЮЛИЯ ДУБРОВКИНА). Поэтесса. Родилась в 1938 году в Москве. В 1961 году окончила сценарный факультет Всесоюзного кинематографического института. Писала сценарии для кино и телевидения, выпустила два сборника рассказов и очерков. В Советском Союзе опубликовано всего несколько стихотворений Лии Владимировой — в журналах "Молодая гвардия", "Юность", газете "Московский комсомолец". Репатриировалась в Израиль в 1973 году. Поэтические произведения Лии Владимировой публиковались в "Континенте", "Новом Русском Слове", "Гранях", "Время и мы" и других эмигрантских изданиях. В 80 и 90-х годах в России и на Западе вышло несколько поэтических книг Лии Владимировой.

АНДРЕЙ ГРИЦМАН. Родился в 1947 г. в Москве. Окончил 1-й Московский медицинский институт. С 1981 г. Живет в США. Работает врачом, а также преподает. Поэт, пере-

водчик и эссеист. Пишет по-русски и по-английски. Публикуется в русских зарубежных изданиях, готовится публикация переводов и стихов в Москве. Участник многих американских поэтических семинаров и фестивалей. В 1995 г. поступил в Литературный Институт по отделению поэзии Университета Норвич в Вермонте. Статьи по современной американской поэзии.

ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ. Один из основателей советской социологии в 60-е годы в России. Стал известным в стране своими национальными опросами общественного мнения в 60-70-е годы. В эти годы он опубликовал около 10 книг и множество статей, в частности, в "Литературной газете". В 1979 году эмигрировал в США., где стал одним из ведущих экспертов по России. В частности, на протяжении многих лет он консультирует американское правительство по проблемам России. Работая по вопросам социологии в Мичиганском государственном университете, он опубликовал за время деятельности в Америке 12 книг и десятки статей. Его статьи печатались в New York Times, Washington Post и других ведущих американских газетах.

ЛЕВ НАВРОЗОВ. Родился и вырос в Москве. Переводил на английский язык Достоевского, Герцена, Пришвина, Андрея Платонова, Фазиля Искандера. В 1972 г. эмигрировал в США, издал первую из семи своих книг, имеющих общее название "Воспитание Левы Наврозова: жизнь в закрытом мире, некогда называемом Россией". Отрывки из этой книги публиковались в журнале "Время и мы". Там же были напечатаны эссе и статьи Льва Наврозова: "Что знает советская разведка о России", "Посредственность и спасение Запада", "Запад выходит напрямую к гибели", "Где так вольно дышит человек" и др. Свыше двадцати его статей вошли как официальные материалы в протоколы Конгресса. Регулярно публикуется во многих российских газетах и журналах: "Известия", "Московские новости", "Литературная газета", "Дружба народов" и др.

АНАТОЛИЙ РУБИНОВ. Родился в 1924 году в городе Смоленске. Был на фронте. Заочно окончил Московский полиграфический институт. 17 лет работал в многотиражках, три года — в "Вечерке". В 1966 году перешел в "Литгазету", где работает до сих пор. Автор 18 книг. Наибольший успех пришелся на "Интимную жизнь Москвы". Эта книга вышла на немецком языке в Германии. В 1995 году объявлена московским бестселлером.

ВАСИЛИЙ ЯНОВСКИЙ. См. вступительную статью Г. Поляка.

АЛЕКС БОРИСОВ. Родился в Одессе. Детство и юность провел в Норильске, куда, как враги народа, были сосланы родители. После лагеря вновь вернулся в Одессу, где писал эстрадные спектакли и телевизионные передачи. Поступил на киностудию имени Горького. Попал в группу Кулиджанова. Через некоторое время эмигрировал в Америку. Последние 15 лет живет в Лос-Анджелесе.

ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН. Издатель и главный редактор журнала "Время и мы". Окончил Московский юридический институт и отделение журналистики Московского полиграфического института. Работал корреспондентом московского радио, фельетонистом газеты "Труд", специальным корреспондентом и заведующим отделом "Литературной газеты". В 1973 году эмигрировал в Израиль, с 1973 по 1975 год был обозревателем израильской газеты "Аль Гамишмар". В 1975 году основал журнал "Время и мы". В 1981 году вместе с редакцией переехал в Соединенные Штаты Америки, где и живет в настоящее время. Автор книг "Покинутая Россия" (удостоенной второй премии Иерусалимского университета) и "Театр абсурда", романа "Грехопадение Цезаря".

БОИНГИ ПОД ФЛАГОМ АЭРОФЛОТА

По сообщению журнала "Паспорт в новый мир ", Аэрофлот — российские международные авиалинии — впервые начал использовать новые самолеты джамбо Боинги-767 в трансатлантических перелетах по маршруту Москва-Нью-Йорк. Первый такой полет был совершен 9 октября 1994 года. Ему предшествовала серьезная и длительная подготовка. Аэрофлот подписал контракт об аренде двух Боингов с ирландской авиакомпанией GPA на пятилетний срок. В соответствии с требованиями Аэрофлота было решено ввести в этих авиалайнерах экономический и бизнес классы. Каждый из арендованных кораблей способен перевезти 220 пассажиров, осуществляя беспосадочные полеты почти во все уголки Соединенных Штатов, за исключением южной части Тихоокеанского побережья.

Коммерческий директор Аэрофлота Николай Лебедев говорит, что условия нового контракта более выгодны для российских авиаторов, нежели предшествующие соглашения об аренде Аэробусов А-310. "Когда истечет срок контракта, — подчеркивает Лебедев, — и мы возвратим самолеты их владельцу, наши расходы на их содержание будут равны нулю."

По мнению одного из руководящих работников Аэрофлота Сергея Францева, полеты, осуществляемые Боингами Аэрофлота, полностью отвечают международным стандартам. Пассажиры, участвовавшие в первом полете 9 октября 1994 года, среди которых было много американцев, по достоинству оценили новый авиалайнер. "Я привык совершать полеты на американских самолетах, и это хорошо, что Аэрофлот имеет сегодня такие же корабли, — сказал бизнесмен из штата Нью-Джерси.

По словам Николая Лебедева, полет на самолете Б-767 стоит дороже, чем билет на тот же полет на "ИЛе-96-300". Поэтому, чтобы полеты Боингов сделать более экономичными, Аэрофлот будет вынужден отказаться от некоторых видов сниженных цен. Разница в стоимости должна быть компенсирована за счет более высокого качества обслуживания пассажиров.

Перед тем, как новые самолеты были введены в строй, они совершили несколько испытательных полетов вместе с европейскими и американскими пилотами, при этом мастерство, продемонстрированное их русскими коллегами, было оценено очень высоко.

Аэрофлот также достиг соглашения с американской компанией "Дельта", которая будет осуществлять обслуживание пассажиров в американских аэропортах.

Наряду с Боингами Аэрофлот продолжает использовать в своих полетах в США "Ил-96".

"Мы не собираемся отказываться от применения самолетов, построенных в России, но трудности их производства заставляют нас прибегать к услугам западных компаний," — говорит генеральный директор Аэрофлота В.М. Тихонов. Он далее отметил, что требования, предъявляемые при полетах в США, остаются неизменно высокими и новые корабли смогут принести здесь хорошие результаты. По словам Тихонова, Аэрофлот будет использовать эти самолеты в полетах из Москвы в Чикаго и другие города Америки. Он добавил, что российским пассажирам будет безусловно приятно получить возможность летать в Боингах под флагом Аэрофлота.

Контракт Аэрофлота с ирландской компанией GPA оценивается в 160 миллионов долларов. Аэрофлот будет платить за аренду из средств своей прибыли, которая показывает, что финансовая ситуация Российских международных авиалиний очень стабильна.

Петр НИКИТИН
("Паспорт в Новый Мир")

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БРОКГАУЗА И ЕФРОНА

Объявляется подписка на репринтное издание единственной русской энциклопедии в 86 томах, получившей мировую известность и выходившей в 1890-1907 годах. Юбилейное малотиражное переиздание осуществляет издательство «Терра» (Москва). Доход от продажи энциклопедического словаря пойдет на закупку одноразовых шприцов и других медикаментов для передачи советскому Детскому фонду.

Переиздание в точности воспроизводит оригинал и представляет собою тисненные золотом, богато иллюстрированные таблицами, цветными картами и литографиями тома. Издание будет осуществлено в течение 1990-1994 гг. Стоимость одного тома 28 амер. дол. Пересылка в США и Канаду 99 центов за том, в другие страны мира 1 дол. 99 центов за том. Оплата подписки может производиться потомно по мере выхода книг в свет. Для оплативших подписку по получении первого тома предусмотрена более чем 30-процентная скидка. Стоимость ВСЕГО ИЗДАНИЯ в этом случае составит 1600 дол. плюс 56 дол. (в США и Канаде) или 113 дол. (в остальных странах) за пересылку. Для подписавшихся на адрес в СССР пересылка бесплатна.

Чеки за 1-й том в любой конвертируемой валюте нужно высылать по адресу: American Help Foundation, Inc., P.O. Box 501, Newton Centre, MA 02159, USA. Продажа этого издания производится только за конвертируемую валюту во всех странах мира, включая СССР. Американский фонд помощи получил исключительные права на продажу издания за пределами СССР для сбора средств на вышеназванные благотворительные цели.

ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ И МЫ» — 1995

УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Стоимость годовой подписки в США — 59 долларов; с целью экономической поддержки редакции — 69 долларов; для библиотек — 86 долларов.

Цена в розничной продаже — 19 долларов.

Подписка оплачивается в американских долларах чеками американских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США, чеки высылаются по адресу: «Time and We».

409 HIGHWOOD AVENUE, LEONIA, NJ 07605, USA
TEL: (201) 592-6155

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Фамилия . . . . . .
Имя . . . . . .
Адрес . . . . . .

Подписной период . . . . . .
Прошу оформить подписку на журнал «ВРЕМЯ И МЫ» на..... год. Высылать с номера..... Журнал высылать обычной (авиа) почтой по адресу:

Подпись

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

Редакция осуществляет стилистическую правку рукописей без дополнительного согласования с авторами.

Главная редакия журнала "Время и мы":
409 Highwood Avenue, Leonia, NJ07606, USA
Tel.: (201) 592-6155, Fax: (201) 592-6958

OCR и вычитка - Давид Титиевский, август 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

На первой странице обложки: фрагмент из триптиха Эрнста Неизвестного.
На четвертой странице обложки: Леонид Пурыгин "Самосожжение льва".

Самосожжение Льва любовью к девушке
Которую он никогда невидел и ждал